ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2011

ПОВЕСТЬ МИХАЛА ВИВЕГА
«АНГЕЛЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА:
СТИХИ ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ

Основан в 1955 году

[2]
2011

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Михал Вивег *Ангелы на каждый день.* Повесть. Перевод с чешского Нины Шульгиной. Вступление Александра Эстиса

78 Жорди Гальсеран *Метод Гронхольма.* Пьеса. Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

137 Михаэль Донхаузер *Стихи из книги "Лучшие песни".* Перевод с немецкого и вступление Анны Глазовой

142 Марко Лодоли *Рассказы.* Переводы с итальянского и вступление Ирины Боченковой и Натальи Симоновой

Из классики XX века

168 Джузеппе Унгаретти *Стихи.* Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова

Документальная проза

188 Александр Стесин *"Вернись и возьми"*

Статьи, эссе

224 Игорь Померанцев *Пять эссе*

Carte blanche

231 Александр Жолковский *Прекрасная маркиза*

Письма из-за рубежа

241 Мабель Велис Блинова *Судьба корриды*

Ничего смешного

246 *Немецкое кабаре 20–30-х годов.* Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс

БиблиофИЛ

261 *Среди книг* с Верой Калмыковой, Самуилом Лурье, Светланой Новиковой и Ниной Павловой

275 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили Евгения Лакеева, Ника Бажанова, Екатерина Кузнецова и Мабель Велис Блинова

Авторы номера

281

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор
А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:
Л. Н. Васильева
Т. А. Ильинская
ответственный секретарь
Т. Я. Казавчинская
К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап
С. С. Шабуцкий

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Михал Вивег

Ангелы на каждый день

Повесть

Перевод с чешского Нины Шульгиной
Вступление Александра Эстиса

Повседневные ангелы Вивега

Банален ангел. Банален и вопрос теодицеи, издревле присущий иудеохристианскому мировоззрению: история перипетий библейского верования — история Иова.

Но если Иов в своем истинно ветхозаветном негодовании все же непоколебимо веровал во всемогущего Бога и взывал к Заступнику на небесах, то ныне у чешского автора Михала Вивега даже ангел отчаивается перед лицом мирской, мировой несправедливости и подвергает сомнению не только всесилие и доброту Бога, но и его существование.

Три ангела, из чьих уст исходит рассказ — исполнители миссии, для ангела, как может показаться, весьма бесславной. Посланцы от Неведанного (а существует ли Он?) отправителя к неведающему получателю, "курьеры любви" (сами они сравнивают себя с сотрудниками DHL), они приносят — нет, стараются принести — толику тепла людям, которым вот-вот предстоит умереть. При этом меры, предпринимаемые ими, ограничены, ограничено время, ограничены их знания.

© Michal Viewegh, 2007
© Druhe Mesto, 2007
© Нина Шульгина. Перевод, 2011
© Александр Эстис. Вступление, 2011

Ангелы старающиеся, ангелы отчаявшиеся, ангелы неуверенные. Чем же отличаются они от людей, от жителей Праги, к которым прилетают в описанный Вивегом день — 5 сентября 2006 года? От очерствелой, бесчувственной учительницы Марии — ее волнуют лишь вопросы филистерской морали радиопередач; от ее мужа, заурядного автоинструктора Карела, который, так и не услышав слов любви от жены, произносит эти слова машинам и ищет плотских удовольствий со своими ученицами (на рычаге "за пятьдесят два года у него всего три засечки", тогда как у коллеги Рихарда уже около двух десятков); от инженера Зденека, которого покинула сначала жена с детьми, потом вера, а вскоре и сама жизнь? Ничем. (Правда, отличаются эти ангелы — и в этом соль — как раз от единственной в исконном понимании "верующей" фигуры романа: безнадежно эзотерической матери Зденека — она верит в чудеса, они — нет.)

Ангелы Вивега, конечно, невидимы людям, они умеют останавливать время (хотя им „нельзя" и они боятся, что кто-то „заметит"), живут долго (видимо, не вечно, однако определенности нет и в этом), неподвластны сладострастию (трое опытных ангелов-мужчин все же заигрывают с ангелицей Илмут). Что ангельского в этих созданиях, если метафизические финты, вроде выше перечисленных, — эдакая замена классической окрыленности — единственное, в чем состоит их мнимое превосходство, в иерархии мироздания ставящее их над главной героиней Эстер, которая заботой об умирающем муже приблизилась к ангельскому естеству — или даже превзошла его? Не зря добрая часть глав романа названа ее именем — наряду с именами ангелов-повествователей. Взгляд овдовевшей Эстер — этого Вивегова Иова, — как и взгляд его ангелов, исполнен ласкового экзистенциального цинизма и эсхатологической осознанности.

Вторник, 5 сентября 2006 года

1. *Иофанел*

СКАЖУ прямо: по большей части наши миссии кончаются провалом. Вчерашние переживания на северо-востоке Китая были вряд ли *оправданными*. Я уж не говорю о том, что в других местах этой безжалостной планеты миллионы людей умирают и вовсе *без нас*... Мы не можем быть вездесущими, твердит Гахамел. Подчас я пытаюсь понять, кто выбирает тех немногих счастливцев, которым в последние минуты жизни дано радоваться нашему расположению? Действительно ли Бог? Или комиссия при ООН? Ха-ха! Короче говоря, наши скромные ангельские благодеяния кажутся мне довольно случайными. В них нет никакой *системы*. Случайность — это способ, каким Бог анонимно творит чудеса, не устает повторять мне Гахамел. Он отвергает любые вопросы. Наша миссия, говорит он, не задавать вопросы, а да-

вать сколько-нибудь утешительные ответы. Мы не более чем посланцы. Курьеры любви. Но разве существует утешительный ответ для тринадцатилетней девочки, умирающей от рака? Чу-Чанг. Головные боли. Она умирала *одна* — не знаю, можно ли так сказать, если она умирала в девятиместной больничной палате в Кашгаре. Родители, невзирая на все наши скромные попытки, не приехали. А принуждать их мы не в силах. Был бы мальчик — другое дело... Прежде чем сделать последний выдох, она еле слышно что-то говорила. Мы плохо ее понимали. Гахамел плакал.

Сегодня мы в Центральной Европе. Надеемся, что смена климата пойдет Гахамелу на пользу. Все эти смерти он воспринимает слишком близко к сердцу. Я сказал бы, что у него тяжелейшая форма идеализма. Хотя он много читает. Но то ли авторы этих романов не пишут о жизни правду, то ли Гахамел не очень их понимает.

— Итак, — сообщает он нам, — Карел. Инструктор автошколы.

И замолкает.

Мы сидим на ограде Нусельского[1] моста, и лучи восходящего солнца упираются нам прямо в лицо. Если бы водители проезжавших машин могли нас увидеть, карета "скорой помощи" мигом выехала бы к четырем самоубийцам. Я смотрю вниз: поворот железнодорожных путей, слуховые окна, задние дворики, спутниковые антенны, угловые мясные лавки с красными навесами над входом. Билборды с рекламой пива. Двадцать первый век мне не нравится. Плоские экраны и открытые балконы. Восемнадцатый век, например, представляется мне более стильным.

— Пятьдесят два года, — говорит Гахамел.

Илмут огорченно вздыхает. В сущности, это ее первая акция. Определенные пикантные стороны человеческого бытия нам, к сожалению, недоступны, но все равно мне кажется, что ее молодость и невинность дают мне возможность понять слово *сладострастие.* Эту мысль, разумеется, я не высказываю.

— Что ж, пятьдесят два в определенном смысле лучше, чем тринадцать, — роняю я.

Мою реплику Гахамел пропускает мимо ушей. Он делает мне замечание лишь тогда, когда мои кощунственные речи переходят допустимые рамки.

— Супруга Мария, учительница. Сын Филип, совладелец автосалона. Карел и Мария женаты уже двадцать семь лет, и потому нам ясно, в чем дело.

1. Нусле — район Праги. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Нит-Гайяг и я утвердительно киваем. Илмут краснеет.

— Во всяком случае мы попробуем представить себе такое, — снисходительно улыбается Гахамел.

Видно, он опять на что-то решился — будто он уже миллион раз не терпел фиаско.

— Высший смысл теперешней жизни Карела составляют "шкода-1000 МБ", "шкода-120", "шкода-фаворит", "шкода-фелисия" и "шкода-фабия", — с каким-то озорством, глядя на Илмут, он перечисляет марки машин. — Новая модель "фабии" заявлена на будущий год, и Карел ожидает ее с таким напряжением, которое ему самому кажется ребячливым.

— Но он в ней, увы, уже не прокатится, — замечаю я.

— Ты циничен, как хирург из "МЭШ"[1], — вставляет Нит-Гайяг, в последнее время полюбивший телевидение.

Я не могу избавиться от мысли, что оба старых господина немного флиртуют с Илмут. Нит-Гайяг всего на полстолетия моложе Гахамела. Когда он шутит, его лицо остается серьезным, он лишь едва заметно сдвигает поседевшие брови.

— Почему мы должны быть здесь вчетвером из-за одного инструктора автошколы? — спрашиваю я.

— Ты слышал когда-нибудь о работе в команде? — вопросом на вопрос отвечает Гахамел. — Мы и есть команда.

— Монстрбригада.

Гахамел осаживает меня взглядом.

— И здесь еще пан Зденек, — подсказывает мне Нит-Гайяг.

Я не верю своим ушам.

— Я думал, что самоубийцы — не наш профиль.

Илмут испуганно моргает.

— Нет, *наш*, — возражает Гахамел. — Его мать...

— Ах, вот оно что, — усмехаюсь я. — Стало быть, совещание у нас должно происходить прямо на месте события? Мы все время должны собираться на мостах?

Иной раз я и сам себе бываю противен. Но ничего не могу с собой поделать. Я всем сыт по горло.

— Ты когда-нибудь слышал слово "конспирация"? — продолжает Нит-Гайяг, посматривая на Илмут. Вокруг глаз у него сотни морщинок.

— Конспирация нам особенно не поможет. А Карелу от нее и вовсе никакого толку. Вовремя и побольше узнать об этих людях — вот наша задача! *Вовремя*, — повторяет он, указывая рукой на цифровые часы в конце моста, — а не за полсуток до смерти!

1. "МЭШ", или "Чертова служба в госпитале МЭШ" (1970–1977) — американский сериал, созданный по мотивам "Романа о трех армейских докторах" Ричарда Хукера.

Нит-Гайяг устремляет упорный взгляд на часы. Шум проезжающих машин внезапно замирает, и вся Нусельская долина погружается в тишину. Ясно: дед выставляется перед Илмут. Машины во всех шести рядах стоят неподвижно, даже их пассажиры не шевелятся. Илмут изумлена. В ее лице есть нечто, что заставляет даже такого циника, как я, верить в Бога.

— Прошу тебя, отпусти часы прежде, чем люди что-то заметят, — нетерпеливо просит Гахамел Нит-Гайяга.

Не успевает он договорить фразу, как машины снова свистят — лишь предшествующая тишина позволяет понять, какой дикий шум они производят.

— Поймите, шеф, я, разумеется, не сомневаюсь, что Он имеет свои доводы и так далее. И мне ясно, что помыслы Его непостижимы, — я лишь жалуюсь на условия нашей работы. При всем почтении: слышал ли Он когда-нибудь слово *логистика*?

Я осознаю, что кричу. Гахамел не отвечает, Илмут с подозрением глядит на нас.

— Дайте мне хотя бы месяц — и я покажу вам настоящие чудеса!

Гахамел молчит. Как всегда.

— Или хотя бы неделю, — вздыхаю я.

— Мы всего лишь посланцы. Не меньше, не больше, — повторяет мне Гахамел в тысячный раз.

— Сотрудники DHL[1] вовсе не жалуются, что на Рождество у них работы невпроворот, — поддерживает его Нит-Гайяг. — Они старательно доставляют все посылки без всяких отговорок.

— Раз уж мы завели речь о курьерах, — говорит Гахамел Нит-Гайягу, и в его усталых глазах загораются искорки, — посмотрите вон на того...

Мы все смотрим на молодого мотоциклиста.

— После обеда ты должен знать все, что знает он.

Стало быть, последним блюдом Карела будет пицца.

2. *Эстер*

Небо над Гавличковыми садами[2] — Эстер, разумеется, всегда употребляет прежнее название Грёбовка — почти безоблачное, утренний воздух довольно теплый, поэтому она завтракает на балконе. Ах, если бы надежда пряталась хотя бы в кроне деревьев, что на противоположном косогоре? — усмехается она. Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное. Ак-

1. Компания экспресс-доставки по всему миру.
2. Второй по величине парк в Праге (бывшая вилла Грёбе).

цент надо делать на серьезности, а вовсе не на безнадежности. Подобными правилами полнится ее голова. Что можно еще ожидать от жизни? Вопрос поставлен некорректно. Не мы ждем от жизни, а жизнь еще чего-то ждет от нас! О'кей. Немного утреннего солнца во всяком случае не повредит ей, думает она. Квартира выходит на северо-восток, и вечером, когда она возвращается из больницы, терраса уже давно погружена в глубокий сон. Обозначение "терраса" — один из плодов восторженной эйфории, охватившей Томаша в период переселения, — Эстер с самого начала было ясно, что речь может идти всего лишь о большом балконе. Нескольким карликовым хвойным деревцам, которые они тогда купили в "OBI", недостаток солнечного света не страшен, но ползучим розам и кустикам лаванды в керамических горшках здесь неуютно. Эти мелкие фиолетовые цветочки Эстер срывает слишком часто: задумчиво растирает их пальцами, а потом вдыхает их аромат. Иногда делает это неосознанно — вот отчего лаванда так поредела. Летом она завтракала в Томашевом темно-синем халате XXL размера, накинутом на ночную рубашку, но сейчас, в сентябре, одевается потеплее и еще заворачивается в шерстяной плед. Сегодня на ней оливково-зеленая юбка с большими карманами и темно-зеленый пуловер на пуговицах, под которым скрывается обтягивающая белая майка. У нее уйма времени, на работу идти не надо, и потому она приготовила яичницу.

Яичница удивительно вкусная — Эстер вспоминает, что это первые яйца после более чем полугодового перерыва. Она отхлебывает кофе и просматривает список дел, ради которых она взяла свободный день без сохранения содержания, отпуск, естественно, ей уже не светит. Поцарапанным кончиком языка она невольно касается сломанного зуба. Подобные дни, когда у нее скапливалось слишком много разных скучных обязанностей, она всегда называла *потерянными*, но, с тех пор как не стало Томаша, даже такие дни она принимает безропотно. Carpe diem. Лови мгновение. Какое еще поучение вытекает из ранней смерти близкого? Иногда Эстер представляет, что и она могла бы умереть. Умереть вместе с ним. Стало быть, прошедшие два месяца — щедрый подарок. Каждый новый день что-то вроде бонуса... С объективной точки зрения она должна признать, что *вдовство* (ужасное слово) в каком-то смысле даже обогащает. Овдоветь, все равно что путешествовать одному: в людской толпе ты затерян, и тогда все выглядит гораздо проще, даже забавнее, но, с другой стороны, одинокому путешественнику легче сосредоточиться, он может больше увидеть, его впечатления глубже... Именно такой она кажется себе теперь: одинокой путешественницей. Словно судьба решила предоставить ей хотя бы частичную компенсацию. Эстер разглядыва-

ет причудливый черно-белый узор каменной мостовой под балконом и металлические решетки сточных каналов, а потом берет газету, за которой двадцать минут назад через силу спустилась к почтовому ящику. "Новоиспеченный премьер сравнил себя с первым человеком, высадившимся на Луне". "Пражский кардинал Милослав Влк осмеивает христианство". "Ядовитый скат убил известного защитника животных". "Документальный снимок 'The falling man'[1] – мужчина, выпавший из World Trade Center[2]..." Прочесть что-либо, кроме одних заголовков, она не в состоянии. Единственное, что она ощущает, – это отторжение от всего окружающего. Безучастность. "Женщины в бурках снова учатся петь". Эту коротенькую заметку она в виде исключения читает всю: в Афганистане при талибах петь было запрещено, а сейчас женщины учатся петь. "Макдоналдс думает о ежах". Эстер вновь охватывает чувство, что весь мир сошел с ума. "Мотто дня от Вуди Аллена: Если вы хотите позабавить Господа Бога, познакомьте его со своими планами на будущее". Это в самую точку. "Смертельных исходов заметно поубавилось". Я бы этого не сказала, горько усмехается Эстер. "Каждому второму недостает спокойствия. Но чрезмерная тишина может причинять страдание". И на это у нее свой взгляд. "Как обстоят дела в роддоме в Подоли[3], или Тринадцать детей ежедневно". Эту статью она, разумеется, пропускает. "Предоставьте удалять зубы дантисту-роботу". Эстер откладывает газету. Возле дома под балконом стоит пожилая дама с собакой на поводке-рулетке. Вдова? – тотчас приходит на ум Эстер. Иногда с Томашем они описывали друг другу своих пациентов и вместе смеялись над ними. Сейчас ее мысли о людях окрашены исключительно в мрачные тона. Сегодняшний поход к стоматологу будет ужасно мучителен для нее, полагает она, разглядывая список дел на сегодня. Не говоря о визите сестер из хосписа. Она вдруг начинает задыхаться. Жадно глотает воздух. Но, превозмогая себя, увы, оживает. И даже с удовольствием вспоминает о последней учебной поездке с инструктором.

3. Гахамел

Карела и Марию в половине седьмого утра будит красный электронный будильник. Мария, вздохнув раз-другой, с трудом садится на кровати. Она молча смотрит на трещины в ламинате, который они с Карелом по дешевке купили в "Баумаксе". Ей

1. "Падающий человек" (*англ.*).
2. Всемирный торговый центр (*англ.*).
3. Район Праги.

кажется, что трещины увеличиваются, но Карел так не считает. К новому настилу, как и к большинству перемен в старой-престарой нусельской квартире, у Марии неоднозначное отношение: с одной стороны, перемены радуют ее, с другой — она понимает, что сияющая новизна паркета неприятно подчеркнет обветшалость всей обстановки. Она сует ноги в сандалии на пробковой подошве и, даже не взглянув на Карела, шаркает в ванную. По дороге она распахивает и второе окно (одно приоткрыто всю ночь). Илмут зачарованно наблюдает ритуал человеческого пробуждения. Я понимаю: она еще не потеряла способности изумляться.

Карелу становится холодно. В спальне по утрам бывает двенадцать градусов. Однажды он не поленился, встал и показал Марии комнатный термометр. Это уже не спальня, а настоящая зимовка, возмутился он. Но второе окно она все равно открывает... Захоти, он мог бы по-настоящему взбунтоваться (и не только против проветривания по утрам), но на подобные вещи он уже давно махнул рукой. Подчас ему кажется, что вместе с месячной зарплатой он отдает Марии и часть самого себя. С покорной, понимающей улыбкой он исполняет все ее желания и указания, которые представляются ему бессмысленными, исполняет со слабой надеждой, что их абсурдность наконец дойдет до нее. Швейк под пятой супружества, осеняет меня. Карел привычным движением натягивает на себя перину жены. Илмут смеется.

Карел думает об *этой милашке.* Он закрывает глаза, хотя знает, что уже не уснет — кроме того, уснуть ему мешает усиливающееся давление внизу живота. Но придется подождать, пока Мария освободит ванную. Господи, что она там делает? Карел смирился с тем, что время, которое женщины утром проводят в ванной, с возрастом увеличивается, но сорок минут, до которых докатилась его жена с начала прошлого учебного года, и впрямь необъяснимы. Пластическая операция лица и то не длится так долго. Он, конечно, всего лишь забавляет себя этими ехидными мыслями, на самом же деле старение жены огорчает и умиляет его.

— Знаешь, почему мы здесь? — спрашиваю я Илмут. — Потому что его сердце до сих пор не очерствело.

Карелу обычно достаточно пятнадцати минут в ванной — и он уже побрит и принял душ.

— Доброе утро.

— Ты принял душ, — констатирует Мария вместо приветствия.

Карел знает: сейчас она пойдет и проверит ванную. Двадцать пять лет назад ничего подобного не пришло бы ей в го-

лову, но теперь она делает это автоматически. Что ж, все надо принимать так, как есть.

— И даже вытер после себя...

Он улыбается ей. Для него она подогревает сосиски, для себя — в оранжевую керамическую миску насыпает кукурузные хлопья и заливает их обезжиренным йогуртом. Еще одна заранее проигранная попытка диеты, думает Карел. Как и всегда по утрам, включен телевизор.

— Вечером сделаю испанские птички[1], — говорит Мария. — Филип заедет к нам ужинать.

Когда в последний раз был у них горячий ужин? — вспоминает Карел. Что ж, для чего-то хорошего и сыновья иной раз кстати.

— Он звонил. Вчера.

Карел кивает. Мария изображает равнодушие, но он-то может представить, какую радость доставил ей Филип своим звонком. Про себя он отдает сыну должное.

На столе, там, где долгие годы сидел Филип, лежит объемистая красная папка-скоросшиватель с домашними заданиями и целая стопка тетрадей; на вершине пирамиды — старая магнитофонная кассета. *Карел Гинек Маха "Май"*[2], читает Карел на поцарапанном футляре.

— Это я к тому, чтобы ты пришел вовремя.

— Приду.

— В пять.

Карел кивает. Мария вздыхает.

— Когда они познакомились, она думала, что Карел относится к тому типу мужчин, у которых слова на вес золота, — объясняю я Илмут. — Тогда это нравилось ей. Болтливых мужчин она считала женоподобными. Несколько таких субъектов она знала по школе. По педагогическому факультету. Карел говорил мало, но уж если скажет — как отрежет. Тогда его неразговорчивость не была для нее проблемой: если Карел молчал, говорила она, и потому ей казалось, что он умеет слушать женщин.

— Он не только не знает ни одного иностранного языка, — спустя годы аттестовала она мужа, — он и чешского-то не знает!

Ей кажется, что для некоторых понятий и чувств Карел просто не может найти слов. Лицо у него самое заурядное, фигура тоже не бог весть что, зато глаза удивительно красивые. Впрочем, для Карела это типично: в целом он почти об-

1. Фаршированные котлеты из телятины.
2. Чешский поэт (1810–1836). Поэма "Май" (1836) — вершина его творчества. Цитаты из поэмы даются в переводе Д. Самойлова.

разцовый середнячок. Но отдельными качествами, как в плохом, так и в хорошем смысле, он далеко выходит за рамки этой усредненности. Честолюбие у него, к примеру, на самом низком уровне, а вот сексуальные аппетиты, напротив, не в меру развиты. Карел почти немой, ленивый и всегда сексуально озабоченный, но в целом вполне достойный человек.

— Список на холодильнике, — сообщает она ему. — Главное, не забудь про телятину.

4. Нит-Гайяг

Зденек после развода снова живет у матери, в маленькой квартирке первого этажа на Мечиславовой улице. Откуда-то из темной вентиляционной шахты доносится воркование голубя; рама приоткрытого окна совсем трухлявая. Старая эмалированная ванна до того мала, что в ней можно только сидеть, да еще с согнутыми коленями. Дно ванны облезло, вокруг воронки просвечивает ржавый металл. Нищета обреченного на смерть обычно повышает мою работоспособность. Я спросил Гахамела, не кажется ли ему это левацким уклоном, но он ответил, что это естественно. Зденек сидит, согнувшись, на стульчаке, пижамные штаны спущены до колен, и с изумлением рассматривает пальцы ног. Эта завороженность мне знакома. Я знаю, что она означает. Во мне растет сочувствие и любовь. Из кухни, как и всегда по утрам, слышится материнская молитва.

— Боже праведный, помоги мне понять моего сына. Молю Тебя, окружи мое дитя любовью, наставь его уму-разуму.

Зденек с этим уже смирился. Материнское бормотание — один из неизбежных утренних звуков: все равно что свист чайника, шум мусорщиков или буханье дверей в доме. Сейчас он, оторвав взгляд от ног, исследует свои руки: напрягает бицепсы и мышцы на предплечье, затем оглядывает ладони. Линию жизни. Ему уже не придется стричь ногти, осеняет его. Даже удивительно, как одно-единственное принципиальное решение может изменить абсолютно все. Даже мельчайшие детали. Все вдруг выглядит совершенно иначе.

— Прошу тебя, поведи его к разумным поступкам, основанным на любви, а вовсе не на страхе или гневе.

Гнев добавила она сама, его нет в той ужасной книге. Зденек смотрел. Собственные руки поселяют в нем растерянность. Вопрос не стоит, да или нет вообще, а когда именно.

— Прошу Тебя и архангела Михаила, очистите моего сына от пут и запретов, которые мешают ему быть счастливым. Спасибо.

Зденек спускает воду.

Мать Зденека Ярмила — кухарка; стряпает в столовой начальной школы. Это пятидесятитрехлетняя блондинка с красивым лицом, замедленным обменом веществ и рядом хронических гинекологических заболеваний. Она выглядит моложе своих лет, ужасно чувствительна к любым химикатам, и у нее подчас звенит в ухе. На основании этих симптомов она считает себя земным ангелом. А уверилась она в том, когда прочитала книгу американского психотерапевта, доктора философии, Дорин Вирту[1], которая, как указано на суперобложке, *сотрудничает с царствами ангелов, архангелов и фей.*

— Познакомившись с книгами Дорин Вирту, она сразу почувствовала, что имя Ярмила не подходит ей, и выбрала для себя имя Келли, — рассказываю я чуть позже Гахамелу. — С того времени она чувствует себя гораздо свободнее. Живет новой жизнью. Сверх меры уже не объедается, ибо поняла, что если раньше защитой от враждебного окружения слепо служили ей слои жира, то нынче ее охраняют исключительно краски.

— Краски?

— Именно. Она воображает, что окружена непроницаемым световым покровом определенного цвета, играющим роль энергетического щита. Особенно ей по душе розовый цвет, распространяющий *вибрацию любви* на всех, с кем она разговаривает. Сквозь него проникают исключительно позитивные мысли и любовная энергия. А если и этого бывает недостаточно, ей обычно помогает молитва: *Архангел Михаил, снизойди ко мне и разруби все путы, которые сковали мою энергию и жизнестойкость.* И архангел Михаил мгновенно исполняет ее желание.

— О Боже, — вздыхает Гахамел.

Зденека мать называет Скоттом. Поначалу он долго сопротивлялся, но потом уступил. В этой квартире ему всегда жилось трудно, но вопреки *весьма неблагоприятным стартовым условиям* (так он всегда говорил) он сумел окончить высшую школу и выучить три языка: английский, немецкий и французский. Несколько лет работал менеджером по подбору кадров в одной крупной иностранной фирме, но после развода его оттуда выставили. Как он сам признает — по его же вине. Сейчас-то он хорошо понимает, что не каждому из ста пятнадцати сотрудников приятно ежедневно выслушивать его, пусть даже справедливые, попреки.

Теперь он работает водителем в фирме, которая продает по Интернету мелкую электронику. На приборной панели

1. По-русски встречается двоякая транскрипция: "Вирту" и "Вёрче".

его старенького служебного пикапа — одна из материнских *ангельских карт.*

"Ангельские карты заряжены энергией Божьего света и любви, а также помогают получить ясные послания от Бога и ангелов", — цитирую я Гахамелу. — Колода стоит триста восемьдесят крон.

Я показываю ему карту, которую Зденек возит с собой в машине: на карте изображен архангел Уриил в пышной, сборчатой ризе с двухметровыми, сверкающими белизной крыльями.

— Он похож на Мела Гибсона, — обращаю его внимание на сходство с моим любимым актером.

— Он похож на гуся, — говорит Гахамел.

"Ваши эмоции придут в норму, что позволит вам открыться большой любви. Они помогут вам излечить ваше сердце и разум от гнева и черствости", — каждый день сообщает на приборной доске архангел Уриил Зденеку, то бишь Скотту.

— Ты не Скотт, а болван, — смеялся над Зденеком Филип, после того как украл у него детей и Лиду.

Лида тоже смеялась.

То немногое, что осталось у него в жизни, он решил посвятить мщению.

— Монте-Кристо из Нусле... — хмурится Гахамел.

Да, Зденек живет только мыслью о мщении. Регулярно тренируясь в фитнес-центре "Оазис", он с особым тщанием разрабатывает мышцы рук, плеч и живота; ноги особенно не укрепляет, поскольку сильные ноги ему не понадобятся.

— О Боже! — стонет Гахамел.

5. *Иофанел*

Карел в ожидании зеленого света опять представляет себе, как его отсасывает *эта милашка.* К сожалению, у него нет никакого критерия для сравнения (ха-ха!), но, судя по тому, как часто возникают эти щекотливые картины в его воображении, они, должно быть, чрезвычайно соблазнительны... Я, разумеется, понимаю, что выражения типа *отсосать* и тому подобные могут показаться женщинам непристойными и отвратительными, — но хочу сразу заметить, что вина Карела в данном случае не очень велика. Это вроде травмы в молодости: за четыре года технического училища и, главное, за два года военной действительной службы он слышал столько куда более грубых слов, сколько большинство женщин не услышит за всю свою жизнь. В присутствии женщин такие слова Карел, разумеется, не употребляет, но совсем от них изба-

виться тоже не может — в том-то и вся заковыка. До сих пор эти слова вылетают у него изо рта с такой настойчивостью, что он едва успевает проглотить их: *буфера, лохматка, кошелка, перепихнуться, припадать к кормушке...* Причем такие слова связываются у Карела именно с *этой милашкой*, как про себя он называет Эстер. В рабочем дневнике, разумеется, записана ее фамилия, но он относится к ней уже иначе, чем к остальным ученикам. Она волнует его, поэтому думать о ней, как о *пани Новаковой*, ему столь же трудно, сколь и автоматически связывать ее с именем Эстер — не так давно они знакомы. Безличное обозначение *эта милашка*, кроме того, раскрепощает его сексуальные фантазии. (Мария явно сочла бы их извращением. Но, насколько я знаю, речь идет в общем о нормальной мужской мечте — ну можно ли о спаривающемся коне сказать, что он свинья? Подобный вид женского негодования меня всегда забавляет.) Однако весьма несущественная разница между Эстер и *этой милашкой* кажется Карелу принципиальной: первую, названную по имени, он начинает любить, тогда как в отношении второй не ощущает никакой ответственности. Уже одна мечта о том, что его сосет Эстер, отдает каким-то неуважением к ее дружескому доверию, в то время как *эта милашка* может сделать ему то же самое, но виноватым он себя не почувствует. Ха-ха!

— Прямо к следующему светофору, — наконец произносит Карел.

Он говорит это строго, но вполне заблаговременно. Мимо нас проносится новая модель "ауди", серебряная Q7. Карел с любопытством оглядывает машину. Не пройдет и десяти часов, как он будет покойник.

— Прямо, — повторяет паренек за рулем и кивает в знак согласия.

Ложное смирение новичков — через год он будет нетерпеливо обгонять машины автошколы, возможно, еще и приглушенно ругаясь. Карел, конечно, понимает это и подобное мелкое вероломство прощает. Они кажутся ему неизбежными. Такова жизнь.

Я втискиваюсь на сиденье позади него, широко раздвинув колени, ибо иначе мне тут не уместиться. Надо спросить Гахамела, как совершались ангельские миссии во времена, когда обязательны были крылья... Оглядываюсь в салоне: приборная панель без украшений, с зеркала заднего вида ничего не свисает, в дверных карманах ни соринки, а уж о пустых жестянках из-под колы или смятой обертки от сандвича и говорить не приходится. Карел обожает порядок. Конечно, здесь нет кондиционера, так что его поседевшие виски чуть заметно покрылись потом. А паренек весь взмок. На светофоре красный свет. Карел думает о лохматке Эстер. Из-за его

молчания в машине царит напряженная атмосфера, однако Карел давно понял, что, если он хочет сохранять хотя бы иллюзию превосходства и авторитета, надо молчать. И это относится не только к ученикам. Он слишком чуток, чтобы дать себе волю и разболтаться. Нет, лучше ни о чем не расспрашивать и, если можно, не отвечать. А главное, не смеяться. Добродушный смех всегда выдает его. Мы спускаемся по Будеёвицкой улице в район Нусле. Поездка близится к концу. На перекресток слева выезжает похоронная машина.

— "Бесспорен смерти миг, — порой цитирует нам Гахамел. — Но смерть и вашей жизни дарит утешенье. / Вы жизни скажете: коль я тебя утрачу — утрачу то, что лишь безумец хочет удержать".

Инструкторы автошколы и Шекспир. Ха-ха! Карел убеждается, что похоронная машина дает им право преимущественного проезда, и его интерес, проявленный к этому пятиметровому напоминанию о человеческой бренности, на этом кончается. Смерть для Карела — не более чем давно решенная и скучная проблема. Вы можете поверить? Его родители еще живы, смерть дедушек и бабушек он не помнит — стало быть, что для него смерть? На похоронах он не был девять лет — с коллегой из автошколы, который погиб тогда от удара током, он не дружил. В Страшницком[1] крематории Карел состроил такую серьезную мину, что можно было лопнуть от смеха. Он нервничал, не знал, как выразить соболезнование вдове, боялся слишком расстроиться — вот и все, что он тогда чувствовал. Только полный идиот тянет к бассейну в саду провод с лампочкой, думает он про себя (и я с ним, увы, вполне согласен). В рассуждениях Карела всякая смерть — результат какой-нибудь роковой ошибки: например, досадной неосведомленности, неправильного распорядка дня или превышения скорости. Подобных ошибок он не делает. Разумеется, он воспринимает смерть как естественное следствие неизлечимой болезни или старости, но эта смерть слишком далека от него, чтобы относиться к ней всерьез. Короче говоря, смерть его не касается. Он протягивает руку и включает радио, начинаются новости. Даже за девять часов до смерти он интересуется чешской политикой — вы можете смеяться над ним, но мы ему сочувствуем.

Ученик неумело паркуется у здания автошколы. Первая учебная поездка кончается. Еще две такие поездки, и Карел пойдет с коллегой обедать в ресторан "У Бансетов". Он обожает классическую чешскую кухню: говяжий соус, испанские птич-

1. Страшнице — район Праги 10.

ки, гуляш, рулет с яйцом, свинину с капустой, копченую грудинку с картофельным пюре и тому подобное. Не пренебрегает он и поджаренной цветной капустой, куриным пловом или грибным ассорти. А вот итальянскую, китайскую или греческую кухню он на дух не переносит, и это в буквальном смысле: иногда ему достаточно нескольких капель оливкового масла, немного мексиканского соуса "сальсы" или щепотки какой-нибудь восточной приправы, чтобы потом всю ночь не вылезать из сортира. Отпуск в Турции или Тунисе представляется ему ночным кошмаром. Поэтому летом он всегда ездит только в Крконоше или на Шумаву. И так далее. Сейчас у него двадцатиминутный перерыв, и потому в мрачной конторе автошколы он робко просит у секретарши кофе.

– Еще вчера я подавала ему кофе, – завтрашним утром воскликнет секретарша.

Она даже поплачет, она ведь любила Карела. А между тем завтрашний покойник идет в туалет и ополаскивает лицо и руки. Он думает о том, будет ли какой-нибудь толк в это Страшнице... Это меня просто смешит. Ложное волшебство случайного... Но доверие красивой врачихи его радует. Они поедут низом через Кубинскую площадь, а потом поднимутся по Мурманской в гору. Перекресток на Желивской вечно забит машинами, и на довольно крутом подъеме перед светофором она может разволноваться, деловито рассуждает Карел.

6. Г*ахамел*

Мария держит кусочек мела, сильно вытянув руку, чтобы не испачкать юбку.

Мы сидим с Илмут среди запыленных гераней на подоконнике, и в спину нам упираются лучи утреннего солнца. Мне захотелось, чтобы Илмут увидела Марию во время урока. Я подумал было, что это поможет ей лучше понять Карела, – однако она пришла от Марии в восторг. Впрочем, я мог такое предвидеть. У большинства учеников Мария, как говорится, в фаворе. Они убеждают себя, что по-настоящему любят ее, но, по сути, просто боятся ее непреклонной решительности, и потому их подсознание из шкалы возможных чувств к ней расчетливо выбрало симпатию. Иной раз я ловлю себя на том, что, разговаривая сам с собой, выражаюсь столь же цинично, как Иофанел.

Мальчикам и девочкам, сидящим на партах под нами, лет по тринадцать. Столько же, сколько и той красивой китаянке, рядом с которой мы были вчера. Будущее рисуется им светлой, бесконечной дорогой – о смерти они и не помышляют. Тринадцать лет... "Когда в тени кустов ее я обнимал,

могильный хлад уже постель ей расстилал". Стихи, каких нынче никто не читает, не покидают меня. Строки из какого-нибудь стихотворения или романа я часто цитирую Иофанелу, которого люблю как сына. Мне больно, когда я представляю себе, как неотвратимо скоро увлечет его поток сомнений. "Верить в Бога с учетом того, какой мир он сотворил, было бы полным безбожием". Джон Бэнвилл. Такие вещи, разумеется, Иофанелу я не цитирую.

В Илмут я влюбился буквально с первого взгляда, и она, сразу почувствовав мою сдержанную отцовскую любовь, возвращает мне ее теперь более явственно, без лукавства, с непосредственностью молодости. После нынешнего урока Илмут, конечно, будет избегать завтрашнюю вдову Марию, которую в первые два дня подменят коллеги. Но уже в пятницу Мария появится в школе в облаке одуряющего парфюма, чей основной ингредиент составят фатум и сконцентрированное несчастье. Молодой директор принудит себя обнять ее. И достаточно. Нам необязательно верить в Бога, но нельзя терять надежду.

— Откройте, ради Бога, окно! — просит Мария.

Она делает страдальческий вид, двумя пальцами левой руки оттягивает декольте платья и раз-другой встряхивает им. В восемнадцать лет она стеснялась признаться Карелу, что хочет в туалет. Кроме того, утверждала — и, как ей казалось, вполне искренне, — что любит Жака Превера. Тогда она была словно прутик, сейчас весит на девятнадцать килограммов больше. Дома на батарее центрального отопления сушит большие поношенные трусы. Илмут весело задерживает дыхание, и быстрая мальчишеская рука сквозь ее тело проникает к оконной задвижке. Мария вкладывает кассету в аппарат и ждет, пока класс утихнет.

"В лазурной глубине прозрачные туманы; / их чуть колеблет легкий ветерок; / и стая облаков вдали земных дорог / по горним небесам плывет в иные страны, / и бедный узник обратился к ним..."

Илмут благодарит меня взглядом. Она самая внимательная слушательница во всем классе. Я окидываю глазами отдельные парты, на красивых девушках мой невинный старческий взор задерживается на секунду дольше. Я мог бы легко призвать будущие картины их жизни — но зачем в лужу безнадежности добавлять еще ведра? Красивая девушка — ангел павший.

"Узник шею обнажил и груди белые, / пал на колени, отступил палач, ужасное мгновенье!"

Мальчики, конечно, смеются над словами *груди белые*. Илмут дрожит от ужаса.

Зденек все еще далек от мысли, что может отойти в мир иной уже сегодня, и потому в тесной темной прихожей торопливо прощается с матерью. Пани Ярмила вовсе ничего не предчувствует и, как обычно поутру, мило улыбается.

— Счастливо, Скотт, приготовлю рожки в томатном соусе, придешь?

Она гладит своего единственного сына по лицу, Зденек терпеливо хмурится. Кроме матери у него никого́ нет. Если не считать одержимости ангелами, у нее нет других пристрастий. А что еще могло бы ее порадовать, прикидываю я, но ничего не приходит мне в голову. Жизнь пани Ярмилы, точно слепая карта. Купить ей подарок ко дню рождения — для Зденека, верно, неразрешимая задача, стало быть, если не он, то кто же покупает ей эти ужасные ангельские колоды?

"Вы хранимы от любого зла. Самое худшее уже позади. Вы можете расслабиться и отбросить всякий страх", — на сегодняшний день сообщает Ярмиле ангелица по имени Занна.

Бледное лицо, белые волосы и нематериальное прозрачное тело с абрисом сердца внутри грудной клетки. И крылья, а как же иначе?

О Боже!

В январе 1976 года Ярмила обнаружила, что беременна, но не сказала об этом отцу Зденека: боялась, что он бросит ее. Ему не было еще и двадцати. Высокий черноволосый официант отнесся к своему отцовству положительно и стал готовить свадьбу, однако невысказанные опасения не покидали Ярмилу. Будто не слыхала она тысячу историй о женихах, которые отказываются от своих обещаний за неделю, за день, а то и за час до свадьбы?

Она свободно вздохнула только после венчания. Была на четвертом месяце беременности и буквально лучилась счастьем и молодостью.

Отец Зденека бросил ее в тот же вечер — во время свадебного угощения.

В последний раз она увидела его на бракоразводном процессе семь месяцев спустя после свадьбы. На сына он ни разу так и не пришел поглядеть.

Все последующие тридцать лет жизни Ярмила была озабочена главным образом тем, что пыталась разгадать эту тайну.

— Сегодня заявок не очень много, пан инженер, — с улыбкой говорит Зденеку диспетчер.

Он хотел было сказать ей что-то, но в голову не приходит ничего подходящего, и он лишь кивает. Он должен вести себя нор-

мально, рассуждает он. Если в последующие дни он сможет вести себя нормально, ему будет легче. Он спокойно все продумает, и все пойдет своим чередом. Если можно об этом так сказать.

— Вы что, не выспались?

Как ее зовут? — пытается вспомнить Зденек. Ева? Яна? Что-то вроде. Сколько ей? Сорок? Пятьдесят? Да не все ли равно? — заключает он, едва не рассмеявшись. Эта женщина, кажется, ждет от него ответа. А-а, как бы ее ни звали — один черт! Если бы жизнь была компьютерной игрой, он скорей всего убил бы ее сейчас, полагаю я. Цивилизация — лишь тонкое покрытие, можете мне поверить.

— Зубы, — бормочет Зденек и указывает на левую щеку.

Он даже не понимает, как это осенило его. Ему кажется, что кто-то ответил за него. Тем не менее диспетчер, похоже, удовлетворена ответом.

— Ну да, зубы могут замучить. Уж я-то знаю!

Она сует указательный палец в рот и ощупывает десну. Однако Зденек не верит, что у нее когда-нибудь и вправду болели зубы.

Мир — отвратное место, считает он. И я вполне согласен с ним.

Он пересчитывает вещи: два мобильника, DVD-проигрыватель, цифровой фотоаппарат и камера, полевой бинокль и навигатор "Sony". Закрыв чемодан, он садится за руль пикапа и листает накладные. Оптимальный план пути таков: сначала вверх на Жижков, потом в Страшнице и, наконец, в Ржичаны. До обеда он еще успеет позаниматься гимнастикой. После обеда одним заходом охватит запад: Бржевнов, Коширже и Небушице. Он включает навигацию и набирает жижковский адрес.

Архангел Уриил и сегодня обещает ему, что его сердце освободится от гнева и ожесточения.

8. *Эстер*

Она ощущает себя *обворованной.* Несчастной.

Но понимает: будь у нее дети, было бы в сто раз хуже. Она, например, не могла бы наложить на себя руки, с усмешкой думает Эстер. С другой стороны, они заставили бы ее мобилизовать остатки жизненной энергии, чтобы хоть изредка готовить обед. Будь у нее дети, она не исхудала бы так. Будь у нее дети, она не отломила бы ползуба черствой трехдневной кунжутной булкой.

У коллеги по больнице она взяла телефон якобы *несколько брюзгливой, но опытной пожилой дантистки.*

Многие годы об ее зубах заботился Томаш, и ни в каких *связях* она, естественно, не нуждалась. Сейчас она откладыва-

ла свой визит к врачу почти две недели, но шатающийся обломок зуба все сильнее травмировал мягкую ткань (не будь она женой стоматолога, сказала бы просто — десну), и она, позвонив по данному телефону, договорилась о приеме. Если это не *потворство жизни*, то что же тогда? — думает Эстер. Самоубийцы к стоматологу не записываются. Она вдруг замирает. Ибо снова поймала себя на том, что постоянно оценивает свои поступки, словно кто-то наблюдает за ней. Она неверующая — так почему, черт возьми, она всю жизнь думает, что кто-то не спускает с нее глаз?

В переполненной приемной Эстер листает иллюстрированный журнал для женщин, но читать не может. Боли она не боится — просто испытывает страх перед теми невыносимо знакомыми вещами, которые навсегда будут связаны с Томашем. Она боится лампы над креслом. Боится тоненькой струйки воды в плевательнице. Боится того момента, когда с жужжанием опустится кресло и она вдруг окажется в полулежачем положении. Она заранее приходит в ужас от чужих глаз, близко придвинутых к ее лицу. Ее пугают чужие пальцы, которые проникнут к ней в рот.

— Входите, пани доктор!

Пани доктор — это я, в секунду соображает Эстер. Она встает под взглядами других пациентов и, пошатываясь, входит в кабинет.

— Добрый день.

Традиционные приветствия, последняя связь с миром живых, приходит мысль. Врач усаживает Эстер в кресло и кладет ладонь ей на предплечье.

— Ну, покажите мне ваш зубик. Откройте ротик. О Господи, только не падайте в обморок.

— Постараюсь.

— Вы едите хоть что-нибудь, милочка? Вы завтракали?

Пальцы докторши у нее во рту.

— Яичницу, — промычала Эстер.

— Ну хотя бы!

Врачиха несомненно знает, что Эстер недавно овдовела. И вовсе она не брюзга, напротив, ее поведение выражает такую чрезмерную старательность и добросердечие, что спустя минуту Эстер уже мечтает о смене декораций. Показное жизнелюбие, от которого в конце концов начинает знобить, думает она.

— Ну хотя бы! — повторяет врачиха и в шутку грозит ей пальцем.

Эстер знает, что эта деланая заботливость продлится у врачихи ровно столько, сколько продлится операция — и ни на минуту дольше. Но, может, Эстер несправедлива к ней?

Может, у нее тоже кто-нибудь умер? В конце концов у каждого кто-нибудь умирает. Или умрет. Эстер пробует улыбнуться врачихе, но результат получился довольно плачевным. В памяти всплывают слова из недавно прочитанной книжки: *скорбь как нездоровый недостаток самодисциплины.* Восхищение вызывают только те близкие, которые так умеют скрывать свою скорбь, что никому и в голову не приходит, сколь велико их отчаяние. Ей надо больше стараться.

— Придется сточить обломок зуба. Не бойтесь, больно не будет. Я сделаю анестезию. Чуть уколю.

— Я не боюсь боли, — искренне отвечает Эстер.

— Не боитесь? Значит, вы исключение.

Сестра подает врачихе уже заготовленный шприц. Та, подняв брови, слегка покачивает головой.

— Итак, приступим, пани доктор!

Это звучит несколько вызывающе.

На третьем курсе медицинского факультета на Рождество под нижним седьмым зубом справа у нее образовался пузырек — *цистогранулема*, не поддающаяся никаким медицинским ухищрениям. Она ходила к Томашу каждую неделю. Прежде они не были знакомы. Несколько раз он старательно прочищал ей оба коренных канала и заполнял зуб дезинфекционной прокладкой, но маленькая шишечка в десне через несколько дней появлялась снова. Когда шишечка слишком набухала, Эстер прокалывала ее иголкой. Соседки по общежитию с отвращением отворачивались, а она только улыбалась.

В середине января Томаш, наконец, буравом Хедсрема проник к самому *апексу*. Ее всю пронзила острая режущая боль, но она овладела собой. Томаш чуть отступил. Эстер и по сей день помнит его слишком заинтересованный взгляд — речь шла о чем-то большем, чем престиж стоматолога. Да, она закрыла глаза, почувствовав острую боль.

— Пожалуй, победа скоро будет за нами, — сказал он удовлетворенно. — Очаг мы открыли, каналы заполним.

Когда бы она ни пришла, Томаш приветливо улыбался, но никакого флирта не допускал (он был на девять лет старше и эту возрастную разницу старался всячески подчеркнуть). Надо думать, что свищ наконец закроется, деловито заключил он. Эстер, напротив, надеялась, что свищ еще долго не затянется. Лишь в раннем детстве она боялась зубных врачей — а сейчас радовалась каждому визиту. Она просто дождаться не могла, когда Томаш снова наклонится к ней. Она скучала по его спокойному голосу. Скучала по его дыханию. Ее язык с радостью принимал прикосновения его пальцев. Своей подруге Иогане она полушутя говорила, что воспаление в десне может быть и психосоматическим проявлением любви. Но зуб

все-таки пришлось удалить — Томаш напрасно обстоятельно объяснял ей причины. Эстер лишь весело поддакивала.

В назначенный день она сидела перед его кабинетом совершенно одна; удивительно, но в приемной не было других пациентов. Сестра, лет пятидесяти, полная, но стройная словачка, через четверть часа вызвала ее из другой двери. Эстер поняла, что удаление зуба будет происходить в операционной, но это нисколько ее не встревожило. По указанию сестры она разделась до трусиков. На ней не было бюстгальтера, но стыда она не испытывала, напротив, вся *ситуация*, как ни странно, возбуждала ее. Уж не мазохистка ли она: через несколько минут ее рот наполнится кровью, а она думает о сексе, весело усмехнулась Эстер. Она сунула руки в зеленый балахон, а сзади кто-то завязал ей тесемки. Сперва она решила, что это, должно быть, сестра, но в ту же секунду увидела ее перед собой. Обернулась — перед ней стоял Томаш. Впервые он был в операционном халате. Марлевая маска не скрывала румянца на его щеках. А лицо сестры выражало умиление женщины, смотрящей финал мексиканского телесериала. С Эстер никогда не приключалось ничего более романтического. Подобной любовной увертюры больше никогда в ее жизни не будет.

— Что можно ждать от брака, возникшего благодаря флюсу? — острил Томаш позже на свадьбе. — Уже в колыбели нашей любви был *гнойник*.

Она смеялась вместе с гостями. Разве скажешь об этом иначе? Самоирония и принижение чего-то высокого не что иное, как признание во лжи. *Настоящую* страсть нельзя свести к сюжету, приемлемому в обществе. Мог ли он сказать свадебным гостям, что тогда — как он позже признался ей — его возбуждали даже ее слюни? Они оба чутко угадывали, что большинство присутствующих на свадьбе ничего подобного не испытывали. Искренне рассказывать им о начале их любви было бы столь же бестактно, как хвастаться перед беднякими своим богатством.

9. Г*ахамел*

На перемене в учительской Мария внимательно изучает расписание на стене: а не предстоит ли ей замещать кого-то на следующем уроке? Убедившись, что действительно свободна, она возвращается в кабинет, который делит еще с двумя коллегами; сейчас они на уроке, так что это большое помещение сорок пять минут исключительно в ее распоряжении. Весь антураж кабинета свидетельствует о страсти Марии к современным канцелярским товарам. (Она всегда испытывала к

ним слабость, но при социализме могла лишь мечтать о них.) На книжных полках преобладают длинные ряды скоросшивателей как из светлого дикта, так и с цветным текстильным покрытием. На всех трех столах красуются выдвижные оранжевые регистраторы и одинаковые комплекты черных проволочных кубков, содержащих ручки, фломастеры, маркеры, металлические и пластмассовые скрепки, ножницы, разные скотчи и липкие этикетки. На стене висят две пробковые доски с цветными кнопками и металлическая белая таблица с *перманентным* фломастером, подвешенным на пестром шнурке.

Илмут восхищена, но меня эта картина озадачивает.

Утром Мария принесла из дома несколько газетных вырезок о Кареле Гавличеке Боровском[1], сейчас она вкладывает их в прозрачную файловую папку, которую тут же закрепляет кольцами в перекидном блокноте вместе с домашними заданиями. Она встает, усиливает звук радио, подходит к холодильнику, залепленному исписанными квадратиками в рефлексных, отражающих солнечные лучи красках, включает электрокофейник и, пока в нем закипает вода, делает, по своему обыкновению, несколько дел сразу: находит пакетик кофе, смотрит, не спустилась ли петля на чулке, проверяет, не отекли ли пальцы... Разумеется, она не перестает слушать радио. Модератор как раз напоминает слушателям, что сегодняшняя программа посвящена отапливаемым *бэби-боксам, где несчастные матери могут анонимно оставлять своих новорожденных.* Она повторяет номер, по которому слушатели могут позвонить и поделиться своими соображениями. За окнами кабинета "в лазурной глубине плывут прозрачные туманы". Самые простые истины люди обнаруживают в последнюю очередь. Модератор объявляет песню группы АББА "I Believe in Angels"[2]. Мы с Илмут обмениваемся улыбками.

— В восемнадцать лет Мария еще не пила кофе, — говорю я. — И была довольно разбитная. И выглядела она, конечно, совершенно иначе. Постарайся представить ее: она была гораздо стройнее, носила мини-юбки. Может, ты не поверишь, но она чем-то походила на тебя, хоть и была не так красива, как ты.

Илмут изумляется.

— Четыре года она ездила в гимназию. С вокзала домой шла, бывало, прямо по рельсам. Раскинув руки, словно искусный канатоходец, она могла пройти, ни разу не оступившись,

1. Чешский писатель, журналист и либеральный политический деятель (1821–1856); за свою активную деятельность был интернирован (1851–1855) на север Италии.
2. "Я верю в ангелов" (*англ.*).

сотни метров. Карел любил наблюдать за ней, особенно когда она была в мини-юбке. Он специально ждал ее у переезда, чтобы видеть, как она приближается.

Мария задумчиво размешивает кофе. Потом решительно встает, приглушает радио и подтягивает к себе телефон. Она почему-то выглядит взволнованной.

— Поезда и автобусы она, естественно, ненавидела. Ей нравилось, что у Карела уже в девятнадцать лет было собственное авто.

Мария набирает номер радиостанции. На лице Илмут — вопрос.

— Кто к нам на этот раз дозвонился?

— Добрый день, я — ваша слушательница из Праги.

В голосе модератора появляется наигранная радость.

— А-а, добрый день! Это наша постоянная слушательница, пани Мария. Да, да, пани Мария, мы сегодня вместе с вами обсуждаем вопрос об организации так называемых бэби-боксов, где матери, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, могут спокойно оставить своего ребенка. Эти блоки, естественно, отапливаются и связаны сигнализацией с медицинскими работниками. Каково ваше мнение, пани Мария?

— Я думаю, что организация бэби-боксов — неправильный путь, — говорит Мария.

Нервозность так изменяет ее голос, что Карел, скорее всего, не узнал бы ее.

— Давая возможность молодым матерям легко избавиться от ребенка, — заикаясь, продолжает Мария, — мы тем самым легко освобождаем их от ответственности.

Она замечает, что два раза употребила слово "легко". Модератор ждет, Мария молчит.

— Итак, Мария, мы благодарны за ваше мнение и желаем вам отличного дня. Кто дозвонился следующий?

Мария кладет трубку, расправляет юбку и садится.

Потрясенная Илмут молчит.

— Нельзя даже представить, что это одна и та же женщина. Правда?

Илмут кивает.

10. *Иофанел*

— "И озеро тайком грустило, / тенистый брег ему внимал, / и воды кругом обнимал; / а в небе дальние светила / грядою голубой блуждали, / как слезы страсти и печали..." — декламирует Гахамел.

Мы сидим на одной из ржавых арок железнодорожного моста; грязь, ржавчина, голубиный помет и убогое граффи-

ти. Реку бороздят лебеди и утки, под Вышеградской скалой[1] разворачивается пароход с туристами. Черно-коричневая гладь уносит первые опавшие листья и, случается, белое перышко. К остановке "На Витони" подъезжает трамвай номер семь — по стечению обстоятельств тот самый трамвай, который сегодня убьет Карела.

Неподалеку отсюда, в родильном доме в Подоли, пятьдесят два года назад он родился. Его приветствовали чуть ли не как героя — ох уж эти преждевременные родственные восторги. Необоснованный оптимизм. Разве с таким восхищением ликовали бы они над маленьким Каей, если бы знали, что он кончит жизнь инструктором автошколы? Нынче ветрено, туристы на пароходе покинули палубу. Не хочется кощунствовать, но иногда мне кажется, что человеческая жизнь — плохо организованное познавательное путешествие. Речной поток разбивается о ледорез у опоры моста. Илмут размахивает руками в воздухе, вздымая электронный смог, и ловит текстовки, которые источают пылкую любовь, — она уверяет нас, что так заряжается позитивной энергией.

— Ты промываешь золото в сточной воде, — замечаю я.

— Сегодня их у меня очень много!

— Итак, что мы имеем? Что мы установили? — открывает Гахамел совещание.

— Точно в телевизионном детективе, — довольно сообщает Нит-Гайяг, поднимая посеребренные брови. — Вопрос поставлен так, словно мы команда детективов.

— Я же сказал: монстрбригада, — повторяю я свое старое определение.

— Он употребляет множественное число, чтобы дать понять, что он один из нас, — продолжает Нит-Гайяг, бросая взгляд на Илмут. — Тип *ласкового шефа.* Строгий, но ласковый.

Илмут улыбается.

— Можем начинать? — притворно сердится Гахамел.

— Но почему опять мост? — жалобно спрашиваю я. — Почему мы не можем хоть раз сойтись в каком-нибудь уютном кабачке? Как нормальные люди?

— Потому что мы не нормальные люди, — отвечает Гахамел спокойно. — Потому что в *кабачке* пришлось бы что-нибудь заказать.

— Подумаешь, что особенного! Закажем копровку[2]! Или жаркое по-зноемски[3]! Или испанские птички! Или шункофлеки[4]!

1. Скала на крутом берегу Влтавы с руинами старинных башен.
2. Суп из кислого молока с укропом.
3. Зноймо — область на юге Моравии.
4. Вермишелевая запеканка с ветчиной.

Разумеется, я лишь хвастаюсь богатством своего словарного багажа. Гахамел хорошо знает, что моя инфантильность вызвана моим бессилием; ему ясно, что я не сообщу ему добрых вестей, а в ответ на мой косвенный призыв декламирует без малейшей запинки:

— "Над темным кряжем ясный день / встает и будит майский дол, / в лесах, где сумрак не сошел, / царит предутренняя лень..." Повтори.

Я сдаюсь.

— Что значит *копровка?* — интересуется Илмут.

Будь я человеком, я бы давно без ума влюбился в нее.

— Одно из традиционных чешских блюд, — объясняет ей Нит-Гайяг.

Илмут, глядя на меня, стучит по лбу пальцем. Она растеряна, как ребенок, который старается привлечь к себе внимание. Она впервые сталкивается лицом к лицу с человеческой смертью, и безысходность ситуации, естественно, волнует ее. Я припоминаю, что́ впервые испытывал сам. Знаю, какие вопросы проносятся в ее голове. Какой во всем этом смысл? И есть ли смысл дарить умирающим людям *маленькие* радости? Разве можно что-то *существенное* изменить в этом ужасе? (Нет, но во всяком случае это лучше, чем ничего, ответил бы ей Гахамел. Каждое скромное благодеяние делает человеческую жизнь чуточку более сносной.) С нынешнего дня Илмут уже никогда не будет счастлива. С нынешнего дня она будет знать *слишком много* — как те голливудские звезды, которые с добрыми намерениями посещают голодающие африканские страны. Икра быстро начинает горкнуть. Ха-ха! Счастье предполагает неведение.

— Коль мы уж заговорили о еде, — обращается Гахамел к Нит-Гайягу, — сможем ли мы разносить пиццу?

— Вы — нет, а я — да. *Итак, сударыня, прошу, у нас все с пылу с жару. Вот вам capricciosa, а вот quattro formaggi!*

Я уже давно не видел старика в таком шаловливом настроении. Гахамел нарочито громко вздыхает. Я не могу избавиться от ощущения, что Нит-Гайяг невольно имитирует голос Марии, но помалкиваю. И терпение ангелов имеет свои границы. Впрочем, доказательство тому — неожиданно решительный голос Гахамела.

— Хорошо. Итак, вернемся к Марии: это будет очень трудно, но мы должны попытаться.

Дело заранее обречено на провал, рассуждаю я. Нит-Гайяг никак не проявляет своего отношения к словам Гахамела, но несомненно истолковывает их смысл правильно. И Гахамел знает, что мы понимаем, о чем идет речь, но ради Илмут сегодня, более чем когда-либо, попытается достичь невозможного.

По мосту проходит поезд, грохочут стальные пластины, и Гахамел вынужден повысить голос. Я смотрю на купол "Манеса"[1].

— Ее отношение к Карелу, по существу, держится только на привычке и доброй воле, но искорки старой любви в ее сердце все еще тлеют. Я кое-что вам прочту.

Он вынимает какую-то книгу, открывает ее и минуту борется с ветром.

— "До тех пор, пока вы помните, что кого-то любили, вы все еще влюблены. В бесследно угасшую любовь трудно поверить".

Но особенно трудно поверить в то, что после всего виденного и пережитого Гахамел не перестает надеяться на счастливый исход. Если он, конечно, не притворяется, размышляю я. Ради того, чтобы не сломить в нас боевого духа.

— Воля Марии явно подточена усталостью и разочарованием. Она стареет и усиленно борется с собой, предаваясь бесплодным мечтаниям. Она не живет здесь и сейчас. А через несколько часов станет вдовой! Мы должны разбудить ее воспоминания о том времени, когда она любила его. Мы должны ей напомнить, что она когда-то *любила* его. Мы должны ей напомнить, что она все еще *любит* его!

Илмут восхищенно взвизгивает. Еще немного, и она захлопает в ладоши. По деревянному тротуару под нами проезжает молодая велосипедистка с ребенком в седлышке на раме.

— Она любит не Карела, а писчебумажные магазины, книги. Единственное, что теперь волнует ее, — это общение с радиостанцией... — замечаю я. — Разве вы сами это не видели?

— Она *может* его любить! — убежденно восклицает Гахамел.

— Она никогда не говорила ему этого, — замечаю я со знанием дела. — Ни теперь, ни... Фразу *я люблю тебя*, увы, она не произнесла ни разу в жизни.

Гахамел достает другой роман.

— "Ее раздражение против брака, нарастающее в последние годы, теперь стало ослабевать, — читает он мне. — Ее вдруг осенило, что они не так уж сильно отличаются друг от друга. По существу, он такой же, как и она".

Гахамел многозначительно умолкает.

— Мария должна понять, каков Карел и почему он таков. Понять другого не трудно, трудно только *хотеть* его понять! Любовь придет вслед за пониманием!

Мы молчим. Мне как-то неловко. Надо бы что-то сказать. Под мостом проплывает одинокий байдарочник. Бог весть почему, но мне приходит на ум, что это метафора.

1. Здание, предназначенное для общества художников "Манес".

— Я сделаю все, что в моих силах, — обещает Нит-Гайяг.

— Я тоже, — объявляю я со всей серьезностью.

Гахамел это знает.

— Что нам известно о Кареле?

— Почти ничего. Сынок собирался прийти на ужин, но потом позвонил и сказал, что не придет. И потому Мария не будет делать испанские птички. На ужин — насколько мы знаем — будет пицца.

— Capricciosa и quattro formaggi, — уточнил Нит-Гайяг.

— Он должен прийти, — качает головой Гахамел. — В любом случае он должен прийти на этот ужин. Иначе он будет мучиться всю жизнь!

— Я передам ему. Но это чье приказание?

Гахамел одним взмахом руки отвергает мою иронию.

— Ты пойдешь и купишь себе "ауди", — повелительно говорит он мне.

11. *Эстер*

Ожидая у мотолской[1] клиники автобус, она все время ощупывает языком сточенный обломок зуба. Она в хорошем настроении — еще бы, одна неприятная задача на сегодня выполнена. А можно ли таким же *конкретно ощутимым* способом осознать потерю мужа? — посещает ее мысль. Да, с помощью мобильника, мгновенно она находит ответ. Только на прошлой неделе Эстер решилась наконец *стереть контактный телефон* Томаша... Он, конечно, посмеялся бы над ней. Неисправимый рационалист. До самого конца он своенравно настаивал на своем.

— После сме́рти *ничего* нет, Эстер. Конец фильма.

Она опасалась, что он сам себя загоняет в ужасную ловушку. Ей трудно было понять, проявление ли это мужественности или ограниченности. И она вяло возражала ему:

— Разве ты не чувствуешь, что мы все, я и ты, частицы чего-то огромного, что неизмеримо превосходит нас?

— Да, мы все частицы огромной гнусности, называемой жизнью.

И так далее. Его устойчивые убеждения против ее неопределенных сомнений. На факультете она участвовала в подобных дебатах, но теперь этот опыт был ни к чему. Философствовать о смерти в присутствии *умирающего* она не могла. Автобус приближается к остановке, двери открываются. Эстер входит. То, что не поддавалось его определению, он иг-

1. Мотол — часть Праги 5, где расположены клиника и крематорий.

норировал. Эстер пытается восстановить в памяти его ироничное лицо, но все время видит Томаша таким, какой он на той фотографии, что постоянно перед ее глазами (на книжной полке, разумеется, еще несколько альбомов с фотографиями, но пока она не нашла в себе сил открыть их). Она вспоминает его слова: папа римский, словно менеджер по продаже веры. Черносутанники... Богословы-недоучки... Не сотвори себе кумира из своей рациональности, наставляла она его. Жизнь не проблема, которую необходимо решить, а тайна, которую надо постичь путем собственного опыта. И снова Эстер размышляет над тем, преобладала ли в последние дни у Томаша выдержка или полная отрешенность. Он сумел *принять* смерть или просто отказался от жизни?

На остановке "Ангел" ей нужно пересесть на трамвай. Она стоит на переполненной людьми остановке, перед ее глазами витрины Макдоналдса и рекламы новых фильмов. Кино ей безразлично, но солнце, освещающее фасады противоположных домов, вызывает в ней радость. Она наблюдает эту суету жизни и неприметно улыбается. Счастье — это время, вспоминает она. Да, вот где собака зарыта. Подходит семерка. Эстер входит в трамвай, останавливается на задней площадке, смотрит в окно. Трамвай вскоре вырывается из объятий домов и въезжает на мост Палацкого. Эстер обводит взглядом пароходы на пристани, зелено-белый отель "Адмирал", арки железнодорожного моста, Вышеград, тополя на берегу Смихова[1]. Ей кажется, что огромность этого простора снимает с нее тяжесть.

Повернувшись, она видит Жофин и Град[2]. На фоне голубого неба светится золотая корона Национального театра. Она ощущает, как пробуждается в ней жизнь, — и удивительно, она не чувствует себя виноватой.

Но по мере того как Эстер приближается к дому вдоль нусельской долины, ее снова начинает мучить всегдашний вопрос: сойти ли ей у вокзала во Вршовице и затем чуть вернуться назад (она ужасно не любит возвращаться) или выйти на предыдущей остановке — но тогда придется пройти под железнодорожным виадуком, где нестерпимо пахнет мочой. Она в сомнении. Трамвай проезжает театр "На Фидловачке", минует перекресток и останавливается. Двери открываются. Эстер остается в вагоне. Приподнятое настроение, которое она испытывала на мосту, покидает ее. Ей кажется, что остальные пассажиры заметили ее колебания, она даже думает, что все знают, кто она по профессии. Как смешно, право! Эта внезап-

1. Смихов — район Праги 5.
2. Жофин — прежнее название Славянского острова на Влтаве. Град — исторический и политический центр Праги.

ная мучительная нерешительность расстраивает ее. Она выходит у вршовицкого вокзала, злясь на самое себя. Ей досадно, что такие пустяки могут испортить ей настроение. Хотя она и минула виадук, одна мысль о едком запахе вызывает в ней неприятные воспоминания: в последние недели Томаш уже не мог сам дойти до туалета. Один из самых чудовищных моментов: этот почти двухметровый мужчина стал передвигаться десятисантиметровыми шажками. Потом и пятисантиметровыми. Поначалу она поддерживала его. Теряя равновесие, он хватался за нее с такой слепой истерией, с какой утопающий, должно быть, цепляется за своего спасителя. Все тело было у нее в синяках, и главным образом руки и грудь. Он даже не сознавал, что его судорожные хватания причиняют ей боль, или это уже была та стадия, когда ощущения близких становятся нам безразличны? Эстер старалась отогнать эту мысль. Могла ли она смириться с тем, что ее собственный муж сознательно или, хуже того, умышленно, с детской злокозненностью причиняет ей физическую боль?

Однажды утром он упал. Она не могла поднять его: он лежал в пижаме на их красивом ламинате экзотического дерева, она стояла перед ним на коленях, и оба ревели. В конце концов ей пришлось через балкон позвать на помощь соседку. Соседка, молодая русская женщина, действовала решительно, ловко, но, как только они из последних сил дотащили Томаша до постели и уложили его, она кинулась на шею Эстер и тоже расплакалась. Эстер даже утешала ее. С тех пор Томаш уже не вставал. Они стали пользоваться пластиковой уткой и бумажными подстилками.

Эстер переходит на противоположный тротуар и непривычно медленно, словно пытаясь обрести утраченное самообладание (у нее есть еще время, Иогана явится только через три четверти часа), идет мимо гимназии и заправочной станции к дому. Когда Томаш заправлялся, Эстер всегда оставалась в машине, но, как только он вешал шланг на место, она обычно выходила из машины и брала его под руку — ей нравилось вместе с ним идти расплачиваться у кассы (шутя, он жаловался, что из-за ее каприза он должен запирать машину). На ступенях, которые отделяют Эстер от застекленной входной двери, Томаш неожиданно оживает в ее памяти: он моет лобовое стекло автомобиля и улыбается ей.

Этот немилосердно реальный образ вобрал в себя самые даже мельчайшие детали: его небольшие усики, едва заметный шрам на лбу, катышки на черной шерстяной шапке, потертый рукав его лыжной куртки, грязная пена на окне и даже австрийская автомагистральная марка в углу стекла. Эстер ловит ртом воздух и сильно сжимает веки.

12. *Иофанел*

Карел закупает продукты в "Дельвите" на Будеёвицкой улице два раза в неделю, всегда утром, в перерывах между поездками, когда в магазине меньше народу. Паркуется он на одном и том же месте. И сегодня, как обычно, он держит в руке пресловутый перечень Марии: заглядывает в него, а потом на переполненной молочными продуктами полке отбирает нужные. Гахамел, Илмут и я возносимся над его тележкой, точно ангелы на барочной картине.

— Мы должны представить себе, что Сизиф счастлив, — по традиции предлагает нам Гахамел.

Карел, однако, счастливым не выглядит. Он укладывает в тележку четыре низкокалорийных йогурта, нарезку эдама, сыр "гермелин" и сметану light[1].

Ничего из этих продуктов он уже не попробует.

Список покупок написан Марией на белом листе формата А4 и вложен в файловую папку. На одной стороне листа компьютерным шрифтом *Times New Roman* набраны все продукты, когда-либо использованные Марией при готовке; оборотная сторона листа содержит не менее широкий ассортимент овощей, зелени, хозяйственных и аптечных товаров, причем точно в том порядке, в каком Карел проходит с тележкой соответствующие полки. Поэтому Марии уже не приходится два раза в неделю переписывать заказы — достаточно перед необходимым товаром несмываемым маркером поставить маленькую зеленую точку, которую перед следующей покупкой можно легко устранить смоченной в спирте тряпочкой.

Этого универсального перечня, как утверждает Мария, может хватить до самой смерти.

Женщины в магазине, заметившие оригинальный список Карела (а не заметить его трудно), единодушно находят Мариину идею *потрясающей* и даже *гениальной*.

Почти всякий раз кто-нибудь из них говорит ему об этом.

Но Карелу идея жены в каком-то смысле кажется *ужасной*.

Он не отрицает, что это практично, но все равно он предпочел бы что-то менее заметное, пусть и не столь остроумное.

— В его сердце неудовольствие смешивается с любовью, — размышляет Гахамел.

1. Легкая (*англ.*).

Илмут идея Марии кажется *прелестной.* Она заявляет, что уважает мужчин, которые не дают своим женам таскать тяжелые сумки. Ее наивность подчас выводит меня из себя.

— Хотя Мария формально и благодарна Карелу, но в глубине души она презирает его, — объясняю я ей. — И удивляться тут нечему. Разве может импонировать жене муж, который делает покупки, рабски следуя напечатанному списку?

— А почему нет?

У меня ничем не оправданное желание помучить ее.

— Видишь ту девушку в желтой майке, Илмут? — спрашиваю я, указывая на красивую стройную девушку, выбирающую молочко для лица. — Через сорок лет она умрет в кондитерской в Лугачовицах от инсульта.

— Не выдумывай.

Илмут обращается к Гахамелу.

— Правда, он выдумывает? — улыбаясь, спрашивает она.

Гахамел гладит ее по волосам и печально качает головой.

13. *Эстер*

Иогана как всегда пунктуальна, звонок раздается минуту спустя после двенадцати. Эстер и на сей раз отдает должное точности подруги. Она внимательно запирает квартиру (в прошлом месяце дважды оставила ее открытой) и сбегает вниз по лестнице быстрее, чем обычно, поскольку в новом тренировочном костюме чувствует себя не очень-то ловко. Предпочитая собственную ванную общим раздевалкам и душевым, она, конечно, уже переоделась. Эстер пробегает мимо почтового ящика — в его круглых отверстиях светится что-то белое. Это ей или Томашу? — мелькает мысль. Естественно ему все еще приходит почта. Сейчас Эстер относится к этому спокойно, но еще месяц назад его имя на конверте заставляло ее плакать.

Иогана стоит спиной к подъезду, на плече — объемистая сумка, которая оптически уменьшает величину ее зада. На указательном пальце Иогана вертит ключи от машины, наблюдая при этом за девушками из ресепшн (они в одинаковых розовых платьях с глубоким вырезом), но, заслышав быстрые шаги Эстер, с улыбкой оборачивается и слишком восторженно оглядывает ее прилегающий трикотажный костюм. Эстер подставляет ей для поцелуя обе щеки. Иогана единственная из ее друзей, с кем сейчас она может общаться. Разумеется, друзья не виноваты. Ей просто не хочется показываться им в своем нынешнем, измененном, виде. Опыт с умирающим отдалил ее от них, не переживших, к счастью, ничего подоб-

ного. Она никому не хочет быть в тягость. Не хочет осложнять друзьям жизнь. Они хотят развлекаться, веселиться, и это абсолютно понятно. С какой стати они должны грустить? Она так же боится их смущенного внимания, как и их случайного невнимания. Одно время она даже думала завести какого-нибудь *домашнего любимца* — но кошек она сроду не переносит, собаку нельзя целый день держать взаперти, а всякие другие звери кажутся ей недостаточно умными. Когда она представила себе, как сидит в пустой квартире с попугайчиком на плече, то сразу поняла, что любой зверек только усилил бы ее теперешнюю тоску. Что же ей *теперь* делать?

Она провожает Иогану к женской раздевалке, а сама по портику над потемневшим бассейном (сейчас, в послеобеденное время, он совсем пуст) направляется в гимнастический зал. Поздоровавшись с тренером, проходит между искусственными пальмами к четырем тренажерам в задней части обширного помещения. Когда Томаш в этом же доме двумя этажами выше умирал, она ходила сюда по несколько раз в неделю. И сегодня она может легко перенестись мыслью на два этажа выше и *увидеть его* лежащим в постели перед включенным телевизором... Тогда она еще могла на час-другой оставить Томаша в квартире одного — потом уже приходилось чередоваться со свекровью (свекор с его нарушенной психикой в роли помощника был совершенно бесполезен). Ее собственные родители с самого начала были против того, чтобы она взяла Томаша из больницы домой, так что просить у них помощи ей не хотелось — из принципа, из гордости. Практически они тогда перестали даже общаться. Каждый килограмм, который она потеряла, ухаживая за Томашем, был доказательством их правоты. Она не должна так губить себя. У нее есть право на жизнь. Она должна жить! И так далее... Они являли собой *голос разума*. Но она *не могла* поступить иначе. Она *должна была* взять его домой. Она не знала, кто возложил на нее эту задачу, но ни на миг не сомневалась в ней.

Появляется Иогана: в черной майке и леггинсах такого же цвета. Черный цвет стройнит, но чуда не делает, без всякого злорадства констатирует Эстер. Этот цвет она никогда не любила и со дня похорон ничего черного уже не надела. Ни на один день не захотела длить этот дурацкий обычай: ради чего приносить себя в жертву? Эстер выключает тренажер и, задыхаясь, спрыгивает с него.

— Диана фон Фюрстенберг, — говорит Иогана. — Надеюсь, тебе что-то говорит это имя?

— Нет.

— Модная модельерша. Кумир моды!

— Это от нее? — простодушно спрашивает Эстер, кивая на черные леггинсы Иоганы.

— Да ну тебя! Она одевает Уму Турман и Гвинет Пэлтроу! И еще Сару Джесику Паркер!

Эти имена Эстер знает, но они не вызывают в ней *ровным счетом* ничего — ни интереса, ни иронии. Тупая пустота, самая тяжкая болезнь всех тех, кто *похоронил близкого.* Она стоит рядом с Иоганой, и обе смотрятся в зеркало. Эстер начинает выполнять серию упражнений на растяжку. Иогана пробует подражать ей.

— Давай сфотографируем ее коллекцию. Знаешь, я кое-что придумала!

Эстер останавливается, рука застывает в воздухе.

— Подожди! — кричит Иогана. — Послушай хотя бы! Ты всегда можешь отказаться!

— Я заранее отказываюсь, — говорит Эстер.

— Только представь себе! Тема: молодые вдовы. Три *рафинированных* типа поведения. Никакого эмоционального надрыва, ничего такого. Сдержанность. Достоинство. Оформил бы это наш лучший график.

Эстер улыбается. Она любит Иогану, но сейчас вдруг понимает, что и с ней придется на время прекратить встречи.

— Говорю тебе — нет.

— Ну послушай: Либена Глинкова, ты и еще одна молодая вдова. Три женщины в трауре, но на пороге новой жизни и так далее... От каждой — по одному большому красивому фото и по три маленьких. На большом — предположим, вечернее длинное платье, короткое узкое платье, брючный комплект или бальное платье. Что-то в этом роде. Выбирай.

— Иогана, — Эстер поворачивается к подруге, — я была одной из трех эмансипированных женщин, которые думают, что жизнь начинается только после тридцати.

Иогана хочет что-то сказать, но Эстер обрывает ее.

— Благодаря тебе я была одной из трех женщин, которые тщетно пытались забеременеть. — Эстер делает паузу. — Но молодой вдовой я не буду, — качает она головой. — Не сердись.

— О'кей, — разочарованно говорит Иогана и неловко замахивается розовой губкой. — Я просто спросила...

14. *Гахамел*

Неистребимый запах школьных столовых.

— Что здесь едят? — морщит носик Илмут.

— Говядину с макаронами, которые называют колинками.

— Это блюдо как-то странно выглядит.

Ясно, что тема разговора просто надумана. На самом деле Илмут мучит что-то совсем другое.

— Согласен. Но кажется, обеим дамам это блюдо нравится.

Мария обедает с заместительницей директора.

— Пани заместительница уходит в отпуск в самом конце каникул, чтобы ее загар продержался как можно дольше, — объясняю я Илмут. — В нынешнем году она две недели была в Коста Брава, и ее кожа будет темно-оранжевой до самых Душичек[1].

Илмут вежливо улыбается. Обе дамы между тем решают вопрос, как определить остроту перца и, если он слишком жгуч, как его готовить.

— Карел обожает фаршированные перцы, — уточняю я.

Тем самым пытаюсь намекнуть Илмут, что Мария по-своему думает о Кареле, — но Илмут, очевидно, оставляет мой намек без внимания.

— И у Марии не будет никаких предчувствий? — неожиданно вырывается у нее.

По возможности я принимаю более строгий вид.

— Предчувствий? Человеческие предчувствия — не что иное, как недоработка ангелов.

Илмут краснеет.

— У нас нет основания думать, что мы можем изменить ход событий. Скромная благосклонность к людям — вот максимум, на который мы способны, — подчеркиваю я. — Силы добра ограничены. И потому нам подобает смирение.

Илмут, как я и ожидал, отказывается смириться.

— Значит, мы ничего не предпримем? — отчаянно вскрикивает она. — Совсем *ничего*?

Ее активность одновременно и утомляет меня, и умиляет.

— Ты можешь спокойно ей все открыть, но пойми — это ничего не изменит. Ты только напугаешь ее. Она пойдет ополоснуть себя холодной водой, а после обеда в ближайшем книжном магазине купит брошюру о проблемах климактерия.

— Вы иногда рассуждаете, как Иофанел, — говорит Илмут разочарованно.

— Иофанел, к сожалению, иногда прав.

Илмут упрямо молчит. Мария встает с тарелкой в руке.

— Пойду за добавкой, — сообщает она заместительнице и отчасти ребятам за соседним столом. Заместительница в шутку шлепает ее по складкам на животе. Ребята смеются.

— Ярмила, будь добра, положи еще, — говорит Мария полной поварихе. — Как ты думаешь, я могу плюнуть на диету?

1. День поминовения усопших у католиков — 2 ноября.

Ярмила сегодня не отвечает Марии, вид у нее огорченный. На полной шее на кожаном шнурке подвешен кусок хрусталя. Возможно, сейчас она окружена фиолетово-красным светом, который не пропускает ни одного вида дурной энергии и отпугивает все дурные существа, горестно думаю я. Менее чем через семь часов она потеряет единственного сына. Мария в ту же минуту потеряет мужа. Илмут думает о том же и впадает в отчаяние. Я понимаю ее.

— Бог... так хочет? — спрашивает она надломленным голосом.

— Не знаю, что хочет Бог, Илмут.

Заглушить отчаяние подчас невозможно. Я беру ее руку в свои сморщенные ладони.

— Смириться с тем, что мы можем сделать лишь самую малость, — твоя первейшая задача.

15. *Эстер*

Иогана занимается гимнастикой не более тридцати минут; потом объявляет, что спешит в редакцию на совещание. Эстер делает вид, что верит ей. Она осторожно наклоняется к подруге, чтобы поцеловать ее на прощание, но вдруг ей в нос ударяет острый запах Иоганиного пота. Она задерживает дыхание, не понимая даже, почему ей вдруг стало так невыносимо — ведь еще два месяца назад она *перестилала* постель Томаша... В следующий раз она пойдет заниматься одна, твердо решает она, хотя и немного стыдится своего решения. Да, теперь она всегда будет одна, следом мелькает мысль.

Размер бумажных подстилок поначалу ошеломил ее. Она подумала было, что продавщицы в магазине медицинских товаров просто разыгрывают ее. В самом деле, это выглядело плохой шуткой. В последний год ощущение розыгрыша часто посещало ее.

— Все надо принимать так, как есть, — сказала она Томашу.

Тогда у него еще были силы чуть приподняться, для того чтобы она могла подстелить под него пеленку. Позднее она только переворачивала его; но, прежде чем она обрела необходимую сноровку, эта процедура всякий раз стоила ей огромного напряжения. Но она не жаловалась — даже самой себе. Наложила запрет на любые свои жалобы. Научилась утешаться настоящим, каждым новым днем, каждым мгновением жизни. А сегодня она опасается, что начинает забывать про это.

Покончив с упражнениями, Эстер еще раз идет на беговую дорожку. Два тренажера заняты — и ей воленс-ноленс прихо-

дится встать на тот, что рядом с одним весьма странным типом. Они встречаются здесь слишком часто, так что неловко не поздороваться.

– Привет, Скотт.

– Bonjour[1].

К счастью, долгого разговора не предвидится. Эстер разбегается. Летом он так настойчиво убеждал ее, что она похожа на стюардессу "Air France", пока наконец ей не пришлось сказать ему, что она врач. Но, несмотря на это, он продолжает говорить с ней по-французски. Эстер чувствует на себе его взгляд, однако не оборачивается. Она попеременно смотрит то на Грёбовку, то на железнодорожный виадук.

– Тебе не нужна цифровая камера? – задыхаясь, спрашивает Скотт. – Или фотоаппарат?

Эстер, улыбаясь, отрицательно качает головой. Усиливает скорость дорожки и делает вид, что следит за дисплеем тренажера.

– Quel est votre nom, s'il vous plaît?[2]

Она старается не обращать на него внимания. Разве она не говорила ему, что ни слова не понимает по-французски?

– Я забыл твое имя.

– Эстер.

– Я не продаю. Я отдам тебе даром, Эстер.

Это уж слишком. Ей бы хотелось побегать еще пятнадцать минут, но, видимо, придется закончить.

– Я, правда, отдам их тебе. Даром, Эстер. Ты веришь в ангелов?

– Нет.

Эстер полагает, что из-за физического напряжения в его кровь поступают не эндорфины, а какие-то неведомые химикаты, действующие на мозг. Она дважды нажимает на кнопку "стоп". Дорожка постепенно останавливается. Эстер вытирает лицо махровым полотенцем и, снова подняв глаза, видит, что за стеклянной дверью стоят две монахини и весело машут ей. Старшая из женщин держит в руке чемодан с инструментом. У Томаша такой же – *был* такой же, – мысленно поправляет себя Эстер. Монахинь она здесь не ждала.

– Вы из хосписа? – растерянно спрашивает Эстер через стекло.

Улыбаясь, они утвердительно кивают.

Горячий душ немного успокаивает ее. В безопасности своей ванной комнаты странные вопросы Скотта кажутся ей просто

1. Здравствуйте (*франц.*).
2. Как ваше имя, скажите, пожалуйста? (*франц.*)

его чудачеством. С этим человеком явно что-то не то, решает она. Да еще и сестры милосердия приезжают, когда им вздумается, — на целый час раньше, чем было условлено. Младшая из них, конечно, на редкость красива. Мир — удивительное место. А как еще называют этих сестер? — раздумывает Эстер. Боромейками[1], что ли? К стыду своему никакой другой орден она сейчас не может припомнить. Знает только, что определенной *категории* монахинь (Эстер виновато усмехается) не дозволено покидать стены монастыря, не дозволено разговаривать с посторонними или что-то типа того. Интересно, правда ли, что монахини должны принимать душ в рубашке, чтобы нагота не вселяла в них греховные мысли? Да, она признает, что ее знания Библии, истории религии, церкви и прочая в самом деле постыдны. Она наклоняет головку душа и направляет поток воды на свое межножье. После гимнастики она всегда ощущает свое тело больше, чем обычно. Она снова может касаться его с вполне осознанным удовольствием. Это хороший признак. Хорошо бы после душа остаться в халате, но она, конечно, оденется. Из гостиной доносятся звуки дрели, а возможно, этот инструмент называется иначе, коль он одновременно служит и дрелью и отверткой.

Эстер выходит из ванной. Она чувствует себя превосходно и собирается спросить сестер, не выпьют ли они по чашечке кофе. Однако на пороге комнаты застывает. И слова не может вымолвить. Медицинская кровать, на которой три месяца умирал Томаш, превращена в груду досок, трубок и шурупов. У Эстер перехватывает дыхание. Старшая сестра поднимается, подходит ближе и явно хочет обнять ее.

— Не делайте этого, — глухо предупреждает Эстер, — я начну реветь...

— Вот и на здоровье!

Звучит это почти озорно. Монахиня раскрывает объятия. Эстер, поколебавшись, подчиняется и утыкается лицом в коричневую материю. По спине ее гладит большая ладонь — так сильно, словно это ладонь Томаша. Что-то внутри ее расслабляется — она разражается рыданиями. И не в силах сдержать себя.

— Так, так. Хорошо. Поплачьте, поплачьте.

Эстер навзрыд плачет, и ей не стыдно. Она знает, что эти женщины, как никто, понимают, что довелось пережить ей. В отличие от Иоганы они знают, что такое пролежни или опийные пластыри... Между ними чуть ли не сектантское

1. Члены женского монашеского ордена, основанного в 1652 г. Женский монастырь и больница — лучшая в Праге — носит имя св. Карела Боромейского (отсюда "боромейки"), прославившегося подвигами милосердия в годы эпидемии чумы.

братство. С рыданиями она рассказывает им, как Томаш, лежа на этой кровати, изводил ее из-за любой мелочи и в каком отчаянии она была.

Как он тщетно пытался управлять самим собой.

Как они напились за три дня до его смерти.

Как он однажды продиктовал ей завещание.

Как они обсуждали детали его похорон.

Как ее мучила совесть, когда он окончательно перестал есть и пить и только грыз кусочки льда.

Как в последние дни ее пугали судорожные движения его рук.

Как он умер.

Они слушают ее с сочувствием, но спустя некоторое время Эстер чувствует, что эта тема утомляет их. Она понимает, что сегодняшний день для них прежде всего поездка в Прагу — отсюда их почти девичье озорство. На полдня они избавились от смертельного хрипа страждущих — а сейчас снова должны выслушивать ее стенания. Она спохватывается и спрашивает:

— Я могу пригласить вас на обед?

16. *Иофанел*

Карел отвозит покупки домой, а потом пешком по Сезимовой улице проходит к ресторану "У Бансетов", где его ждет коллега по имени Рихард (здание автошколы на один квартал дальше). Мне сдается, что Карел когда-то раньше слышал слово *космополитический*... Нам, еще вчера пребывавшим в Китае, а нынче вечером улетающим в Ливан, радиус деятельности Карела кажется довольно ограниченным, но мы не сетуем. Здесь зато все очень прозрачно, все как бы такое домашнее и всегда под рукой... Ха-ха! Я боготворю порядок на рабочем месте.

Карел отказывается ездить за границу. И жене и сыну уже многие годы твердит, что даже самая пустяковая перемена пищи оказывает на него *смертельное действие*. Но он явно преувеличивает. На самом деле, смертельное действие возымеет на него лишь трамвай номер семь. Счастливая семерка! Ха-ха! Возможно, мой юмор покажется вам безвкусным, но, пожалуйста, поймите, что я должен, подобно психиатру или воспитательнице в детском доме, быть сдержанным в своих чувствах. Но этого бедолагу я уже успел полюбить.

Рихард на целое поколение моложе Карела и, сверх того, недурен собой. За те семь лет, что он работает инструктором автошколы, на его рычаге переключения уже около двух десятков *засечек* — причем, по его выражению, он никогда *не вы-*

жимает педаль. К чему лезть на рожон? Он занимает нейтральную позицию и преспокойно ждет: коли не идет само по себе, ну и не надо. Такие вещи требуют самодисциплины. Какой смысл прошибать лбом стену – все равно ее не прошибешь, а проблем не оберешься. Лезть на рожон, в основном, дело контрпродуктивное. Самое лучшее – все пустить на самотек. Как идет, так идет. Рихард отлично знает, что страх перед крутым спуском, нервозность при парковке или – идеальный случай! – утихающее возбуждение после заковыристой ситуации, которая лишь благодаря сдвоенным тормозам и Рихардовой находчивости не кончается катастрофой, часть работы проделывают за него. Потом стоит только бережно обнять и успокоить телку.

– Сделаешь один маленький шажок, которому всегда найдешь оправдание, – и телка буквально *кидается* тебе на шею!

Карел поддакивает. Он любит вести такие разговоры с Рихардом (ему мешает лишь то, что Рихард подчас забывается и говорит слишком громко), хотя, по сути, играет в них вторую скрипку. Он уже давно выложил Рихарду карты на стол, да и к чему вешать ему лапшу на уши: за пятьдесят два года у него всего три *засечки.* Или говоря по правде – даже две; что же касается третьего раза, он был излишне нервозен, дико мял *его,* сопел с деланым возбуждением, а результат был плачевный. От Рихарда он утаил это. В обоих предыдущих *любовных заходах,* которые – как сказал бы Рихард – состоялись при весьма благоприятных обстоятельствах (во всяком случае, дело обошлось без дождя), у Карела, напротив, была такая эрекция, что кожица на его баклажане напрягалась, точно кишочка на колбасе... И этим живет половина человечества! – думаю я. Счастье миллиардов людей зависит от количества крови в пещеристых тельцах! Ха-ха! Асексуальность порой – скучная штука, но, очевидно, и она имеет свои неоспоримые преимущества.

В обществе Рихарда Карел выражается только намеками, его фразы остаются недосказанными. Прямолинейность Рихарда смущает его, но, с другой стороны, он ценит, что Рихард умеет и помолчать, когда чувствует, что зашел слишком далеко.

– Какое *авто,* такой и мужик! – говорит Рихард с полным ртом. – Что скажешь, Карел?

Карел поддакивает – и это отнюдь не притворное согласие. Карел всегда считал авто неким входным билетом в мир взрослых мужчин. Разве когда-то с Марией он не проверил это на практике? Не будь у него авто, он точно не захомутал бы ее.

– Авто заложено в сексе, Карел.

– А то нет.

— Ты только вспомни, какие тачки мы выискивали по базарам в восемнадцать. Перво-наперво все искали крупного зверя.

Оба смеются. Карелу нравится, что Рихард говорит о далеком прошлом. Он не уверен, делает ли из него *мужика* маленькая красная "фелиция" (Рихард в прошлом году купил подержанный "мерседес"), так что, пожалуй, лучше чуть повернуть тему.

— Послушай, что я скажу тебе. Знаешь, о чем я мечтаю всю жизнь?

— Знаю, Карел, — отвечает Рихард, положив ему руку на плечо (таким жестом он подчас смягчает некоторую жестокость своих шуток). — Ты мечтаешь кого-нибудь трахнуть в четвертый раз!

— Нет. Я мечтаю о женщине, которая бы *действительно* нас понимала.

— Это я тоже.

Карел чувствует, что ему надо быть поконкретнее, чтобы Рихард сообразил, о чем речь.

— Знаешь, о чем я мечтаю? — смеется он, застигнутый врасплох собственной смелостью. — О женщине, которая бы после обеда спросила тебя: не хочешь ли, чтобы я тебе отсосала.

Рихард согласно поднимает палец.

— Ты понимаешь? — спрашивает Карел для верности. — Которая спросила бы об этом так же спокойно и деловито, как она спрашивает нас, хотим ли мы кофе...

Рихард кивает, хотя он явно чего-то недопонимает (но Карел не уточняет этого): ни одна женщина не только ни разу не задала ему такого вопроса — куда хуже, что ни одна не осуществила его мечту. Стало быть, правда о сексуальной жизни Карела звучит так: он ни разу в жизни не познал наслаждения *орального секса.* Пятьдесят два, а на счету у него две-три неудачные попытки типа: *Парниша, и думать забудь об этом! Не знаю, право, с какой стати мне брать в рот твой мочепровод...*

Не преуспел он и у Марии.

— Нет, такое дело совсем не по мне, запомни это раз и навсегда, — сказала она ему в свои девятнадцать с выражением воинствующей вегетарианки, которая с отвращением сообщает официанту, что не ест мяса... Ха-ха! Я оглядываюсь по сторонам, официантка разве что не спит у разливочной. Манипулировать со временем нам, конечно, запрещено, но, когда речь идет о какой-нибудь пикантности, Гахамел способен на секунду-другую закрыть глаза. Я позволяю себе чуть-чуть поторопить официантку.

И вот она уже стоит возле Карела.

— Господа, вам принести кофе? — спрашивает она спокойно и деловито.

На сей раз совещание происходит на Карловом мосту, на каменной ограде под скульптурой святого Иоанна Крестителя. Немцы, итальянцы, японцы и американцы прошивают нас цифровыми камерами, чтобы заснять Градчаны... Я вспоминаю послеобеденное home-video Зденека, и эта суета сильно удручает меня, но Гахамелу такое вавилонское столпотворение, видимо, по душе. Он почти на исходе сил, но не перестает улыбаться. В этом отношении мы с ним расходимся: я стараюсь хорошо выполнить свою профессиональную работу, а он *действительно* любит человечество. Он чувствует его печали — нечто подобное свыше моих сил. Когда-то давно, еще не зная языков мира, я питал определенные иллюзии относительно человеческой мудрости, врожденной доброты и так далее, но как только я стал понимать, *что* говорят люди, все как рукой сняло. Это как с музыкой: большинство песенок мне нравится до тех пор, пока я не переведу текст. И с людьми то же самое: когда они смеются, танцуют или спят, я гляжу на них с любовью, но как только они заговорят, любви как не бывало. Без осуждения, с пониманием смотреть на людской муравейник — таков мой максимум в отличие от Гахамела.

— Уметь вдохновляться даже при виде американских туристов — это уже не просто искусство, — подтруниваю я над ним. — Это *чудо*. Все равно, что ходить по воде как посуху.

Гахамел обнимает меня. Я подмигиваю Илмут.

— Такое же чудо, как находить любовь в эсэмэсках, которыми перебрасываются подростки.

Илмут показывает мне язык.

— Ты устал, — тихо говорю я Гахамелу. — Тебе бы отдохнуть.

— Ты несомненно прав. Психологи рекомендуют каждые пять лет менять место работы. А я уже девять столетий несу сверхсрочную службу.

Я глажу его по щеке.

— Как Зденек? — спрашивает он меня чуть погодя. — Расскажи.

— Утренние посылки он доставил вовремя.

— А послеобеденные — нет?

— Подожди, все по порядку. Обедал он в школьной столовой. Как мы знаем, это была его последняя встреча с матерью, так что я растягивал ее, как мог. Он был уже немного не в себе, но вел себя вполне деликатно. Когда он уходил, она поцеловала его.

Илмут радостно хлопает в ладоши.

— Отлично, — хвалит меня Гахамел.

— Потом он поехал домой.

— Домой?

— Да. Какое-то время раскладывал ангельские карты, этот проверенный провидческий инструмент, заряженный энергией Божьего света и любви.

Гахамел вздыхает.

— Ну, ничего, — говорю я. — Потом он открыл коробку с видеокамерой и стал снимать квартиру: кухню, спальню, туалет... В конце концов поставил камеру на стол и снял себя.

— Видеозапись на прощание, — объясняет Гахамел Илмут. — Современная форма. Все более и более популярная.

— Предусмотрительная литания оскорбленного: он три года строил дом для Лиды и детей, жертвуя буквально всем...

Гахамел молчит.

— Ничто не раскрывает характер человека так, как подготовка к самоубийству.

— В самом деле, ради этого до́ма он пожертвовал всем.

— Да. В конечном счете и своей семьей.

Надо держаться в деловых рамках. Илмут подозрительно смотрит на нас.

— Сейчас он поедет отдать кассету.

— Проследи за этим. Самое главное, займись Ярмилой.

Мы оба знаем, что наш разговор *прежде всего* предназначен для Илмут. Самоубийцы все-таки не наш профиль.

— Побудь с ней подольше, — просит меня Гахамел.

18. *Эстер*

Молодая китаянка в ресторане "Хуанхэ", что напротив вршовицкого вокзала, приносит Эстер вторую рюмку белого вина. Она выпивает. В самом деле, ей стало легче, когда она выплакалась. Эстер чувствует себя — она ищет самое точное выражение — *очищенной.* Вдохновленной. Она, конечно, вполне допускает, что это может быть действие вина. Сейчас она способна говорить о чем угодно, не стыдясь и не рыдая. Когда пожилая монахиня уходит в туалет, Эстер заговорщицки наклоняется ко второй:

— Почему такая красивая девушка, как вы, решает уйти в монастырь?

— Возможно, потому, что ее постигло большое разочарование.

Молодая женщина бросает взгляд на закрытую дверь туалета и тоже наклоняется к Эстер. Полоска белой материи на лбу подчеркивает ее загар. У нее кожа лучше, чем у меня, подмечает Эстер.

— И потому, что даже монастырь казался ей лучше самоубийства.

Обе разражаются смехом, точно две студентки. Слово *самоубийство* ничуть не шокирует Эстер. Ей сдается, что смерть Томаша подняла ее на какой-то высший уровень бытия, в котором даже страшные истины жизни можно воспринимать достаточно спокойно, без всякой истерии.

Как врач, она уже неоднократно сталкивалась с умирающими, но с умирающим Томашем весь предыдущий опыт ничего не значил. Смерть Томаша ошеломила ее. *Смерть* — это слово нельзя было даже выговорить. Разумеется, она не могла не осознавать, что Томаш умирает, но произнести *Ты умираешь* было свыше ее сил. Они лгали друг другу в лицо, и оба это знали.

Но именно Томаш покончил с тем, что терпеть дольше было немыслимо. Она почувствовала, что он намерен сделать этот шаг. Его взгляд выразил все. Вздохнув, он сказал:

— Нам надо...

Теплый день в начале мая. Тогда он еще ходил без посторонней помощи: ужасно исхудавший, с пожелтелым лицом, с отекшим животом. Он стоял в ванной комнате и, держась обеими руками за край раковины, рассматривал себя в зеркале. Эстер слышала, как он, глотая воздух, пытается овладеть своим голосом. Она хотела, чтобы он сказал *это*, — хотя все еще не была к этому готова. Томаш повернулся к ней. Чтобы не встретиться с ним взглядом, она панически обняла его. Он взял ее лицо в ладони и, мягко запрокинув ей голову, заглянул прямо в глаза.

— Я умру?

— Обними меня. Прошу тебя!

— Я умру?

Он с нетерпением ждал, когда Эстер сможет произнести слово. Ее рыдания, это непрямое признание, не удовлетворили его.

— Да.

Слово выпало... Они смотрели друг на друга в болезненном изумлении. Тишина в ванной вдруг стала другой. Зеркало, раковина, его бритва, туалетная вода, полотенца — все стало другим.

Он сказал, что хочет побыть один, и закрылся в комнате. Она слышала, как он рыдает в подушку. Натыкаясь на мебель, она ходила взад-вперед по квартире. Не прошло и часа, когда он позвал ее.

— Ну что, выпьем за это?

Он послал ее купить шампанского. Он раз-другой пригубил, а большую часть бутылки выпила она. Потом она легла рядом с ним, и они вместе предались воспоминаниям. Пытались перечислить все проведенные вместе отпуска. Называли все те необычные места, где они любили друг друга: поезд,

паром, автомойка, Стромовка[1], детская площадка в Езерке[2]... Они рассказывали друг другу, где они выпивали и где потом их рвало. Они то смеялись, то плакали.

Пожилая монахиня возвращается.

— Я вам расскажу кое-что, — со вздохом говорит Эстер. — Примерно за месяц до смерти мужа в книжном магазине я наткнулась на книжку далай-ламы. Она называется "Советы, как умирать и начать лучшую жизнь".

Сестры знают эту книжку.

— Она разочаровала меня, — продолжает Эстер без всяких околичностей.

Эстер уверена, что она, как свежеиспеченная вдова, имеет право на неординарные взгляды. Она похожа на маленькую девочку, которая расшибла до крови коленку и теперь рассчитывает на то, что ей будет дозволено все. По мере того как она пытается сформулировать свое неприятие буддийского подхода к умиранию, осознает, что ее гости исповедуют *конкурирующую* веру.

— Я сейчас похожа на женщину, которая жалуется парикмахерше на соседний салон... — добавляет она, переводя взгляд на красную бахрому, окаймляющую фонарики в окне. Ее все еще не покидает веселое настроение.

— Нет, что вы! Мы слушаем.

— Я вот что скажу: я действительно не питаю никаких иллюзий касательно постоянства вещей и теперь, как никогда раньше, осознаю их недолговечность. Мне также ясно, что в момент смерти богатство и прочее ни черта не значит, но, когда я читаю, что, быть может, также бренны наши самые близкие, ну хотя бы *жена* или *муж*, мне хочется эту книгу тотчас выкинуть из окна вместе с Его Святейшеством далай-ламой!

Сестры вежливо улыбаются.

— Вот так. Прошу извинения, — говорит Эстер.

Она чувствует, что вино здорово ударило ей в голову, сестры тоже это видят. Сейчас она занимает оборонительную позицию, но, взглянув на большой меч над входной дверью, решает перейти в наступление.

— Впрочем, я так и не смогла поверить в вашего Бога, — тут же продолжает Эстер. — Жаль. Вероятно, у меня отсутствует дар веры.

Она всегда опасалась вступать *в разговоры* о Боге, но сейчас убеждается, что ей ни капли не стыдно. Интересно, почему?

— Смерть Томаша, разумеется, все эти *вопросы* усугубила. Какой во всем этом смысл? — спрашивала я себя постоянно.

1. Парк на территории Праги.
2. Заповедник в Крушных горах.

Неужто он родился лишь для того, чтобы недолгое время сверлить людям зубы и потом умереть? И почему этот ваш Бог дал ему дорасти до размера XXL? Чтобы в сорок лет осталась от него кучка пепла?

Сестры молчат.

— Я, конечно, не хочу богохульствовать или как-то провоцировать вас, но, возможно, вы согласитесь со мной, что Он, — Эстер позволяет себе ткнуть пальцем вверх, — *обращен к людям* не лучшей стороной. Его могущество весьма сомнительно.

Она смеется, но одновременно приходит в ужас, оттого что слишком перегнула палку.

— Мы тоже иной раз сомневаемся в своей вере, — смиренно проговорила молодая монахиня. — Вы, напротив, с таким же успехом могли бы усомниться в своем неверии.

— Приходила ли вам когда-нибудь мысль, почему вы взяли Томаша из больницы домой? — улыбаясь, спрашивает пожилая монахиня.

— Интуитивно правильное решение. Другое — просто не принималось в расчет.

— Вы так думаете? Или почему вы пригласили нас на обед?

— Дружеский жест, — качает головой Эстер. — Моя добрая воля. Симпатия. Ни больше ни меньше.

— Ну хорошо. Вы не верите в Бога. Однако вы ведете себя так, будто Он существует.

Молодая монахиня указательным пальцем касается левой груди Эстер и подмигивает пожилой монахине.

— Ежели храм у нее здесь, она и в воскресенье может оставаться дома, не так ли?

19. Нит-Гайяг

Положа руку на сердце: добрые дела лишь в исключительных случаях приносят мне удовлетворение — по большей части, прямо скажем, далеко неполное. Гахамелу и того хватает, но мне порой недостает эдакого опасного огня деяний, порожденных настоящей страстью... Адреналин, которого маловато в нашей пустяковой ангельской милости, я, конечно, ежедневно восполняю человеческим сумасбродством. Конкретный пример: Зденек только что влез на дерево и в бинокль, который по Интернету уже успел заказать пенсионер из Небушиц[1], наблюдает за своим собственным домом и садом. Если бы его увидела Лидина подруга по имени Камила, которая тогда в Ис-

1. Часть Праги 6.

пании была свидетельницей их знакомства, то испытала бы чувство большого удовлетворения. Разве она не говорила Лиде, что это законченный псих, хотя и знает пять языков? Какой мужик отправляется в отпуск вдвоем с мамочкой?

Им обеим было под тридцать, обе работали продавщицами в одном парфюмерном магазине (хотя и представлялись *косметичками*), и у обеих *не было мужика*. Растущую нервозность они то скрывали, то признавали — в зависимости от степени опьянения и смелости называть вещи своими именами. Короче говоря: уже неловко было опускать джинсы ниже талии или носить слишком глубокие декольте — но чем смелее они одевались, тем плачевнее оказывались ситуации, в которые они попадали. Каждая последующая безрезультатно проведенная ночь лишь подтверждала неоспоримость прописной истины о биологических часах, тикающих вхолостую. Каждое утро, когда они, еще под хмельком, входили в гостиничный ресторан и видели эти влюбленные пары и семьи с целым выводком детей, то испытывали некое облегченное подобие той паники, которая когда-то овладела пассажирами "Титаника": во что бы то ни стало они должны сесть в лодку.

— Зденек, надо же! — повторяла Камила. — Уже одно это имечко! Разве могут быть нормальные отношения с каким-то *Зденеком*?

Лиде, конечно, нравилось внимательное отношение Зденека к матери, которую он невесть почему называл Келли. ("Келли из Нусле!" — смеялась над подругой Камила.) К тому же Лида узнала, что он говорит на французском, английском и немецком, и решила *попробовать* переспать с ним. Ах уж эти человеческие побуждения! Лучше даже не представлять себе, на что могла бы отважиться эта молодая дама, встретившись с кем-то, кто говорит на всех языках мира...

Камила предупреждала Лиду: так и знай, в постели это будет *полный абзац*! Ан нет! Пусть на Лидин вкус Зденек и вел себя слишком нежно и как-то уж *очень лирично*, но она утверждала, что сумеет *наставить его уму-разуму*.

— Тогда почему же он до сих пор не женился? — возражала Камила.

— Почему ты до сих пор не женился? — спросила Лида Зденека два дня спустя.

— Потому что я к любой потенциальной жене предъявлял чересчур высокие требования.

— Какие, например?

— Ну, скажем, такие: в новом доме — видишь ли, я строю новый дом — с нами будет жить моя мама. А ведь редкая девушка захочет по доброй воле поселиться со свекровью, которая ко всему еще верит в ангелов.

Этому бедному парню надо отдать должное: он был порядочным. В отличие от своего отца он всегда вел честную игру – и надеялся, что люди это оценят.

Но они использовали это только в угоду себе.

И его вера в людей пошатнулась.

Сейчас он ежится в кроне тополя и смотрит в бинокль на свою жену – до сих пор они не разведены. Лида сидит в белом пластиковом кресле на террасе и готовит грибы для мариновки. На ней старая фланелевая рубашка. Значит, на дворе сентябрь. Ибо времена года решительным образом влияют на Лидино отношение к жизни. Осенью и зимой она становится исключительно семейственной дамой: шьет занавески, листает каталог "ИКЕИ", закручивает банки. Пьет почти только чай и рано ложится спать. По весне, с приходом тепла, она оживает. Расцветает, точно цветок. Носит облегающие платья на бретельках, пьет вино и коктейли и возвращается домой лишь под утро.

Тогда, в Испании, они также пришли на рассвете. Она понравилась ему сразу, потому что выглядела, как ангелица Ванесса на материнских картах: черные как смоль волосы, выразительные брови, пухлые губы и высокие, крепкие бедра. Бригита на другой ангельской карте, на той, что в Испании вытащила ему из колоды обеспокоенная мамаша, призывала его к осторожности: *Прежде чем сделаете следующий шаг, основательно продумайте ситуацию.* Да, послушайся он Бригиту и маму, все было бы по-другому. Но он не послушался. На террасе появляются двое детишек с большими грибами в руках. Окуляры нового бинокля увлажняются слезами Зденека. Мелодрама. Плитку выкладывал он сам лично. Под конец стройки у них оставалось денег в обрез, и ему пришлось выбрать более дешевую плитку, чем он поначалу предполагал. В сырую погоду плитка становится скользкой, хотя ее поверхность – судя по инструкции – подвергается специальной обработке. Да, окружающий мир подводит и обманывает Зденека. Он утратил иллюзии, но, к сожалению, так и не сумел сделать полезных выводов. Сегодня вечером он наконец избавится от своего *эго*, но эту процедуру он не переживет. С водой выплеснет и ребенка.

"Мою постельку стерегут / четыре ангела вокруг / Матфей, Лука, Марк, Иоанн / а надо всеми нами Он / благослови, Господь, мой сон..."

Детская молитва, которую его дети читали перед сном.

Двойняшки, недостроенный дом и совместная жизнь со свекровью, которая с помощью кусочка хрусталя что ни вечер призывала ангелов, – это для Лиды оказалось слишком сложной комбинацией. Упади строительная скоба на голову

маленького Якуба осенью, а не в июне, — возможно, ничего бы и не случилось. Не проезжай в этот момент на своем "ауди" Филип, она бы не влюбилась. Случай — это способ, которым Бог анонимно совершает свои непростительные злодеяния. Все это могло преспокойно произойти с точностью до наоборот: в Испании она встретилась бы с Филипом, которого потом покинула бы ради Зденека... Однако так не случилось — случилось обратное. Черноволосая головка малыша кровоточит, крик, плач, Филип тормозит, погружает всех в машину и отвозит в ближайшую "Скорую помощь" на Пацовской улице, где мальчику зашивают рану. Кроме маленького шрамика, не останется никаких следов. Но Зденека эта железная скоба убивает намертво.

Филип берет у Лиды номер телефона, чтобы справиться о состоянии Якуба. Его заботливость очаровывает Лиду; еще в тот же день они встречаются на спортплощадке в Фелиманке. Месяцем позже Лида подает на развод и просит Зденека вместе с матерью выехать из дому.

Зденек сегодня умрет, ибо не знает прощения.

Умей он прощать — остался бы жить.

20. Г*ахамел*

Когда Мария вскоре после полудня выходит из школьного здания, небо над Нусельским стадионом почти безоблачное. Теплый воздух еще напоминает о каникулах. Два шестиклассника, стоя перед школой, слишком громко приветствуют свою классную руководительницу — они в одних майках, куртки обвязаны вокруг пояса. Мария со вздохом, глубина которого отнюдь не соответствует ни затраченному физическому усилию, ни ее сегодняшнему в общем-то хорошему настроению, направляется в ближайшую аптеку за мазью для ухода за пятками и травяной настойкой против бессонницы, которую посоветовала ей замдиректора. На обратной дороге в табачной лавке она покупает свежий номер журнала "Story" и садится с ним на свое любимое место в парке перед ратушей; крона декоративной яблони бросает на скамейку довольно густую тень.

— В молодости она занималась легкой атлетикой, к тому же отлично бегала на коньках, — рассказываю я Илмут. — В гимназии писала заметки в школьный журнал. Когда в 1975 году она шла во главе шеренги выпускников школы в миниюбке по Бенешову, ей казалось, что этот маленький город лежит у ее ног.

Через полчаса Мария встает и идет домой. Она переодевается, просматривает покупки Карела и начинает стряпать

испанские птички: готовит бульон, открывает бутылку белого вина, чтобы подлить немного в бульон, нарезает свежую петрушку. И, конечно, при этом слушает радио.

— Могла ли она в двадцать лет представить себе, что будет так жить? — спрашивает меня Илмут.

Она сидит на вытяжном шкафу и болтает ногами.

— Вряд ли. При желании Мария могла бы кое-что почерпнуть из жизни своей матери — но будущее было слишком далеко, чтобы, задумываясь над ним, морщить свой гладкий лобик. Чтобы интересоваться им *всерьез*. Как и большинство двадцатилетних, она не верила, что когда-нибудь у нее будут проблемы со сном или будет трескаться кожа на пятках.

Илмут хмурится.

— В молодости мало кто думает, что жизнь всего лишь прощание с жизнью. Простейшие истины мы всегда открываем последними.

— Эти истины и меня касаются?

Я киваю. Мария натирает куски мяса горчицей.

— А какие истины мне предстоит открыть? — озорно спрашивает меня Илмут.

Мы улыбаемся друг другу. "Мечтаний сладких ложь исчерпана до дна..."[1]

— Про эти истины нельзя просто *услышать*. Боюсь, что и ангелы должны их *пережить*.

Мария посыпает мясо солью, приперчивает его и откладывает в сторону; в металлическую миску с мясным фаршем ловко разбивает яйцо и добавляет петрушку.

— Куда все исчезло? — восклицает Илмут. — Где ее надежды, ее решительность? Где вся ее *энергия*?

— Постепенно разрядилась, как батарейка.

— Куда исчезла ее любовь?

— Любовная лодка разбилась о быт, написал Маяковский в прощальном письме.

Я думаю о Кареле и Зденеке.

— Мария не верит в ангелов, правда?

— Нет, но это не так важно.

— А что важно?

— Неочерствелое сердце.

— А у нее такое?

— Не знаю, Илмут. Возможно, она разочарована.

— В Кареле?

— Вообще в жизни. Она разочарована. Четверть века заботилась о сыне — и вдруг появляется замужняя дама с двумя детьми и разлучает ее с ним.

1. Строка из стихотворения "Пора" чешского поэта Франтишека Галаса (1901—1949). Перевод В. Корчагина.

— Мне ее жалко.

— Мне тоже, Илмут.

Мария вытирает руки о фартук. Пение по радио прекращается.

— Сегодня мы обсуждаем весьма деликатные темы, — игриво вещает модератор. — Мы спрашиваем, нравятся ли чешским женщинам мужчины с зачесом и нравятся ли мужчинам выбритые женщины?

Мария подходит к телефону. Набирает номер, но не может дозвониться.

— Я скажу так: я не педофил! — сообщает слушатель Ладя.

— Идиоты, — говорит Мария и с отвращением бросает трубку.

21. *Эстер*

Ровно в три часа она подъезжает к маленькой стоянке у здания автошколы. Карел выходит из конторы, застенчиво передает ей ключи от машины и просит ее две минуты подождать: у него еще кое-какие дела.

— Хорошо, — говорит Эстер.

Сегодня они в десятый — и в последний — раз едут вместе. Эстер с удивлением чувствует, что будет скучать по этому милому коренастому пятидесятилетнему человеку. Сказать об этом Иогане она не решается. Выпитое вино еще даст о себе знать, но она надеется, что машину автошколы полицейские не остановят или, по крайней мере, не заставят ее дохнуть в трубку. Карел возвращается.

— Наши занятия завершаются поездкой за урной, — усмехается Эстер. — Вам еще не случалось такое переживать?

— Нет. Но это неважно.

Этот инструктор прежде всего привлек ее своей застенчивой уверенностью. Он робок, но спокоен и вежлив. Она знала, что он никогда не произнесет ни одной из тех непристойных фраз, которые доводилось в автошколе слышать Иогане. "Ну, тетя, вы так дергаете этим рычагом, точно взбиваете кнедлики!" И тому подобное. Карел по большей части молчит, но тишина в машине доброжелательная. Она это чувствует. Если он и заговорит, то в основном о машинах, о движении в Праге или об изжоге — он знает, что она врач. Черный юмор, конечно, ему недоступен.

— Мы могли бы послезавтра забрать мужа в Страшнице? — спросила она его в конце прошлой поездки.

— Само собой.

— Мужа *в урне*, если точнее.

Он покраснел, как школьник. Не знал, что и сказать.

— Простите, я не хотела смущать вас.

— Я не думал, что вы...

В растерянности он умолк.

— Ну что вы, — засмеялась она, — относитесь к этому проще.

Вот так всегда, подумала Эстер: самый близкий из семьи покойного в конечном счете утешает того, кто вообще его не знал.

В Вршовицах по ее просьбе они еще тренируются в парковке. Здешние улицы Эстер всегда путает: Новгородская, Украинская, Минская... Они проезжают мимо матери с ребенком-олигофреном, цыганочки лет двенадцати с сигаретой во рту и растрепанной старухи в криво застегнутом болоньевом плаще. Запыленные, неумело оформленные витрины пустых, хотя и открытых, магазинчиков. Жизнь — удивительное дело, думает Эстер.

В начале августа, когда, не переставая, шел дождь, она несколько раз одиноко проходила здесь. Июль, напротив, стоял жаркий и солнечный. Первое лето молодой вдовы — надо ли что добавлять к этому? В квартире нельзя было дышать, а поехать в бассейн не хватало сил — она не выносила веселого гомона, откровенных мужских взглядов. Однажды попробовала, но по прошествии двадцати минут уехала домой.

Самыми невыносимыми были — и есть — выходные. Застывшая тишина во всем доме... Пустота оседает на мебель, словно незримая пыль. Время едва тянется. Куда лучше дежурство в больнице. Друзья и коллеги звонят ей и зовут за город, на дачи, но все приглашения она отвергает. Неужто они не понимают, что спустя несколько недель после кремации Томаша она не может смотреть, как жарят мясо *на шампурах*? В пятницу стоянка перед домом постепенно пустеет, здесь, как правило, остается одно до невозможности запыленное, на вид заброшенное "вольво" Томаша. Как-то в воскресное утро она в домашних шлепанцах спустилась во двор, нерешительно открыла эту угловатую машину и села за руль. Почувствовала себя маленькой, потерянной. Она даже не дотягивалась до педалей. Ей казалось просто невероятным, что она может *водить* это громоздкое авто. Под лобовым стеклом лежал выцветший стояночный билет. Эстер осторожно взяла его: 12 января 16.20. Она положила билет обратно. В дверном ящичке она нашла синие дворники для окон. Время застыло. Она отважилась посмотреть в зеркало заднего обзора. Что страшит ее? Она боится увидеть там его глаза? Ей представилось, что машина — живое создание, с подозрением следящее за каждым ее движением. Медленно открыв бардачок, она обнаружила начатую пачку жвачек "Орбит" и с плачем бросилась назад — в пустую квартиру.

Эстер проезжает Кубинскую площадь и, подчиняясь тихому, едва уловимому указанию Карела, по левой стороне поднимается в гору.

— Как называется эта улица? — спрашивает она. — Я всегда путаю улицы во Вршовице.

— Мурманская.

Стоянка с правой стороны по ходу машины, так что ей не приходится сворачивать влево. Она осторожно встраивается между запаркованными машинами, давая при этом право преимущественного проезда пожилой чете в трауре.

— Позвольте мне одну рюмку?

— Не могу. Вы забыли о ручном тормозе.

Эстер быстро подтягивает к себе рычаг. Оба выходят.

— Послушайте, — говорит Эстер, — мой муж весил центнер, сейчас мне отдадут не более кило — это все, что от него осталось. А вы отказываете мне в одной рюмке? Я считала вас гуманистом.

Карел смущенно смеется. Пожалуй, он уже привыкает к ее острым шуточкам.

— Ну, хорошо. Одну — можно.

— Слава Богу.

На зеленый свет они пересекают Чернокостелецкую улицу и заходят в маленький бар на первом этаже одной из новостроек. Эстер заказывает Jim Beam и минеральную воду. Карел — фернет.

— За что люди пьют здесь? В баре напротив крематория? — спрашивает Эстер официантку.

— За здоровье, — улыбается девушка.

— Я так и предполагала.

На долгое время воцаряется тишина.

— Вы хороший, — наконец говорит Эстер.

Карел молчит.

— Правда, вы хороший.

— Я удивляюсь вам, как вы справляетесь со всем этим, — замечает Карел. — Как вам удается быть веселой...

— *Веселая вдова*, это какой-то коктейль, что ли? — снова спрашивает Эстер официантку.

Девушка недоуменно пожимает плечами. Эстер поворачивается к Карелу.

— Мне кажется, это коктейль — а может, я спутала с плавленым сыром.

Карел растерян, шутка до него не доходит.

— Вы давно женаты?

— Двадцать семь лет.

— Скажите мне откровенно: это больше дало вам или отняло у вас?

Кто еще может задавать такие вопросы, если не вдовы? — думает Эстер.

— Не знаю.

— Не знаете? Человек должен это знать.

Карел в нерешительности.

— Иной раз мне кажется, — наконец отвечает он, — что мы обокрали друг друга. Что от нас обоих осталась только половина.

— Ну что ж, отлично! — восклицает Эстер. — Ровно так я себя и чувствую! *Половинкой*!

Нужная канцелярия слева от входа. Эстер инстинктивно отводит взгляд от вечного огня и провожающих у траурного зала. Несколько ступеней вверх и налево. Все оказалось неожиданно просто. К счастью, в канцелярии нет посторонних. Она молча протягивает служащей бумагу. Надо ли что-то добавлять к этому? Пожалуй, служащая понимает всю тяжесть данной минуты: она тактична, говорит тихо, ее движения достойно замедленные. Эстер корит себя, что подчас несправедлива к людям. Почему подсознательно она ожидала встретить *веселую дуреху*, которая ко всему еще красит ногти? Карел смущенно стоит в стороне, кроме приветствия — ни единого слова. Служащая уходит куда-то и неожиданно быстро приносит урну: это белая шестигранная коробка с красно-желтым логотипом Пражской похоронной службы. Кроме коробки, Эстер получает и черную пластиковую сумку.

— До свиданья, — произносит она.

До свидания? — ударяет в голову мысль. Они выходят, молодой человек, спешащий в туалет, уступает Эстер дорогу.

— Он знает, что у меня в сумке, — говорит Эстер Карелу, вглядываясь в проходящих мимо. — Все знают. Все равно, что утренняя моча.

— Может, мне это взять? — спрашивает Карел.

Эстер отрицательно качает головой. *Это*, мысленно повторяет она. Это.

Перейдя улицу, они снова на стоянке. Карел отпирает "фелицию" и раскрывает чемодан. Эстер нерешительно кладет сумку внутрь.

— Ему бы не понравилось, что вы сидите впереди, а он едет в чемодане...

Она старается острить, но ощущает уже знакомое удушье. Оно становится невыносимым. Эстер знает, что за ним последует, но сопротивляться этому бесполезно.

— Ничего, если я...

Договорить она уже не в силах. Она порывисто прижимается к Карелу, чтобы он не видел судороги, исказившей ее лицо.

На спине она чувствует его несмелую руку.

Как и всякий шеф, Гахамел настороженно оглядывает по дороге витрины, но, к счастью, и он понимает, что к автосалону "Ауди" нельзя подъехать на "фаворите".

— К храму капитализма я не могу подъехать в передвижном памятнике социализма, — предупредил я его.

В глазах, видевших все на свете, вспыхнули искорки.

— Пусть силы добра и ограничены, но на последнюю модель "мерседеса" у нас еще найдется, — сказал он гордо.

Серебряный "мерседес" R-класса я паркую так, чтобы Филип видел, как я выхожу из него. Я бы никогда не поверил, что кожаные полуботинки могут быть на такой удобной подошве. Надо признать, что этот новоявленный материализм весьма освежает наши представления. Нас вечно пугают павшими ангелами — но в мягких мокасинах и новом костюме от Хуго Босса этот образ, думаю, теряет свою устрашающую силу... Ха-ха! Филип даже встает из-за стола и идет ко мне навстречу. Не хочу кощунствовать, но и платежеспособность содержит в себе немалую долю божественной привлекательности.

— Добрый день, — говорит он и кивает на "мерседес". — Что может наш Ауди-салон сделать для того, чтобы вы изменили своей привязанности?

Я не знаток психологии клиента, но мне кажется, что он подходит к делу правильно.

— Подвезти меня, — отвечаю ему, умышленно используя нечеткий выговор.

Он смеется, хотя и знает, что этот каламбур я скачал с одного билборда (некогда придумывать что-то более привлекательное). Филип разводит руками — мол, все блестящие модели у него за спиной.

— Выбирайте.

Не могу не признать, что небрежность в одежде ему к лицу.

— Q7. Разумеется.

— Лучше не выберешь. Жалеть не будете.

— Это не для меня. Для отца.

Он одобрительно кивает.

— Снимаю перед вами шляпу!

— Да, примерный сын, — соглашаюсь я, пожимая плечами.

— Уход на пенсию? Круглая дата?

— Нет, — качаю я головой. — Прилив сентиментальности.

— У вас здорово получается, — хвалит меня Филип во время нашей пробной поездки. — Вы автогонщик?

Я польщен, ибо, говоря по правде, отношусь скорее к категории *горе-водителей.*

— Я много путешествую по миру.

— А чем вы занимаетесь, позвольте спросить?

Я поворачиваюсь к нему:

— Доставляю разные... ценности.

Я доволен своим ответом: в определенном смысле я не лгу, а легкий налет таинственности помешает ему задавать дальнейшие вопросы.

— Понятно.

— Уже год, как отец на пенсии, — предоставляю я ему свободное поле для нашей беседы. — Хочется немножко скрасить ему жизнь. Мы всегда жили с ним душа в душу — с мамой было иначе.

Как выражаются в ресторане "У Бансетов", вешать лапшу ему на уши больше нельзя. Опасно слишком нагнетать обстановку. Сделав безучастный вид, я выжидаю, чем обернется наш разговор, — пусть идет, как идет. Филип проводит пальцем по светлой коже подлокотника.

— А я всегда был ближе к матери, — говорит он. — Отец для меня — покойник.

Жестокость этого приговора на время ошеломляет меня. У него звонит мобильник, и я слышу Лидин взволнованный голос: *Зденек на дереве и шарит биноклем по всему дому! В почтовый ящик сунул нам какой-то сверток!*

Судьбы переплетаются. Впервые я осознаю, что Зденек — хотя это и не в его планах — убьет отца своего соперника. Ха-ха! Типичная проблема маленьких стран: все знают друг друга. В Китае такого бы не случилось.

— Я еду домой, — сообщает Филип Лиде. — Запритесь на ключ. Буду у вас минут через сорок.

Филип просит меня свернуть на первом же повороте. Он звонит матери и извиняется, что сегодня не сможет прийти. Обещает обязательно заехать завтра.

— Проблемы? — спрашиваю я спокойно.

Он утвердительно кивает.

— С бывшим мужем моей приятельницы. Он самый настоящий псих.

Филип так взволнован, что теряет профессиональную дистанцию с клиентом. До нашего возвращения в автосалон он успевает рассказать мне свою историю: еще до того, как прошлым летом влюбился в Лиду, женщину тридцати одного года, встречался с девятнадцатилетней девушкой. Ее молодость вдруг стала для него *физически невыносимой*. Он обнаружил, что терпеть не может ее одежду, ее мобильник, ее золотую зажигалку... Ее бюстгальтеры на поролоне.

— Я тоже не выношу бюстгальтеры на поролоне, — импровизирую я. — Это не иначе, как обманчивая реклама. Преступное сочетание поролона и убогости.

Я немного переигрываю, но Филип смеется.

Возненавидел он, дескать, и ее любимые питейные местечки. Ее коктейли. Он уже не мог смотреть, как она с соломинкой в напомаженных губах склоняется к высокому разукрашенному бокалу. Короче, от его влюбленности не осталось и следа. Когда он сказал ей об этом, она стала обзывать его подонком и дрянью, но это только облегчило разрыв... Слушать подобные истории утомительно и увлекательно одновременно. Людские страсти словно лесной пожар: то пламя полыхает здесь, то через минуту — совсем в другом месте. Хаха! Тем не менее огонь, судя по всему, самый настоящий.

Все первое лето их знакомства Лида ходила в одних бермудах и майках; от кормления их вырезы совершенно вытянулись, так что ее груди были всегда у Филипа перед глазами. Несколько раз он даже попробовал материнского молока. В самом деле, скрытые в мужчинах биологические часы проснулись и в нем. Он захотел быть отцом: водить двойняшек играть в песочнице, угощать мороженым и катать, пристегнув к сиденьям, в своей машине. А еще приятнее вынимать их из машины: вот он осторожно, чтобы не поцарапать малышек, расстегивает ремень и, нежно подхватив их под мышки, вынимает из машины. При этом прижимает к себе и вдыхает аромат их головок, которые в то же время заботливо прикрывает рукой. А потом ставит их на землю и следит за их первыми неуверенными шажками...

Уже сейчас он представляет себе, как будет забирать их из детского сада, водить в школу и разные кружки.

— Якуб, Аничка, за вами папка пришел.

23. Нит-Гайяг

Я поджидаю пани Ярмилу в ее любимом кресле, лицом к двери. Как сказал апостол Павел: "Да будут двери вашего дома всегда открыты пришлецам, ибо многие из них могут быть ангелы..." Слышу ключ в замке, Ярмила входит. Я кажусь себе детективным персонажем из фильма, который на прошлой неделе шел по RTL[1]. Или единственным зрителем реалити-шоу. Название сегодняшней части — *Материнское сердце*... Ярмила переобувается, надевает сандалии на пробковой подошве и идет в кухню, где видит открытую коробку от цифровой камеры и бинокль, но особого внимания этим предметам не уделяет. Куда больше интересует ее, пообедал ли Зденек: она осмат-

1. Немецкий телевизионный канал.

ривает грязные тарелки и остатки пищи. Заглядывает и в мусорную корзину. Вид у нее озабоченный. Она становится напротив меня, снимает юбку, бросает ее мне на колени и начинает расстегивать кофту. Человеческую плоть я представляю себе, как сибирская лиса тропики, но, несмотря на это, понимаю, что в данную минуту разделяю мечту всех вуайеров, которым нравятся зрелые полные женщины. Ярмила поправляет задранную комбинацию и идет в гостиную. При виде раскинутых карт ее лицо проясняется; собрав их, она возвращается в кухню. Берет горсть сушеного шалфея, высыпает его в керамическую пепельницу и поджигает; затем всю колоду карт она четыре раза медленно проносит над дымом, чтобы очистить их от посторонних рук. Я слежу за ее действиями с живым интересом. Наша работа утомительная и в общем отупляющая, но все же не рутинная. В Средневековье обряд сожжения трав не удивил бы меня, однако десятью веками позже это весьма любопытное зрелище. Ярмила садится на тахту и разворачивает карты веером, который потом прижимает к сердцу.

— Всевышний, сделай так, чтобы каждое толкование, которое я открою в этих картах, ниспослало великую благодать мне и всем остальным. Прошу Тебя, помоги мне ясно услышать, увидеть и прочувствовать все вести, которые Ты хочешь через это толкование сообщить мне, — шепчет она. — Благодарствую, аминь.

Для тех, кто *размышляет*, человеческая жизнь — комедия; для тех, кто *чувствует*, — это трагедия, подчас говорит Гахамел. Я представляю себе Ярмилу на тридцать лет моложе, в белом свадебном платье. Я представляю себе похищенную невесту в прокуренном карлинском[1] трактире: взгляды завсегдатаев, смех, звон рюмок.

Проходит час.

Два часа.

Жениха нет как нет. Ее неуместно белое платье привлекает к себе внимание, вызывая смех и сочувствие.

Три часа.

Похитители, вдрызг пьяные, засыпают или в растерянности расходятся. Она остается одна. В глубине души она знает, что отец Зденека уже не придет, и все-таки, невзирая на это, продолжает молча сидеть в грязном трактире до самого закрытия.

Она вытаскивает из колоды первую карту — ангелицу по имени *Ивонна*, которая явно похожа на певицу Шер. Ее крылья

1. Карлин — часть Праги 8.

украшают павлиньи глаза, а к белому облачению жмется маленький котенок.

— Вас связывают особые узы со зверушками, — поверяет она Ярмиле. — За вашими домашними любимцами на Земле и на Небе неусыпно следят ангелы.

Никаких домашних зверей Ярмила не держит, но, как ни странно, она не выглядит смущенной. Ее милое лицо улыбается. На следующей карте не ангел, а черный единорог, у которого вместо гривы развевается серебряный парик.

— Двигайтесь вперед, — велит он Ярмиле, чьи губы едва заметно шевелятся в тихом чтении.

Куда вперед? К свежим кнедликам? Или глубже в мракобесие?

— Нет, в эту минуту для вас нет ответа. Ожидайте чудесного решения.

А как же иначе? Невесть почему я вспоминаю молодую женщину, летевшую рейсом 93. За минуту до того, как самолет рухнул, она дозвонилась родителям.

— Гляди на прекрасное голубое небо и глубоко дыши, — посоветовала ей мать.

Ярмила поворачивает последнюю карту. На ней темный силуэт маленького ангела женского пола по имени Каресса, сидящего под пальмами на морском берегу в сиянии заходящего солнца. Согласно этому ангелу Ярмила находится в конце одного жизненного цикла. Она, дескать, должна созвать своих ангелов, чтобы они побудили ее отправиться в дальнейший путь. Ее ждет счастье.

Но Ярмила уже сейчас выглядит счастливой.

24. *Эстер*

В конце тренировочной поездки Эстер делается не по себе; на обратном пути она просит Карела сесть за руль. Они молча съезжают вниз во Вршовице. Два раза тихим голосом он обращает ее внимание на всякие каверзы на пути: на неточные транспортные знаки и на внезапную перестройку автопотока в боковой ряд. Эстер благодарна ему за его старания. Сумка с урной в чемодане несколько раз сдвигается с места, Эстер отчетливо различает ее шорох, а временами и приглушенный толчок.

— Пардон, — извиняется Карел. — Надо остановиться.

— Ему уже не больно, — говорит Эстер.

Она просит высадить ее у бензоколонки за домом, чтобы купить бутылку вина. С наигранной решимостью она выходит из машины — Карел открывает чемодан и подает ей урну.

— Спасибо, — на прощание говорит Эстер.

— Не за что.

Они улыбаются друг другу. Эстер вспоминает о пустой квартире, в которой ей придется провести остаток дня и вечер. Пальцем она указывает на противоположную стоянку.

— Вы видите ту запыленную машину?

— Ту "вольво"?

— Да. Вы не могли бы вместе со мной куда-нибудь в ней прокатиться?

— Пожалуйста.

— Разумеется, я бы вам заплатила.

Карел машет рукой.

— Может, сегодня вечером? У вас есть время? — спрашивает Эстер.

В ее голосе явно слышится опасение, но она пытается пококетничать.

— Лучше не откладывать наше свидание.

— Хорошо, — чуть помедлив, соглашается Карел. — В шесть?

Эстер в неожиданном порыве чувств целует его.

Дома Эстер ставит урну на единственное свободное место на книжной полке. Цветной логотип Похоронной службы слишком привлекает внимание, и она поворачивает коробку. И тут же вспоминает мелкие придирки, которыми терроризировал ее Томаш, уже не вставший с постели. Он без конца звал ее. То порошки надо было положить справа, то стакан чая поставить слева. То телевизор приподнять, чтобы лучше было видно. Эстер сумела подсунуть что-то под ящик... Он всячески распекал ее, иногда даже со злостью. Он что, в преддверии смерти обнаружил какую-то территорию, где уже ничто не имеет значения? — думала она в такие минуты. От бессилия, усталости и раздражения она плакала. К счастью, он всегда умел стать самим собой: очень милым, чуть ли не галантным. Пытался острить.

— Боюсь, что эту *экстракцию* пациент не переживет...

Он что, *инсценировал* свое умирание?

Однажды она пожаловалась ему на головную боль и ужасную усталость.

— Так ложись рядом со мной, — сказал он с иронией и указал на свободное место на своем смертном ложе.

Эстер надевает домашний костюм и открывает вино. До шести много времени, два бокала, пожалуй, она может себе позволить. С бокалом она выходит на балкон и оглядывает парк. Все еще светит солнце, тепло. Какая-то молодая красивая женщина с волосами, собранными в хвост, бросает собаке мячик. Муж, должно быть, еще не пришел с работы, дума-

ет Эстер. Вскоре под балконом проходят два маленьких мальчика, по всей вероятности братья, в одинаковых укороченных спортивных брючках и майках без рукавов. Эстер возвращается в комнату и включает телевизор. Начинается британская познавательная передача "Мир чудес", сегодняшняя часть называется "Драма в диком краю". Волки в погоне за ланью. Эстер зачарованно смотрит на экран. Затем следуют кадры, снятые с самолета: волчья стая вытесняет из стада крупного бизона. Несколько волков повисают на его толстой шее. Бизон долго сопротивляется, но вдруг у него подкашиваются ноги, и все его могучее тело сползает в снег. Эстер выключает телевизор. Тяжело дыша, она осматривается вокруг. Еще недавно он ел здесь, брился, читал газету, танцевал, мастурбировал... Господи, где все это? Куда подевалась вся эта энергия? Она буквально физически ощущает пустоту, которая осталась в ней после него. Эстер словно даже уменьшилась. С каждой смертью близкого нас становится меньше. Внешне мы выглядим нормально, но на самом деле мы лишь шагающий обрубок прошлого.

Она поняла это сразу, но отказывалась в это поверить.

Когда она впервые заметила, что под загаром у него желтое лицо, страшная мысль пронзила ее. Были бы боли, можно было бы предположить, что это камни в желчном пузыре, — но Томаш не испытывал никаких болей. Безболезненное пожелтение.

Словно кто-то дал ей заглянуть в *сценарий.*

Еще в тот же день Томаш после работы заехал за ней в больницу — у нее было ночное дежурство. Он охотно лег на спину и задрал майку. Он понимал, о чем идет речь, но мужественно изображал непринужденность. И с иронией смотрел, как она натирает зонд гелем.

— Один вощеный стаканчик возьму домой, — подмигнул он ей.

Эстер улыбнулась, хотя испытывала сжимающую все нутро нервозность — как когда-то во время учебы. Она приложила зонд к середине живота. Эхо кишечных газов смазывало изображение. Уверенности не было. Он ждал, но Эстер молчала. И лишь тихонько передвигала зонд. Даже при всем желании она не могла бы определенно сказать, что то, *на что* она смотрит, действительно гипоэхогенный, с нечеткими контурами очаг опухоли или лишь фата-моргана ее самого страшного опасения.

— Не заставляй меня напрягаться больше, чем нужно.

Прозвучало явное раздражение.

— Я ничего там не вижу, — наконец проговорила она.

Ее выдала фальшивая решительность собственного голоса.

Теперь она уже *знала*, что там *это* есть.

Опухоль у основания поджелудочной железы, вызывающая расширение желчных протоков.

На следующий день она прочла тот же диагноз в записях коллеги, обследовавшего Томаша, — по воле случая это был единственный мужчина, с которым она изменила мужу. Сейчас она ненавидела этого холеного сорокалетнего человека. Ненавидела за то, что когда-то они оскорбили Томаша. Он это чувствовал, но вел себя тактично и профессионально — хотя и был уязвлен. Она знала об этом. И можно сказать, даже подозревала, что метастазы в печени Томаша, обнаруженные им при обследовании, его личная месть.

Я ничего не знаю об умирании, корила она себя ежедневно, глядя в глаза Томашу. Мы откладываем эту тему до тех пор, пока в конце концов не станет поздно, думала она. Даже на факультете не научили ее ничему, что касалось бы самого процесса умирания. Разумеется, она понимала, что Томаш долго не проживет, — но реальную *неизбежность* его смерти допустила в мыслях лишь тогда, когда он перестал есть. Господи, ведь он действительно умрет! Было просто смешно: что́ именно заставило ее, врача, признать состояние Томаша безнадежным? Дальнейшее обследование, подтверждающее явное прогрессирование опухоли? Гистология очага новообразования? Ничего подобного; в этом окончательно убедило ее лишь нежелание Томаша есть яичницу.

С опозданием, а потому лихорадочно она начала искать нужную литературу. Наиболее полезной оказалась тоненькая брошюра, которую ей привезли сестры-боромейки из хосписа. Она читала ее у постели Томаша, когда он спал... Он умирает, а я только теперь начинаю изучать справочник, думала она с виноватым чувством легкомысленной медички. Эта брошюрка, конечно, вдохновила ее (если можно так выразиться); ведь в ней была вся квинтэссенция многолетнего опыта прощания с жизнью. Впервые со времен медфака она делала выписки.

"Люди плачут над стерней будущего и не видят полные закрома прошлого".

Именно эта фраза стала для Эстер спасительной точкой опоры — она почувствовала, что ею можно помочь и Томашу. На следующий день она выпила красного вина, перелезла через поручни его медицинской кровати, легла рядом с ним и много раз повторила эту фразу.

— Понимаешь? — уверяла она его и себя. — Мы с тобой должны смотреть в прошлое.

Томаш закрыл глаза, потом кивнул.

— Нас одарила любовь. Не каждому достается такое. У нас есть что вспомнить. Наши закрома полны прошлым.

Он сжал ей руку и после долгой паузы поцеловал ее.

25. Нит-Гайяг

И в четвертый раз мы на мосту: Главков мост. Гахамел с незапамятных времен питает слабость к мостам, но мне сдается, что этот речной поток несется куда-то в бездну. Никто из проезжающих водителей не знает, что черно-коричневые водные массы гораздо глубже, чем кажутся. Времени остается так мало. Меня одолевает безнадежность. Еще до того, как Гахамел открывает совещание, я вынимаю из портфеля один из бестселлеров Дорин Вирту и показываю ему.

— Хорошо бы тебе взглянуть на это: "Справочник для воплощенных ангелов, элементалов, вселенских существ, новых душ и посвященных", — цитирую я с обложки.

— Одну минуту. Откуда у тебя эта книга?

— Я сделал виртуальную копию, — хвастаюсь я. — Стараюсь идти в ногу со временем.

Иофанел поднимает большой палец. Гахамел продолжает изображать непонимание.

— Это ничуть не сложнее сканирования, — объясняет ему Илмут.

Гахамел качает серебряной головой.

— Главное, чтобы ты сумел доставить пиццу.

— Сумею. Кое-что прочту тебе. Небезызвестная Келли описывает свои чувства так: *Я словно не принадлежу этому миру. Я всегда чувствовала себя белой вороной. В девятилетке одноклассники говорили мне, что я с приветом. Было ужасно тяжело. Я переживала, что меня никто не любит. Теперь, когда я знаю, каковы мои духовные истоки, когда я знаю, что я воплощенный ангел, я смотрю на вещи совершенно иначе.*

— Издатель этой книжки просто преступник! — сердится Гахамел.

— Тем не менее, Дорин Вирту — частый гость в престижных американских теле- и радиопрограммах: "Oprah"[1], "CNN", "The View", "Good morning America"[2].

— Wake up, America![3] — усмехается Иофанел.

1. "Опра". Уинфри Опра — владелица американского телеканала, актриса и ведущая ежедневного послеобеденного ток-шоу.
2. "Си-эн-эн", "Взгляд", "Доброе утрое, Америка" (*англ.*).
3. Проснись, Америка! (*англ.*)

— Хорошо, — вздыхает Гахамел, — но что из этого следует? Я спрашиваю: что мы сделаем для Ярмилы? Позвольте напомнить вам, что через три часа она лишится единственного сына.

Под длинными ресницами Илмут — несомненное ожидание, которое мне трудно понять.

— Иофанел должен пойти к ней, — говорю я.

— Что?! — выкрикивает Иофанел.

— Хорошая мысль, — соглашается Гахамел. — Он представится архангелом Уриилом.

— Немного подгримируем тебя. И, конечно, у тебя будут крылья.

— Вы сошли с ума?! Вы совсем спятили?!

Гахамел взмахивает рукой в направлении многолюдной набережной.

— Мы — ничуть.

С этим нельзя не согласиться.

— Но могли бы.

— Архангел Уриил?! Мыльная опера! Упаси, Господи! — не перестает восклицать Иофанел.

Но мы-то знаем, что в конечном счете Иофанел сделает все для Ярмилы. Глаза выдают его. Вы хотите знать, как выглядят ангелы? Как хорошие люди.

Гахамел откашливается. Что еще у него на сердце? Жду, что он скажет.

— Остается вопрос: что мы можем сделать для Зденека?

Илмут от неожиданности застывает с открытым ртом.

— Что я слышу? С каких пор самоубийцы — *наша забота*? — спрашивает Иофанел.

— Неужто мы не проявим к нему даже самой скромной милости? Не исполним его последнего желания?

— Я думал, что самоубийцы — не наша забота.

— Своим поступком он лишит двух малышей отца, — повышает голос Илмут. — Мы не должны одобрять такие вещи!

— Жизнь его тоже лишила отца. Он ни разу так и не увидел его, — напоминает ей Гахамел. — Я, конечно, не одобряю таких вещей, мне просто жаль его. Подчас жизнь разочаровывает людей столь глубоко, столь фатально, что им ничего не остается, как отринуть ее. Иные разочарования, как видно, нельзя пережить.

Я думаю и о Лиде. Она встретила любовь — преступление ли это? Когда Лида встретила того, кого искала всю жизнь, она была уже замужем... Счастье одних порождает отчаяние других.

— В следующий раз мы будем исполнять последнее желание таксы, проглотившей каштан, — недовольно бурчит Иофанел.

Гахамел смотрит на него укоризненно.

— Если не *мы* будем сочувствовать людям — то кто же тогда? — спрашивает он.

Иофанел недоверчиво хмурится.

— Бог, а кто же еще! — восклицает Илмут.

Гахамел с нежностью обнимает ее.

26. Гахамел

Мария на тахте тяжело поднимает ноги и упирается ими в белую стену гостиной.

— Опять отекают, — говорит она.

— Где Иофанел? — спрашиваю я.

— Переодевается, — сообщает мне Нит-Гайяг. — С моим ангельским облачением было меньше хлопот.

— Ты не видела гастрогель?! — кричит Марии из прихожей Карел. — И синие носки не могу найти.

— Постою минуту, и ноги у меня как бревна.

Карел в раздражении останавливается в дверях. Антипатия партнеров, по сути, невинна, ибо неизбежна. После двадцати семи лет совместного существования достаточно спутать какую-нибудь дату или разлить молоко из пакета — и вся накопившаяся ненависть мгновенно выплескивается наружу с поразительной силой.

— Ты слышишь меня? Я ищу синие носки и гастрогель.

— Гастрогель в буфете. Где панировочные сухари. А может, под телевизором. Носки, как всегда, в бельевой корзине.

Карел качает головой и начинает рыться в корзине.

— Непарные, — бормочет он под нос. — Обычная история.

Он вытаскивает несколько носков различного цвета и показывает их супруге.

— Если ты их сложишь попарно, я вывешу флаг!

— Вот так всегда, — говорю я Илмут. — Этому человеку остается жить два часа — а он сетует, что у него непарные носки.

— Филип не показывался у нас уже две недели, — горестно говорит Мария.

Ваши дети – не ваши дети. Они суть сыновья и дочери жажды Жизни по себе самой. Они проходят сквозь вас, но не выходят из вас, и хоть они с вами, вам они не принадлежат. Было бы возможно, я процитировал бы Марии целую книжку, но мне остается лишь беспомощно на все смотреть.

— Я позвоню ему, — предлагает, чуть помедлив, Карел.

— Никому не звони, — вздохнув, отвечает Мария.

Она разочарована в жизни. Окончательно и бесповоротно... Ее теперешним разочарованием отмечено даже будущее. Любые неожиданности — солнечное утро, цифровой фотоаппарат, который ко дню рождения подарил ей Карел,

корзинку свежих персиков — Мария воспринимает с предвзятым скепсисом. Кто в таком настроении будет снимать? И что снимать? Кто в таком настроении будет консервировать персики? И зачем?

— Что у нас на ужин? — спрашивает Карел наступательно.

Мария молчит.

— Если не птички, то что?

— Я заказала по телефону пиццу.

— О Боже!

— Ты что, против пиццы?

— Да нет. Я съем что угодно.

— Ну, я иду, — сообщает нам Нит-Гайяг.

Илмут, сжав кулаки, желает ему удачи.

— Господи, такого старого разносчика пиццы я еще никогда не встречала! — восклицает Мария, увидев Нит-Гайяга за дверью.

— Возможно. Однако в моем возрасте человек зарабатывает как может...

Мария открывает коробку, осматривает ее содержимое и пробует.

— Вкусная! — говорит она с удивлением.

Нит-Гайяг по-старинному отвешивает низкий поклон.

— Хорошая пицца в семье пригодится. Еда сближает.

Мария вопросительно поднимает на него глаза.

Воздух колышется: это возвращается Иофанел — он уже в костюме, с огромными золотыми крыльями. Илмут, конечно, очарована. Я приветствую его взглядом.

— Этих двоих даже бефстроганов не сблизит, — кисло замечает Иофанел.

Нит-Гайяг вынимает из сумки бутылку вина.

— Я вино не заказывала, — возражает Мария. — Это ошибка.

— Подарок фирмы, — объясняет Нит-Гайяг. — Шеф велел передать.

— Это было сто лет назад, — цедит сквозь зубы Иофанел.

У Марии по-прежнему недоверчивый вид.

— Проведение промоакции, — подмигивает Нит-Гайяг Иофанелу.

Мария снова отламывает кусочек пиццы.

— Вы что кладете в нее? Орегано? Там есть орегано?

Она заставляет Карела попробовать.

— Этого я, ей-богу, не знаю.

— У вас такой вид, словно вы пиццу никогда не ели.

— Представьте себе, вы правы.

Мария удивленно хлопает ресницами. Тридцать лет назад это выглядело весьма симпатичным, а сейчас вызывает у Карела одно уныние.

— И не вздумайте убеждать меня, что вы никогда не ели пиццу!

— В самом деле никогда.

— Вам не нравится пицца?

— Если говорить откровенно, я просто не знаю.

У Илмут испуганный вид.

— Не волнуйся, Илмут, — успокаиваю я ее. — У него хорошо получается. Смотри.

— Даже не верится! — восклицает Мария. — Это надо исправить. Прошу с нами за стол!

Карел красноречивыми жестами дает ей понять, что он против, но Мария не обращает на него никакого внимания.

— Спасибо за приглашение, но я в самом деле не могу его принять, — галантно повторяет Нит-Гайяг.

— Почему? Пожалуйста, проходите. Можете не разуваться.

— Благотворительность — один из основных симптомов климакса, — замечает Иофанел. — Приливы, потливость и филантропия. Ха-ха!

Илмут, поглядев на него, хмурится.

Они проходят в кухню. Карел неохотно садится за стол и открывает бутылку вина. Мария режет пиццу на три части и кладет на тарелки. Она с любопытством ждет, когда Нит-Гайяг откусит первый кусок.

— Ну? Как?

— Замечательная. Отличная.

— Вот видите! Вы даже не знаете, чего лишаетесь.

Волшебство случайного. Очевидно, та же мысль осенила и Иофанела.

— Когда нашему Филипу было три года, он наотрез отказался от молочных продуктов, — вспоминает Мария.

Ее постоянно унылое выражение лица ненадолго освещается светом материнской любви.

— Нечего было тебе показывать корову в Бескидах, — бросает Карел.

— Вы никогда не ели пиццу, но наверняка знаете, как выглядит коровье вымя? — спрашивает Мария Нит-Гайяга. — *Грязное* коровье вымя?

— Конечно.

Карел разливает вино.

— Мерзость, правда? — продолжает Мария. — Вот ради Филипа мы и придумали, что есть два вида молока: коровье молоко — и молоко с Млечного пути.

— Это я придумал, — уточняет Карел. — В Международный женский день.

— Да, точно. Ты пришел тогда с работы вдрызг пьяный.

Нит-Гайяг вежливо улыбается.

— А на кухонном столе, как обычно, стояло пять едва начатых йогуртов... — вспоминает Карел.

— Не преувеличивай.

— Тогда мое терпение кончилось.

— Он разбудил Филипа и стал втолковывать ему, что из коровьего молока только те йогурты и сыры, на которых изображена корова, а все остальные из молочных колодцев Млечного пути, — смеется Мария.

Кухонные часы вдруг затихают.

Карел и Мария не двигаются.

— Это максимум, — сообщает Нит-Гайяг. — Больше от них ничего не добьешься.

Почему же я даже много столетий спустя не перестаю ждать большего?

— Стало быть, ничего не поделаешь. Но ты хорошо поработал, — хвалю я его.

Карел наконец отводит взгляд от часов.

— Ну, мне пора, — объявляет он. — В шесть у меня последняя ездка.

Нит-Гайяг тоже встает. Мария принимается убирать со стола. Недолгое волшебство угасает.

— Что ж, до свидания, — говорит Карел Нит-Гайягу и поворачивается к Марии: — Привет.

Он пытается ее поцеловать, но она слегка отталкивает его.

— Иди уж, йди.

Их последние общие минуты: Карел обувается, Мария затыкает пробкой бутылку. Никаких стихов не приходит мне в голову. Возможно, Иофанел прав. Поэзия показывает людей не в лучшем, а в обманчивом свете. Люди *не обладают даром* прозрения — это та истина, которую я отказываюсь принимать. Морской котик может жонглировать мячом, но говорить никогда не научится; люди умеют говорить, но никогда не научатся жить. Неискоренимая тупость этих интеллектуальных животных, думаю я. Чувствую тщетность усилий и злость, точно учитель во вспомогательной школе. Карел уходит. Viva la muerte![1]

— Давайте все называть своими именами, — угрожающе возвещает Иофанел. — Она не только не сказала ему, что любит его, но даже не поцеловала на прощание.

Он раздраженно поправляет тяжелые крылья.

1. Да здравствует смерть! (*исп.*)

— Мы сделали все, что могли, — замечаю я. — Силы добра ограничены.

— Она *ни разу в жизни* не сказала ему этого. У меня ощущение, будто из вселенной несет на меня ледяным холодом.

— Такова жизнь. То, чего нельзя изменить, надо выдержать.

Иофанел вздыхает.

— Еще у нас план *икс*.

— План *икс*?

Нит-Гайяг предупреждает меня взглядом.

— Некоторые мысли может внушить женщине только женщина, — с осторожностью говорит Иофанел и поворачивается к Илмут. — Красавица, ты знаешь, что такое *оральный секс*?

27. *Иофанел*

Зденек по-прежнему не поднимает трубку, и Ярмила начинает нервничать. Она взад-вперед ходит по маленькой квартире, так что мне приходится постоянно передвигаться. Золотые крылья отнюдь не легкие, и мои ноги отказывают, как тормоза на альпийских дорогах. Кроме того, нас подгоняет время, вот-вот должно начаться шоу. *Закругляемся*, как любят выражаться телевизионщики. Одного из них мы недавно сопровождали в Австрии. Его последнее невысказанное желание: пожар должен уничтожить все, что он отснял. Ха-ха! Конечно, не в наших силах взорвать весь архив телевизионной развлекаловки... Но, к счастью, ему ужасно захотелось "мюнхенских" белых сосисок, которые по наитию, возвращаясь с работы, купила ему жена, — так что инфаркт застиг его в состоянии полного удовлетворения. Каждое промилле человеческого счастья — колоссальное достижение, частенько повторяет Гахамел.

Ярмила ждет Зденека с ужином до половины седьмого, потом не выдерживает, ужинает одна и во вред себе опять переедает. Убрав со стола, варит кофе. Видимо, настала пора, говорю я, и предчувствие меня не обманывает. Ярмила зажигает маленькую лампочку возле радио и выключает двухрожковую люстру над столом. Она удобно располагается в кресле и начинает глубоко дышать: *исторгает из себя последние возможные тревоги, порожденные собственным ясновидением*. Ха-ха! Правой рукой она берет хрустальное стекло и приближает его к тому месту над бровями, где, согласно американским психотерапевтам, находится третий глаз, — представляю себе, как сверху сквозь хрусталь проникает луч белого света. Одновременно левой рукой

Ярмила касается темени, ибо верит, что из пальцев исходит энергия, которая пронизывает ее обесцвеченную голову и очищает от психического мусора. Итак, довольно! Я считаю до десяти и вхожу. Ярмила нечленораздельно охает, ее лицо наливается кровью — она невольно вспоминает неприятные кадры в конце венского телесериала.

— Добрый вечер, Келли. Я — Уриил, ангел Зденека. Не пугайся меня, — говорю я успокаивающе.

Ярмила раз пятнадцать поддакивает.

— Я врачую человеческие эмоции и мысли, избавляя их от ядовитости. Особенно я хорошо врачую людей от злости и непрощения.

Наконец она начинает дышать. По ее щекам стекают горячие слезы счастья. У меня, как у ангела, нет ни малейшей склонности к насилию, но сейчас я с удовольствием представляю себе, как ломаю черенок метлы о Дорин Вирту.

— Я принес тебе скорбную весть, Келли: Зденек уже отплыл на другой берег.

Руки Ярмилы, взлетев к лицу, прикрывают ее красивые губы. Подобные вещи я видел миллионы раз — но всякий раз у меня разрывается сердце.

— Ты понимаешь, о чем я, Келли?

Спустя минуту она кивает.

— Прости ему, Келли. Он знал, что его земное существование в последнее время приносит тебе одни страдания, — несу я всякую чушь, ибо эта словесная шелуха несколько успокаивает ее.

— Когда-нибудь ты с ним встретишься и увидишь, что он счастлив. И ты будешь счастлива.

Ярмила, упав на колени, в отчаянии ломает руки. Я невольно отхожу, ударяясь одним золотым крылом о холодильник, но она ничего не замечает.

— Прощай, Келли. Мы уже никогда не увидимся.

Я собираюсь уйти, но вдруг меня осеняет, что можно еще лучше использовать мое опереточное облачение.

— Ты никогда больше нас не зови, Келли. Понимаешь?

Я жду, когда она снова поддакнет. Делаю строгое лицо.

— Все, что тебе надо, ты знаешь, Келли. Хрусталь выброс. Во Влтаву. Обещай мне, что выбросишь это стекло.

— Обещаю, — произносит она хриплым голосом.

— И тебе надо подружиться с Марией.

В ее глазах изумление.

— Да, с Марией. С учительницей из вашей школы. Она будет нуждаться в тебе, Келли. А ты — в ней. Вот увидишь.

— Но ее сын... — возражает она, как я и ожидал.

— Я знаю, Келли. Прости ему. Не теряй времени в ненависти. Не теряй времени даже на нас. Carpe diem! Лови мо-

мент! Радуйся каждому дню. — Я думаю не только о Зденеке, но о Кареле и о Томаше. И о молодой китаянке. О тысяче тысяч других. — Наслаждайся всем этим божьим миром, с которым Зденеку и многим-многим другим пришлось расстаться.

Она рыдает, но я чувствую, что она не перестает меня слушать.

— Радуйся *дарованной* тебе жизни. Радуйся улыбкам детей, краскам, запаху кофе, теплому ветру и трезвону трамвая. Радуйся холодной зиме и знойному лету. Счастье — это время, Келли. Не забывай об этом.

28. Г*ахамел*

Без двадцати пяти минут семь, автозаправочная станция под Гавличковыми садами (я не выношу испарений бензина, но рабочее место, к сожалению, выбирать мы не можем). Карел, которому осталось жить примерно сорок минут, чистит и пылесосит заброшенное "вольво"; Эстер он отослал внутрь станции на чашечку кофе — ей лучше не видеть вещи Томаша, спрятанные в бардачке и дверных ящичках. Илмут сидит рядом со мной на крыше красного "рено" и не устает ловить любовные эсэмэски; ее рука движется все быстрее и быстрее, напоминая тик. Возвращается Иофанел, он уже успел переодеться и смыть с лица краску. Я хвалю его, но, видимо, сегодня мои похвалы его явно не радуют. Он оглядывается по сторонам.

— Полагаю, что Нит-Гайяг со Зденеком, — говорит он холодно.

— Да.

— Одной вещи я никак не пойму.

Я предпочитаю молчать.

— Только одной, но, возможно, самой существенной.

Его движения так напружинены, что, кажется, вот-вот он взорвется. Я смертельно устал, и моя вера покидает меня. Я становлюсь таким же безучастным, как Мария, которая за несколько сот метров отсюда спокойно гладит белье. Карел садится в машину и подъезжает к стоянке; заполняет бензобак и едет за Эстер.

— Порядок, — сообщает он ей.

— Спасибо, — говорит Эстер и целует его в щеку. — Огромное спасибо.

Они вместе подходят к кассе, Эстер платит за бензин и заказывает полную программу мойки.

— Знаешь, что сказал святой Августин? — обращается Иофанел к Илмут. — Люби Бога и делай, что хочешь.

Илмут качает головой.

— Стало быть, ты из тех моральных ипохондриков, которые предпочитают ничего не делать, но только бы не согрешить ни в какой мере...

— Я не могу это сделать. Хотя бы из-за Марии.

Карел и Эстер садятся в машину и подъезжают к мойке.

— Никто и не хочет, чтобы ты это сделала, — нехорошо смеется Иофанел. — Ты только должна внушить ей эту идею. Нужно только ее согласие.

— Ангел должен дать ей поручение, — тихо говорю я.

Илмут быстро поворачивается ко мне.

— Выходит, внушение уже не считается рабочей погрешностью ангелов?

— Жизнь, Илмут, сложнее, чем десять заповедей.

Возмущенная Илмут бросается в бегство.

Иофанел хмурится.

29. Нит-Гайяг

Но я еще не хочу умирать. Столько всего я хотела бы еще сделать, — написала в своем дневнике шестнадцатилетняя Изабела Цахерт за несколько дней до того, как умерла от рака в клинике Бонна. Иногда я задаюсь вопросом, может ли встреча с неизлечимо больными людьми предотвратить планы самоубийц? Сделал бы Зденек то, к чему сейчас он готовится, если бы знал Изабелу? Или если бы сегодня днем посетил в Мотоле детскую онкологию? Его темно-синий пиджак и белая полотняная рубаха (и то и другое он купил спустя неделю после их разрыва) донельзя измяты и вымазаны корой деревьев. В волосах — обломки веточек. Едва он выезжает на своем служебном пикапе на магистраль, как колонна машин намертво останавливается перед ним. Он чувствует в голове высокое, упорное, но какое-то торжественное давление, которое мешает ему сосредоточиться и ясно мыслить.

Трудно говорить о серьезных вещах без достаточного словарного запаса, — писала Изабела.

Зденек может говорить на трех языках мира, но сейчас ему не хватает слов. Его мучит жажда, но сейчас это не имеет значения. Для него сейчас ничего не имеет значения: ни слова, ни погода, ни денежные переводы. Он отдается то справедливому негодованию, то неопределенной, успокаивающей жалости к себе. Он думает о своих детях. Думает о матери в белом свадебном платье, как она, беременная, всеми покинутая, сидит в прокуренном карлинском трактире.

— Как ты посмел, отец, как ты посмел... — бормочет он вполголоса.

Он уже на мосту. Мост забит, машины стоят перед ним на всех трех полосах. Этого он не предвидел — ждать он не может. Архангел Уриил с приборной панели по-прежнему твердит, что его эмоции придут в норму. Зденек выходит из машины, оставляя дверь открытой. Он обходит пикап и перелезает через дорожное ограждение. Гудят клаксоны. Зденек ускоряет шаг. Бежит. Не оглядывается, но знает, что он пробежал уже достаточное расстояние. Оттолкнувшись, он впрыгивает на заградительную сетку и с удивительной легкостью вытягивается во весь рост. Несколько машин тормозят, какая-то женщина истошно кричит. Смерть здесь совершенно некстати. Зденек перебрасывает ноги через край сетки и оказывается на ее внешней стороне. Два водителя выскакивают из машин и бегут к нему, но вдруг в растерянности останавливаются. Самого Зденека обуревает страх. Он судорожно упирается лицом в сетку. К нему подбегает светловолосый молодой человек в коричневой футболке с капюшоном.

— Не делайте этого, пожалуйста! — кричит он. — Пожалуйста! — Он молитвенно складывает руки. — Послушайте меня, успокойтесь, — умоляет он Зденека. — Пожалуйста! Пожалуйста!

В молодом человеке говорит ужас перед смертью. Он еще никогда не смотрел ей в глаза. Столь часто обсуждаемое Божье милосердие прежде всего зиждется на том, что удерживает миллиарды людей в абсолютном неведении: оно позволяет им спокойно делать покупки, ссориться с женой, основывать политические фракции или играть в боулинг. Если Бог существует, то он *милостив*; действительно жестокий Бог дал бы людям прозреть.

30. *Эстер*

Удивительно, но он почти не чувствовал болей, по крайней мере в этом отношении судьба была к нему милосердна. За несколько дней до смерти он иногда слабо стонал; когда это стало учащаться, она налепила ему на грудь опийные пластыри.

Идем к финалу, уважаемые господа, бормотала Эстер, выбиваясь из последних сил. Иногда ей казалось, что Томаш поет: его растрескавшиеся губы едва приметно двигались. Когда она прикладывала ухо поближе, ей чудилось, что знакомый хрип напоминает какую-то мелодию.

По большей части он уже не замечал ее — или не хотел замечать. Мир, в котором он теперь жил, был для Эстер недоступен. Его лицо осунулось, стало жалким, но его красивые крупные зубы оставались нетронутыми болезнью. Стоило ей щеткой убрать остатки пищи, и они снова блестели какой-то

неуместной белизной... Он без труда раскусывал даже большие кусочки льда, которые она вкладывала ему в рот для утоления жажды. В этом было что-то чудовищное. Люди с такими зубами не должны умирать, думала она.

Он умер в среду к концу дня. Будучи врачом, она, конечно, видела уже немало покойников, но еще никогда не видела умирающего. Томаш был первым человеком, который умирал у нее на глазах. Она держала его руку и наблюдала, как его лицо теряет остатки красок.

— Ничего не бойся, — повторяла она. — Все идет так, как должно идти. Мы все сказали друг другу. Я здесь, с тобой. Я люблю тебя.

Слышал ли он ее? Она не знала. Удалось ли ему подавить ужас смерти? Или он ощущал его до самого конца? Она не знала.

Вот он был — и вот его уже нет. Еще за секунду до этого он был ее мужем, сейчас перед ней — только мертвое тело. Она утешала себя тем, что сумела пережить это. Жизнь не могла преподать ей лучший урок.

Она открыла окно и зажгла свечу. Она никуда не спешила. Она закрыла глаза Томашу и раздела его. Платком подвязала ему подбородок, но потом это показалось ей недостойным, и вместо платка она подложила ему под подбородок подушку. В маленьком пластиковом тазике принесла горячей воды и обмыла его. Просунула под него чистую бумажную пеленку. Натянула на него почти новую белую рубашку и серый костюм. Под конец вычистила его черные полуботинки и надела на него.

Она гордилась собой. Она выдержала.

Налила рюмку виски и стала ждать. Готовила себя к этому известию. Над мертвым телом мужа она готовила себя к известию о его смерти.

31. *Гахамел*

Мы сидим на Нусельском мосту и наблюдаем за приближающимся "вольво". Остается минута. Нит-Гайяг, повернувшись спиной к нам, доедает пиццу. Он не смотрит. Он никогда не смотрит.

Сердце Карела преисполнено благодарности. Он глядит на Эстер за рулем и смущенно, почти по-мальчишески, улыбается ей.

— Оральный секс был Эверестом всей его жизни, — хмуро твердит Иофанел. — Он буквально взошел на него. Если не

предъявлять к человеческой жизни повышенных требований современных европейцев, то можно было бы сказать, что в жизни ему повезло.

Мария отставляет утюг, вынимает вилку из розетки и включает телевизор; через минуту начнутся новости.

Филип в саду перед домом Зденека косит струнной косилкой траву вдоль бетонного бордюра.

— Прощай, Карел, — шепчет Илмут.

— Ты молодец! — говорит ей Иофанел. — Все неудачи Карела — сущие пустяки, главное, что в последнюю минуту с твоей помощью он забил гол.

Иофанел изображает безучастность к происходящему, но я-то хорошо знаю, каково ему сейчас. Тридцать секунд. "Вольво" проезжает по Острчиловой площади и направляется к мосту. Зденек отпускает заградительную сетку и падает вниз.

— Прощай, Зденек! — проговаривает, не оборачиваясь, Нит-Гайяг.

Эстер замечает тело человека за миг до того, как он распластывается на земле, и инстинктивно сворачивает машину влево на рельсы.

— Почему женщина не способна переехать труп? — выкрикивает Иофанел.

В бок машины на полной скорости врезается трамвай номер семь и отбрасывает ее на встречную полосу, где она — опять же боком — сталкивается с грузовиком марки "Скания". Оглушающий, словно бильярдный, удар грузовика отшвыривает искореженное "вольво" на тротуар. Воют тормоза, машины по обе стороны останавливаются и включают аварийные огни. Илмут плачет. Зденек мертв. Карел умирает. Умерло большое сердце. Доброй ночи, мой принц. Песни ангелов усыпят тебя. Воцаряется почти полная тишина. Предвестие ужасающей тишины бесконечных пространств? — осеняет меня. Облако взвихренной пыли и дыма постепенно рассеивается. Из открытого окна доносятся позывные телевизионных новостей. Подбегают водитель трамвая и несколько прохожих — среди них девушка в майке с глубоким вырезом.

— Взгляните на эти грудочки, они явно порадовали бы Карела, — говорит Иофанел, но его голос срывается.

Я обнимаю его за плечи, точно сына.

Он поднимает на меня влажные глаза.

— Бога нет, не так ли?

Уже в первую совместную миссию с Иофанелом я понял, что он об этом спросит, а когда — это лишь вопрос времени.

— Его не существует?

Я не отвожу от него взгляда.

— Разумеется, он существует, — говорю я. — Все зависит от того, какое имя мы дадим ему.

— А какое имя даешь ему ты?

— Ласковость, — отвечаю я так покорно, как только могу.

— А не любовь? — он спрашивает, будто стреляет из пистолета.

— Нет, ласковость.

Илмут в ужасе смотрит на нас. Нит-Гайяг берет ее за руку. Иофанел задумывается. Он заглядывает вниз под мост — мы вместе с ним. Уже слышно завывание "скорой помощи". Эстер будет жить.

— Значит, никакого "потом" не существует? Все *раз и навсегда* кончилось? Как когда выключаешь телевизор?

Это уже скорее утверждение, чем вопрос.

— Да.

Иофанел закрывает глаза и вздыхает. Илмут плачет.

— Нам пора лететь, — сообщаю я им. — Не обязательно верить в Бога, но нельзя терять надежду.

Рисунок Александра Эстиса

Жорди Гальсеран

Метод Гронхольма

Пьеса

Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

Новейший дивный мир Жорди Гальсерана

У предлагаемой пьесы счастливая судьба. Впервые поставленная в 2003 году, она за несколько лет обошла не только Европу — мир. Переведена на многие языки, в Испании по ней поставлен фильм.

Перед нами практически детектив. Во всяком случае, именно так "Метод Гронхольма" и читается, и смотрится. Скорее, скорее, не отвлекаясь, вперед! Только бы узнать, чем кончится, кто на самом деле... Убийца? А вот и нет. Убийства-то как раз тут и не случилось. Ну хотя бы в прямом смысле. А в фигуральном — так просто море крови, психологическая бойня.

Каталонский драматург Жорди Гальсеран чем-то сродни и американцу Эдварду Олби, и "сердитым молодым людям", хулиганистым англичанам пятидесятых, вроде Джона Осборна, поставившим под сомнение великое достижение европейской цивилизации — прогресс. Какую цену можно заплатить за удобства? Стоит ли ее платить? Что остается от человека, карабкающегося вверх по отвесной стене карьеры? А от тех, кто больно и с удовольствием бьет его по рукам, предвкушая, как он свалится и разобьется? Вопросы старые, знакомые, но не устаревшие, и Гальсеран умудряется ответить на них по-новому — на наглядных примерах.

Когда-то на заре отечественного либерализма мы с изумлением читали вышедшие под одной обложкой роман Замятина "Мы" и роман Олдоса

© 2003 by Jordi Galcerán
© Наталья Ванханен. Перевод, 2011

Хаксли "О дивный новый мир!". И если с приметами тоталитарного замятинского мира мы были хорошо знакомы и без труда узнавали их вокруг себя, то Олдосу Хаксли мы как-то не очень верили. Неужели люди, живущие среди изобилия и многочисленных удовольствий, свободные, в сущности, люди, могут так выхолостить душу, опошлиться и озвереть?

Да, оказывается, могут. Могут еще и не так... Об этом пьеса Гальсерана. Смешная пьеса о страшном. Сатира на дивный новейший мир. Как-то не удивляешься, что в его переводе — а Жорди Гальсеран не только драматург и сценарист, но еще и переводчик — идет в Испании гоголевский "Ревизор". Темы близкие.

Жорди Гальсеран пишет и на испанском, и на каталанском. У него много пьес. Когда с ним в очередной раз заговаривают о "Методе Гронхольма", похоже, что он вот-вот начнет морщиться, как Анна Ахматова при упоминании о "Сероглазом короле": "Как? Вы опять? Да сколько же можно... У меня ведь есть и другое".

А что делать? Вещь-то созвучна времени. Боюсь, она окажется ближе и понятнее молодому поколению, чем старшему и среднему. Именно что боюсь.

Действующие лица

Фернандо
Мерседес
Энрике
Карлос

Приемная в офисе. Добротная мебель. Паркет. Стены обшиты деревом. На столе бутылка с водой и четыре стакана. Гобелен по мотивам Жуана Миро.

Двустворчатая дверь в глубине сцены. Сбоку — еще одна дверь, поменьше. Сквозь большое окно под потолком сочится поздний вечерний свет. Виден кусочек неба. Ясно, что офис помещается на верхнем этаже. На стуле — Фернандо Порта, мужчина лет тридцати восьми. У него привлекательная наружность. Одет он в модный, с иголочки, костюм. На столе перед ним — его дипломат.

Проходит несколько минут. Фернандо взглядывает на часы, достает из дипломата газету по экономике и принимается листать ее.

Звонит мобильник. Фернандо лезет в карман, нажимает на кнопку.

Фернандо (*по мобильнику*). Да?.. Привет, старина... Я уже тут. Ну да, жду...

Через двустворчатую дверь входит Энрике Фонт. Фернандо продолжает разговор, не замечая его.

Блин! Ужин сегодня вечером?.. Что ж ты без меня договариваешься? Да нет, не пойду. Давай сам, как знаешь... Да на кой мне задарма лизать задницу этим каталонцам! Слушай, тут у меня офигенное местечко наклевывается, так что можешь послать их куда подальше от моего имени... Хватит перед ними расстилаться. Все, точка!

Фернандо замечает вошедшего Энрике.

ФЕРНАНДО (*в трубку*). Ладно, пока.

Убирает мобильник. Энрике — упитанный господин лет за сорок. Он тоже в костюме, правда не таком модном, как у Фернандо. В руке у него дипломат, но не такой новенький.

ЭНРИКЕ. День добрый.

ФЕРНАНДО. День добрый.

ЭНРИКЕ. Мне сказали, собеседование будет здесь...

ФЕРНАНДО. Да, мне тоже.

ЭНРИКЕ. Вы из этого офиса?

ФЕРНАНДО. Нет, что вы. Я кандидат на место.

ЭНРИКЕ. А, я тоже.

ФЕРНАНДО. Очень приятно.

ЭНРИКЕ. Взаимно.

Они обмениваются рукопожатием. Энрике кладет свой дипломат на стол. На время повисает молчание.

Они вам что-нибудь объяснили?

ФЕРНАНДО. Нет, ничего.

ЭНРИКЕ. Чудно́ это все, правда?

ФЕРНАНДО. Да.

ЭНРИКЕ. Нетрадиционная методика.

ФЕРНАНДО. Похоже на то.

ЭНРИКЕ. Когда мне это предложили... Не знаю. Как-то это все... непривычно. Сколько нас? Двое?

ФЕРНАНДО. Кто его знает. Стаканов — четыре.

ЭНРИКЕ. Может, два — для экспертов?

ФЕРНАНДО. Может, и так.

ЭНРИКЕ. Вся эта затея насчет группового собеседования, немного того... Оригинальная, мягко говоря. Особенно для такого места. Как правило, все гораздо более конфиденциально.

ФЕРНАНДО. Мне на это как-то...

Энрике. Мне в общем тоже, но все-таки... Мы с вами, положим, незнакомы. Но ведь есть вероятность наткнуться на кого-нибудь из знакомых.

Фернандо. И что?

Энрике. Черт, было бы немножко неловко! (*Садится. Молчание.*) Вы за рулем?

Фернандо. Да.

Энрике. Я тоже. Ну и движение, правда?

Фернандо. Как обычно.

Энрике. У меня было уже три собеседования. Не знаю, что им еще надо. А у вас сколько?

Фернандо. Три.

Энрике. Как у меня. (*Вынимает коробочку с леденцами.*) Ментольчику?

Фернандо. Нет, спасибо.

Энрике. Честно говоря, я не рассчитывал дойти до этого тура. Я ведь работал в маленькой фирме, а тут... И меблировка, и весь антураж — как в лучших домах.

Фернандо. Фирма как фирма.

Энрике. Да, но я никогда не работал в международных компаниях. А вы?

Фернандо. Я работал в разных местах.

Энрике. Условия потрясающие. А уж зарплата... Не знаю, сколько вы у себя получали, а у меня выходило в два раза меньше, чем обещают здесь. Я так боялся опоздать. Застрял на Кастельяне и думаю: "Вот сейчас припоздишься — и привет!" Это же важный момент. Иногда все зависит от мелочей. Я работал в кадрах и вот что я вам скажу: мелочи — самое главное. Как человек одет, как руку пожимает. Ну, и машина. Я всегда, по возможности, провожал их до машины. Машина многое может рассказать о владельце. Она умеет говорить. Иной раз сам вроде крутой, а глядь — машина-то паршивая.

Фернандо. Успокойтесь. Вы не опоздали.

В двустворчатую дверь входят Мерседес Дегас и Карлос Буэно. Обоим чуть за тридцать. На Мерседес элегантный костюм, жакетка. Карлос одет более буднично: он в спортивных брюках, в пиджаке, без галстука. В ухе серьга.

Карлос (*к Мерседес*). Проходи, проходи.

Мерседес. Нет, лучше ты.

Карлос. Ну, пожалуйста.

Мерседес (*улыбаясь*). Почему? Потому что я женщина?

Карлос. Да, потому что ты женщина.

Мерседес. Так и быть, пройду. Но не потому, что я женщина. (*К присутствующим.*) Добрый день.

Фернандо и Энрике. Добрый день.

Карлос. Добрый день. (*Представляясь.*) Карлос Буэно.

Карлос протягивает руку Фернандо.

Фернандо. Фернандо Порта.

Все обмениваются рукопожатиями.

Мерседес. Мерседес Дегас.

Энрике. Энрике Фонт.

Карлос. Это вы проводите собеседование?

Энрике. Нет-нет. Мы... тоже претенденты.

Карлос. Как? Оба? И мы.

Мерседес. А кто же будет спрашивать?

Энрике. Пока не знаем.

Мерседес и Карлос кладут свои вещи.

Мерседес. Три мужчины и одна женщина. Как всегда.

Карлос. Дамам — двадцать пять процентов. Вполне политкорректно.

Мерседес. Очень остроумно — ты в своем репертуаре. К твоему сведению, в наше время политкорректно — это пятьдесят процентов.

Энрике. Вы знакомы?

Карлос. Да, вместе учились на курсах.

Мерседес. Ну, я, положим, выучила чуть больше.

Карлос. Зубрилой ее дразнили. Таким обычно спуску не дают.

Энрике. Видите? Что я говорил? Непременно нарвешься на знакомого!

Карлос. А теперь что?

Фернандо. Полагаю, ждать.

Мерседес. Нас что, всех сразу будут опрашивать?

Карлос. Мне, во всяком случае, так и сказали. Одновременное собеседование.

Пауза.

Энрике. Вы на машине?

Карлос. Я — да.

Энрике. Ну и движение, правда?

Карлос. Жуть.

Энрике. Спасибо еще парковка есть, а то бы...

Карлос. Да, тут просто так не припаркуешься.

Энрике. У вас тоже было три собеседования?

Карлос. У меня да.

Мерседес. У меня тоже.

Энрике. Значит, это четвертое. Мне случалось проходить разные проверки, но так чтобы четыре подряд... Не знаю, что им еще от нас надо...

В боковой стене внезапно приоткрывается окошечко. Это нечто вроде почтового ящика, прежде совершенно незаметного. Его дверца откидывается, образуя небольшую щель. Мерседес оказывается ближе всех к этому тайнику.

Мерседес. Ой! Тут что-то есть.

Наступает мертвая тишина.

Карлос. Глянь-ка, что там.

Мерседес что-то вынимает. Окошечко тотчас захлопывается.

Мерседес. Конверт и секундомер.

Фернандо. Секундомер?

Мерседес. Такой — наручный.

Карлос. На конверте что-нибудь написано?

Мерседес. Нет. Распечатать?

Фернандо. Чего ты ко мне-то обращаешься? Я-то откуда знаю!

Мерседес вскрывает конверт.

Мерседес (*читает*). "Здравствуйте! Добро пожаловать! Как вам известно, мы приступаем к отборочному туру, по результатам которого одному из вас предстоит занять пост коммерческого директора фирмы "Декия". Вы — единственные кандидаты на предлагаемую должность. Это не обычное собеседование. Мы организуем эту встречу согласно инструкциям из нашего центрального

отделения в Швеции. Если на каком-то этапе вы сочтете для себя неприемлемым продолжать выполнение заданий, вы вправе покинуть помещение. Входная дверь не заперта. Однако следует иметь в виду, что ваш уход, по какой бы то ни было причине, будет расценен как отказ от предлагаемой должности. Первое задание состоит в следующем. Вам было объявлено, что вы последние претенденты на вакантную должность. Между тем никто не говорил, что претендентов — четверо. Уточним: истинных соискателей всего лишь трое. Один из вас — сотрудник нашего департамента по отбору персонала. К настоящему конверту прилагается секундомер. У вас десять минут на то, чтобы распознать подставное лицо. Будьте добры, включите секундомер нажатием правой кнопки". Все.

Карлос. Ексель!

Энрике. Так, минуточку... Выходит, один из нас...

Карлос. Ясное дело.

Мерседес. Осталось только выяснить, кто.

Фернандо. Я-то думал, будет собеседование.

Мерседес. Я что-то там должна нажать.

Энрике. Так значит, среди нас есть претендент, который на самом деле не претендент. И нам надо выяснить кто.

Карлос. Это мы уже поняли.

Энрике. Отлично!

Фернандо. Отлично?

Энрике. Отлично придумано. Выяснить, кто здесь врет. Отлично, потому что когда мы сюда пришли, то думали, все на равных, все кандидаты, а выходит, это не так.

Мерседес. Ну что, я включаю? (*Нажимает кнопку.*) Время пошло.

Энрике. Давайте разберемся. Один из нас, значит... не настоящий.

Пауза. Все молча смотрят друг на друга.

Мерседес. То есть эксперт — один из нас.

Фернандо. Может, это как раз ты.

Мерседес. Я? Нет, это не я.

Фернандо. Кто-то из нас прикидывается. Им может оказаться любой.

Энрике. У нас десять минут. Это совсем немного. Думаю, самое разумное действовать методом исключения, не пытаясь напрямую угадать, кто подсадная утка.

Фернандо (*язвительно*). Подсадная утка!

Энрике. Пока что ясно только одно: вы двое знакомы между собой.

Мерседес и Карлос смотрят друг на друга.

Карлос. Мы давно не виделись.

Энрике. Все равно, если ложный конкурент — один из вас, вам легче это установить. Ведь вы друг о друге кое-что знаете. У нас у всех всего лишь десять минут. В ваших же интересах поскорее исключить одного из вас: сразу одной проблемой меньше. Что скажете?

Мерседес. Минуточку. Дайте подумать.

Карлос. Все, что я знаю о Мерседес — довольно старые сведения. В то же время...

Мерседес. Подожди, Карлос. Думай прежде, чем говорить.

Карлос. О чем думать-то?

Мерседес. Нас всего четверо.

Карлос. Да, и что?

Мерседес. Ничего. Вдумайся в его просьбу. Мы тут выясняем, кто в силах правильно угадать, а кто — нет.

Карлос. А, ну да.

Карлос смотрит на Фернандо и Энрике.

Фернандо. Они нам ничего не скажут.

Энрике. Почему?

Фернандо. Потому! Они что знают, то знают, а с нами не поделятся: зачем им давать против себя лишний козырь? Я бы на их месте поступил точно так же.

Энрике. Не понял.

Фернандо. Блин, у нас же тут конкуренция! Они нам не выдадут никакой информации — одну дезу. Да, надо признать — задачка-то с подковыркой. Надо не только распознать, кто тут прикидывается, но еще и остальных запутать. Потому что если все трое догадаются, кто тут чужак, то, скажите на милость, на кой это все вообще! Все выиграли, а дальше что?

Энрике. В инструкции сказано, что мы должны выявить ложного кандидата, и не сказано, что нам следует конкурировать друг с другом.

Фернандо. Слушай, это и без того ясно. Не обязательно об этом говорить. Место одно, а нас трое. Стало быть, мы конкуренты.

Мерседес. А по-моему, Энрике прав. Может, нам правда лучше действовать сообща.

Карлос. Сообща?

Мерседес. Да, смотрите: я не видела Карлоса с нашего последнего ужина на курсах... это было года два-три назад.

Карлос. Два.

Мерседес. Он тогда работал в фармацевтической лаборатории.

Карлос. Я и сейчас там.

Мерседес. Точно. Я недавно встретила приятеля, и он мне именно так и сказал. Значит, это не Карлос.

Карлос. А ты, Мерседес, была в консалтинговой компании. Не припомню только в какой...

Мерседес. Ай Си Эр.

Карлос. Ты до сих пор там?

Мерседес. Нет, я перешла в банк. В какой, если не возражаете, не скажу.

Наступает молчание. Фернандо и Энрике пытаются взвесить слова Мерседес и Карлоса.

Фернандо. Видал?

Энрике. Что?

Фернандо. Что ничего не выйдет. Оба могут врать. Скажем так: один из них подсадной, а другой об этом догадался, но нам не скажет, потому что он первый догадался, что другой — врет.

Энрике. Черт, как все непросто!

Фернандо. Они нам рассказали про свою работу. Наше дело, верить или нет. Расскажем теперь про нашу и будем все в равном положении.

Мерседес. Знаешь, Фернандо, мне кажется, в одном ты заблуждаешься. Этот тест не на выявление самого сообразительного, а на умение работать в команде. Попробуем доверять друг другу. Сообща мы скорее отыщем подсадную утку.

Фернандо. Очень мило. Но так как подсадная утка не крякнет, что она подсадная, никакого "сообща" не выйдет. Доверия-то нет.

Карлос. По-моему, прав... как вас?

Фернандо. Фернандо.

Карлос. Вот-вот, Фернандо. Вы оба должны рассказать, кто вы.

Энрике. Я — коммерческий директор одной продуктовой фирмы.

Фернандо. Какой именно?

Энрике. Она же не говорит, в каком она банке!

Фернандо. Обалдеть! Я тоже коммерческий директор. Одной лаборатории. Кстати, странно, что я тебя никогда не видел. (*Карлосу.*) Я работаю в "Дисфарме" и могу запросто в этом признаться. А ты где?

Карлос. А я не скажу. Тем более теперь, когда узнал, что мы с тобой коллеги.

Мерседес. Я знаю, где он работает. Он не врет.

Фернандо. А где гарантия, что не врешь ты?

Мерседес. Мне-то зачем?

Фернандо. Это я уже объяснял: если ты убедилась, что он отсюда, ты будешь всячески поддерживать его легенду насчет лаборатории — чтоб не дать нам никаких преимуществ.

Мерседес. Как хочешь — можешь мне не верить, но лучше бы нам работать в команде. Главное — троим найти четвертого, подсадного, как вы выражаетесь. Так что врать — не в моих интересах.

Фернандо. Тогда скажи, в каком ты банке. Открой нам эту страшную тайну! Врать же не в твоих интересах, правда?

Мерседес колеблется.

Карлос. Я работаю в "Равентале". Я сразу вам не сказал, потому что... Ну, не сказал и все. Теперь я думаю, лучше, как говорится, играть в открытую.

Фернандо. В "Равентале", говоришь? И давно?

Карлос. Пять лет.

Фернандо. Феликса Гарридо знаешь?

Карлос. Н-н-нет. А кто это?

Фернандо. А Лауру... Лауру Санчес?

Карлос. Я знаю Лауру Васкес.

Фернандо. Да, точно. Ее фамилия Васкес.

Карлос. А кто такой Феликс Гарридо?

Фернандо. Мой двоюродный брат. Капитан торговой флотилии. Сколько осталось?

Мерседес. Почти четыре минуты.

Фернандо. Поехали дальше. Я думаю... я думаю — это не Карлос.

Энрике. Да, а вдруг ты сейчас делаешь то же, что раньше говорил про неё. Может, ты понял, что он говорит неправду, но подыгрываешь, чтоб обмануть нас.

Фернандо. Если я подыгрываю, то она тоже.

Карлос. Я говорю правду, и мне никто не подыгрывает, а вот ты... Слушай, ты уж извини, но я хорошо знаю коммерческого директора "Дисфармы" — ты на него не похож.

Фернандо. И кто же там коммерческий директор?

Карлос. Вот ты и скажи.

Фернандо. Виктор Дунсберг.

Карлос. Но ты же только что сказал, что коммерческий директор — ты...

Фернандо. Ну да, нашего филиала в Эстремадуре.

Карлос. А-а, ну про Эстремадуру я ничего не знаю.

Фернандо. То-то и оно.

Энрике. Может, вы сейчас оба прикидываетесь.

Фернандо. И она заодно, так что ли?

Энрике. Если она прикидывается, то и ты можешь.

Фернандо. Если врет она, это ее личное дело, я-то тут причем?

Энрике. Притом, что ты ее лжи потакаешь, лишь бы меня запутать.

Мерседес. Я еще ни разу не солгала. Нельзя потакать тому, чего нет.

Энрике. Может, и так. Может, ты и правду сказала, только если он (*указывает на Фернандо*) сообразил, что этот (*указывает на Карлоса*) прикидывается, он станет думать, что ты тоже солгала, и твоей игре подыграет, хотя это на самом деле была не игра.

Фернандо. Ну ты, чувак, зарапортовался.

Энрике. А вот и нет! Если он не тот, за кого себя выдает, а вы оба знаете, что он все врет, вы тоже соврете мне, чтобы поддержать его вранье.

Фернандо. Побереги мозги — ты не привык к умственным упражнениям.

Энрике. Да я просто пытаюсь понять.

Фернандо. Я тебе сейчас помогу. Если бы я прикидывался, то есть был бы подставным, я бы не сомневался, что он работает в лаборатории, потому что несколько собеседований у нас уже было. И curriculum мы все сдавали, так? Если бы я был отсюда, из этой фирмы, я бы о нем знал все наизусть и себе подыскал бы легенду получше, без всяких там лабораторий, потому что понимал бы: насчет лаборатории ему ничего не стоит меня тут же поймать.

Энрике. Повторить можешь?

Фернандо. Пусть Карлос меня что хочет спрашивает по поводу работы.

Карлос. По-моему, не стоит зря время терять. Он меня убедил. Это не он. Подставное лицо один из вас. Кстати, насчет банка Мерседес — дело темное. Что-то мне про ее банк никто из знакомых не рассказывал.

Мерседес. А вот если бы ты был из здешних, мне бы кто-нибудь из общих знакомых про это стукнул.

Карлос. Логично.

Мерседес. Ладно, хотите начистоту — пожалуйста: я служу в банке "Средиземноморье", заведую отделом маркетинга.

Карлос. И давно?

Мерседес. Полгода.

Карлос. Всего полгода. И уже хочешь сменить работу?

Мерседес. А что тут такого?

Карлос. Да нет, ничего.

Фернандо (*к Энрике*). Теперь давай ты.

Энрике. А, понял, понял... Мы тут, как эти... Нас водят за нос.

Фернандо. Эти двое?

Энрике. Нет. Нам тут сказали, что один конкурсант — не настоящий. Мы и поверили. А я думаю, мы все настоящие и никакого наблюдателя среди нас нет.

Карлос. И на фига тогда вся эта комедия?

Энрике. Именно, чтобы посмотреть, способны ли мы распознать обман. В Штатах такие штучки при наборе персонала — обычное дело. Тебе ставят задачи, ловушки там разные и следят, сумеешь ли ты взглянуть на ситуацию под новым углом зрения. Тут нас заставили поверить в подставного конкурсанта, который дурит остальных, а на самом деле они нас всех обдурили с самого начала.

Карлос. Ерунда. И вот почему: какой смысл давать нам изощряться в прозорливости, если этого никто не видит?

Энрике. Как это никто? За нами наблюдают. Тут наверняка кругом жучки. Даже камеры.

Карлос. И где, по-твоему, эти камеры?

Энрике. Откуда я знаю. Где угодно. В лампах... Да мало ли. У них тьма возможностей.

Все четверо подозрительно озирают помещение.

Карлос. Ты думаешь?..

Фернандо. Я тебе вот что скажу: складно говоришь. Так складно, что плохо верится. Ты и есть подставной. Ты ж единственный, кто ничего не сказал про свою работу. А про набор персонала ты что-то многовато знаешь — ты сам по этой части.

Мерседес. Я тоже так думаю. К тому же он начал пудрить нам мозги своей теорией, когда его к стенке приперли. Мы-то все карты открыли, а он смолчал и давай выступать про то, как нас здесь за нос водят.

Карлос. Не знаю, не знаю. Мне его теория глянулась. Пусть чуток разовьет.

Фернандо. Пусть лучше скажет, в какой он пищевой компании!

Энрике. Не скажу.

Карлос. Почему это?

Энрике. Потому что не хочу. Не считаю нужным.

Карлос (*к Мерседес*). Время?

Мерседес. Осталось две минуты... две с половиной.

Карлос. Он не хочет ничего говорить и уверен, что поступает правильно. Причина та же, что была у Фернандо, когда он наезжал на нас с Мерседес: нельзя произносить ничего, что может сыграть на руку конкурентам. Если бы он сказал, где работает и это звучало бы правдоподобно, мы все — все! — продвинулись бы вперед, а он хо-

чет выиграть сам, один. Так что, думаю, у него самая правильная догадка: мы все — настоящие.

Фернандо. Сомневаюсь. К тому же он как вошел — еще до вашего прихода — очень уж выпендривался: все демонстрировал свое недоумение насчет собеседования. "Нетрадиционные методики" — говорит. А потом давай заливать, как он персонал набирал. Мне это с самого начала показалось подозрительным.

Энрике. Что именно?

Фернандо. Да то, как ты прикалывался — мол, система какая-то странная, конфиденциальности мало... ну, вроде как критику наводил. Будь ты настоящим конкурсантом, ты бы вел себя, как все: групповое собеседование — класс, нет проблем! Понятно? Ненормальное какое-то поведение.

Энрике. Это у тебя ненормальное поведение.

Фернандо. Это ты, красавчик, ты! Ясно, как день!

Энрике. Я бы мог привести тысячу аргументов в свое оправдание. Но не стану этого делать: хотите ошибаться — пожалуйста.

Фернандо. Он мог бы привести тысячу аргументов, но не приводит ни одного.

Энрике. Потому что не хочу. Зря я тут перед вами распинался. Мне бы надо было нарочно потянуть время, чтобы десять минут кончились — дать вам окончательно обделаться и только потом выложить свою догадку.

Фернандо. Слушай, это не ты предлагал работать в команде?

Мерседес. Все, время кончилось... Надо что-то решать.

Карлос. Я согласен с Энрике: мы тут все настоящие.

Энрике. Мое мнение вы слышали.

Фернандо. А я говорю, это он.

Энрике. Энрике Фонт, к вашим услугам.

Фернандо. Брось! У тебя небось и имя-то другое.

Мерседес. А я пока не знаю. Еще не решила.

Карлос. Зря ты столько колеблешься. Нехорошо. За нами же наблюдают.

Мерседес. Ладно, тогда я тоже скажу, что это... Энрике.

Пауза

Фернандо. А теперь что?

Окошко снова приоткрывается.

Карлос. Вот сейчас всё и узнаем. Мерседес, сделай одолжение, будь добра. И не потому, что ты женщина.

Мерседес шарит в потайном ящичке. Вынимает конверт и пепельницу.

Мерседес. Энрике Фонт. На конверте твое имя.

Энрике подходит к ней. Вскрывает конверт и читает, не говоря ни слова.

Фернандо. Читай вслух, старина.

Энрике. Нет, не могу.

Энрике дочитывает сообщение и молча бросает его обратно в ящик. Окошко захлопывается.

Мерседес. Ну, кто был прав?

Карлос. Что там было?

Энрике. Кто курит, может закуривать.

Мерседес ставит пепельницу на середину стола. Энрике садится и задумывается, обхватив голову руками. Все внимательно на него смотрят.

Фернандо. Так кто выиграл-то?

Энрике. Там не сказано.

Мерседес. Там что, вообще ничего не сказано?

Энрике. Про это — ни слова.

Карлос. Ну вот, значит, мы с ним были правы: мы все настоящие. Похоже, вы оба проигрываете. А теперь что делать?

Энрике продолжает сидеть, обхватив руками голову. Он чем-то подавлен.

Энрике. Не знаю.

Карлос. Что там было?

Энрике. Меня просили... Не знаю я, что я должен делать...

Мерседес. Не знаешь? Ты что, не понял?

Энрике. Да нет, понять-то я понял.

Карлос. Ну и?..

Энрике. Ладно, я попробую... Попытаюсь все объяснить. (*Краткая пауза.*) Я думаю, в любом деле — главное результат, он превыше каких бы то ни было личных соображений.

Карлос. И?..

Энрике. В то же время я убежден, что в крупных, по-настоящему хороших фирмах, следует принимать в расчет еще и человеческий фактор, чтобы сотрудники могли испытывать гордость оттого, что трудятся в таком месте. Вот что я думаю.

Фернандо. Полностью с тобой согласен. И вдобавок, если фирма заботится о своих сотрудниках, это наилучшим образом отражается на результатах работы.

Энрике. Дайте мне закончить, пожалуйста.

Фернандо. Я думал, ты всё сказал, и теперь надо комментировать.

Энрике. Нет. Сейчас... Может, я неудачно начал. Да нет, начал-то я хорошо. Просто все должно быть ясно до того, как... До того как я вам расскажу... Ладно, неважно. В прошлом году я развелся. Причем как-то вдруг. Я этого сам не ожидал. И у меня началась депрессия.

Карлос. Что-что?

Мерседес. Оставь его.

Энрике. Моя жена узнала... Впрочем, это неважно. У нас двое детей, и она забрала их с собой. Развод был тяжелым. Как все разводы, полагаю. И в один прекрасный день я сломался. Не то чтобы я не умел держать удар, просто было столько досадных неожиданностей... И я вдруг ощутил себя, ну, виноватым что ли. Такое вот чувство... Как будто я порчу все, к чему прикасаюсь. Потому что... Потому что мы с женой были счастливы. Нет, правда... Знаю, все так говорят, но у нас правда так было. Мы были счастливы. Она сама это признает. И вот вдруг, ни с того ни с сего, я один в квартире... Друзей у меня немного. Не с кем слово молвить, вот я и замкнулся.

Фернандо. Ты извини, конечно: можешь продолжать — история премиленькая, только скажи сначала, какое у нас задание по этой твоей мелодраме. Просто, чтобы нам сориентироваться.

Энрике. Ты сейчас все узнаешь. Дайте мне досказать. Вы знаете, конечно, про чаты? Интернет и все такое... Словом, я туда влез. Надо же с кем-то поговорить. Однажды я условился о встрече с девушкой. Из чата, вы понимаете. Встретились, выпили кофейку, все, как надо... Она... Она была очень хороша собой. Поболтали. Я ведь давно ни с кем не разговаривал. Договорились встретиться опять, и я пригласил ее домой. Я... я был... Мне хотелось... Не то чтобы так уж и хотелось... Я вообще-то ни-

куда не годился... Когда мы поднялись ко мне, она вытащила пистолет.

Мерседес. Пистолет?

Энрике. Да. Тут же появился ее сообщник. Они забрали все подчистую.

Карлос. Ты что, издеваешься?

Фернандо. Ага, и уже давно.

Энрике. Потом они подтащили меня к парочке банкоматов и сняли с моих карточек все, что там было. Я это рассказываю впервые. Просто хочу, чтобы вы поняли, что меня окончательно доконало. Я полностью потерял контроль над собой.

Фернандо. Потерял контроль? Что это значит? Слушайте, что он тут несет, а?

Карлос. Я-то откуда знаю?

Энрике. Мне сделалось совсем худо. Врач предлагал бюллетень, но я отказался. Моя фирма вот-вот должна была открыть филиал за границей, я работал над этим уже два года — чтоб нам открыть рынок в этой... ну, в одной стране. Думаю, мне следовало прислушаться к своему врачу, потому что к.п.д. у меня совсем упал, это точно. Мне пришлось принимать решения... много решений... вносить авансы. Все было очень срочно, дирекция целиком полагалась на меня... Я связался с одним предприятием... неудачно, прямо скажем, связался. Все пошло не так, как предполагалось. Я-то думал: сосредоточусь на работе и забуду про личные неурядицы. А вышло еще хуже. Словом, теперь нелегко будет все это распутать, и мое начальство подумывает... оно подумывает... Вообще-то до сих пор меня считали стоящим сотрудником, я был на хорошем счету — так они, во всяком случае, говорят, — но что уж случилось, то случилось, и в нынешней ситуации руководству, понятное дело, придется что-то решать относительно меня и моего будущего. Ну, вот я и дошел до главного. Это вам предстоит принять решение, как будто вы и есть мое начальство. Вы должны решить, продолжу ли я работать над нашим проектом за границей, доверите ли вы мне новые дела или попросту отделаетесь от меня и уволите.

Карлос. Мы?

Энрике. Да.

Мерседес. Это и есть наше задание?

Энрике. Да.

Карлос. Но это условно или по-настоящему?

Энрике. Какая разница?

Фернандо. Лично я, уважаемый, так и не просек: ты кандидат на место или ты из этих, и что ты вообще за перец.

Мерседес. Ладно. Отлично. Давайте сыграем. Только для принятия решения мы пока маловато о тебе знаем.

Энрике. А вы задавайте вопросы.

Фернандо. Ничего не понимаю. Этот метод отбора — хрень какая-то. Извините, конечно.

Карлос. Начну я. Почему тебя бросила жена?

Энрике. На это я отвечать не стану.

Карлос. Разве не ты сказал: задавайте вопросы?

Энрике. Сказал, но отвечать буду, на что захочу.

Карлос. Так мы далеко не уедем.

Энрике. Причина, по которой она меня бросила, не имеет отношения к делу.

Карлос. Значит, так... Это мы должны принять решение, верно? А раз так, нам и решать, что имеет отношение к делу, а что нет.

Энрике. Я, по-моему, и так уж столько всего наговорил про свои беды.

Фернандо. Что верно, то верно. История про девицу из чата и правда душещипательная, старина.

Мерседес. Разберемся с карандашом в руках. Подойдем к проблеме профессионально.

Карлос. Это я и пытаюсь сделать, потому и задаю вопросы. Как представитель руководства компании — а я сейчас выступаю в этом качестве — должен сказать со всей определенностью: не хочешь отвечать, не отвечай, силой я тебя заставить не могу. Но если хочешь сохранить свое место, сделай милость, прояви хоть каплю чистосердечия, потому что, если будешь упираться, вылетишь вон de facto и без выходного пособия — мне чихать! Понял?

Фернандо. Ладно, играть, так играть. Правда, на этот раз, пожалуй, я на его стороне: не понимаю, на что нам знать, почему его жена бросила. Может, она ушла к другому, или ей обрыдло жить с такой размазней, или ей негр приглянулся... я почем знаю. Вот объясни, что нам это даст.

Карлос. Даст, даст, и очень многое. Надо как можно глубже вникнуть в обстоятельства личной жизни, чтобы отыскать их отпечаток в жизни общественной.

Фернандо. Во излагает! Сразу видать — учился в привилегированном заведении!

Энрике. Моя жена узнала, что я... ей изменил.

Фернандо. Ты?

Энрике. Я.

Фернандо. А вот теперь — не верю!

Мерседес. Это не имеет значения. Придется работать с той информацией, какую он сам дает.

Карлос. И с кем же ты ей изменил?

Энрике. С нашим распространителем.

Фернандо. Ни хрена себе сериал! С распространителем! Все! Мне уже хватило! Пусть катится на все четыре и фиг с ним.

Мерседес. Не все так просто. Он же отличный работник — во всяком случае, был им до последнего времени, так ведь?

Энрике. Думаю, да.

Мерседес. Если мы его уволим, нам нелегко будет найти сотрудника той же квалификации. Торопиться не следует.

Фернандо (*иронически*). Как скажете! Давайте не будем торопиться.

Карлос. Твой роман с этим... распространителем, он закончился или еще продолжается?

Энрике. Закончился несколько месяцев назад.

Карлос. Это хорошо. Во всяком случае — лучше. А развод с женой? Еще страдаешь или уже полегчало?

Энрике. Сам не знаю. Я все еще часто о ней думаю.

Фернандо. Он часто о ней думает... Слушайте, я готов всей душой болеть за друга, пережившего развод, но в данном конкретном случае мне на это, честно признаюсь, глубоко начхать. Он спутался с девицей из офиса, жена узнала, развернулась и ушла. Что поделаешь! Такова жизнь! Он видите ли впал в депрессию и начал валять дурака на работе. Сочувствую. Только мне по́ фигу, почему именно человек плюет на свою работу. Он теперь в подвешенном состоянии, между небом и землей, а нам-то что прикажете делать? Нести убытки и ждать, когда он соизволит спуститься на землю, слезши со своего дерева? Нет уж, хва! Дело надо делать.

Мерседес. А если дать ему отпуск?

Фернандо. Отпуск? И это теперь, когда мы открываем филиал в этой... как ее? Это убоище обгадилось по полной. Наставил рога жене, и она его застукала. Уже видать, что не больно шустрый — так? Офигенно вложил наш капитал — так? А мы ему за это еще и отпуск дадим? Мы кто — серьезная компания или богодельня имени Иисуса Христа?

Мерседес. А по-моему, в настоящее время его лучше кем-нибудь заменить, но, когда он выйдет из депрессии, стоит позвать его снова. Сотрудник он проверенный. До последнего времени приносил доход фирме. Надо дать человеку шанс.

Фернандо. Шанс, дилижанс! Ничего ему не давать! Человек или работает, или нет. Все. Такова жизнь.

Мерседес. В жизни каждого бывает черная полоса. Если бы всякого при этом вышвыривали на улицу, работали бы одни машины.

Фернандо. Говори о себе. У меня лично никаких черных полос. А выпадет плохой денек — так на работе никто ничего такого и не заметит. Пришел в кабинет, сел за стол и будь добр, как цирковой клоун: нарисуй себе лицо, какое по штату положено — милашки там или сукиного сына, — и валяй, жми на все педали! А кто не умеет, тот профнепригоден.

Мерседес. Слушай, а подчиненные у тебя есть?

Фернандо. Само собой.

Мерседес. Вот они тебя любят!

Фернандо. Пусть они своих жен любят, своих детей и любовниц. Лишь бы свои рабочие обязанности выполняли, а там пусть хоть вуду исповедуют, мне-то что.

Карлос. Давайте все же его выслушаем. Эта твоя распространительша, она какая?

Энрике. В каком смысле?

Карлос. Ну, что в ней такого было, что ты клюнул?

Энрике. Ну, как сказать...

Фернандо. Да что было... Задница — одна, титек — пара. Набор стандартный. Что у тебя за вопросы?

Карлос. Что хочу, то и спрашиваю.

Фернандо. А почему ты не спросишь, какой у нее был дезодорант? Это тоже может сказываться на ходе трудового процесса!

Карлос. Я просто хочу понять, думает ли он о ней до сих пор... (*К Энрике.*) Тебе-то самому, как кажется? Как ты? Пришел в себя?

Энрике. Немножко.

Карлос. Что бы ты сделал на нашем месте?

Энрике. Так вопрос не стоит.

Карлос. Нет, стоит. Если бы я тебе рассказал такую историю, что бы ты сделал?

Энрике. Здесь у каждого своя роль. Решения принимаю не я — пока что.

Мерседес. Но ты хоть борись! Мы должны решить: оставить тебя или нет, а у тебя такой вид, словно тебе по барабану... Как будто ты хочешь, чтобы тебя выставили. Ты хочешь тут остаться или нет?

Энрике (*уныло*). Да.

Фернандо. Из кожи вон лезет!

Карлос. Мерседес права... Скажи... ну, не знаю... что ты себя уже переборол, что твои личные трудности больше не отразятся на работе. Говори хоть что-нибудь — защищайся.

Энрике. Вот послушайте... Я вам уже и так рассказал все, с полной откровенностью. Мне больше нечего добавить. Это и есть мой способ защиты — по-другому я не умею.

Фернандо. Твой способ защиты — натуральное дерьмо. Знаешь, чего бы я хотел? Чтобы это был никакой не тест и мы могли бы вышвырнуть тебя к чертовой матери на самом деле. Честное слово, я бы просто кайф словил... Секундочку! Ага! Я понял, понял! Все брехня! Все, что он нам нарассказывал, полная брехня! Он — подсадной. Точно. Во-первых, как вот такой вот мог дойти до последнего тура? И потом — когда мы сюда явились, он уверял, что никогда не работал в международных компаниях, а сейчас говорит, что его фирма открыла свой филиал за рубежом. Или он врет сейчас, или врал тогда, или и тогда, и сейчас, но что врет, это точно.

Энрике. Да не вру я! Я действительно никогда не работал в международной компании. Сейчас моя фирма впервые готовится открыть заграничное отделение.

Фернандо. Давай, давай, замазывай свои промахи. Я с самого начала понял: он из здешних.

Энрике. Уверяю вас — нет.

Фернандо. Вы что, не видите? Да пожалуйста, бога ради, можем продолжить игру. Нам следует решить, выгнать его или нет, исходя из вышеизложенной назидательной новеллы. Я бы — да. Выгнал. И без малейших угрызений. Одно дело работа, а другое — семейные дрязги. Будешь смешивать одно с другим — просрешь все на свете. И все дела.

Энрике. Вы тут интересовались, что бы я сделал на вашем месте. Честно говоря, не знаю, хотя однажды мне пришлось принять подобное решение. Ситуация, правда, выглядела несколько иначе, но был у нас один хороший маркетолог, у которого случилась депрессия. Я его уволил, но сказал, чтобы он заглянул ко мне, когда придет в себя. Он не заглянул. Я ему через некоторое время позвонил, однако оказалось, он переехал. Больше я о нем никогда не слышал.

Фернандо. А зачем ты хотел, чтобы он опять с тобой работал? Чтобы он из своей депрессии уже не вылезал, да?

Карлос. Слушай, если ты правда решил, что это он нас в фирму отбирает, то ты немного махнул, а?

Фернандо. Зря ты так думаешь — как раз такие-то всегда и на плаву.

Энрике. Поверь мне, ты заблуждаешься.

Мерседес. Один вопрос. Ты чувствуешь в себе силы преодолевать трудности, которые возникнут на новом рынке сбыта?

Энрике. Думаю, да. Я знаю суть дела. Надо решительно порвать с нашими компаньонами, хоть это и недешево обойдется, и полностью взять руководство на себя. Сначала мы все думали, что надо прислушиваться к тамошним специалистам — они, мол, знают свой рынок, но сейчас очевидно — это была ошибка. Продукция у нас качественная. Молокопродукты из... Ну, в общем... Я хочу сказать, что у нас практически нет конкурентов. Нам просто следует послать туда группу своих людей — я сам лично готов поехать и контролировать работу, сколько понадобится.

Карлос. А твои дети?

Энрике: Я буду по ним скучать. В любом случае, мне кажется, сейчас отъезд мне только на пользу.

Мерседес. Что ж, меня он убедил. Пусть остается и продолжит работу.

Фернандо. Пусть остается?

Мерседес. Он знает дело лучше всех. И еще одно: если мы сразу же уволим человека из-за семейных неприятностей, это произведет тяжелое впечатление на остальных работников. По-моему, лучше его поддержать.

Карлос. Идет! Пускай остается.

Фернандо. И это у вас называется принимать профессионально-взвешенные решения? Офонареть можно.

Карлос. Мы всегда можем послать ему в помощь своего человека.

Фернандо. Не знаю, не знаю. Многовато уступок для такого обделавшегося типа.

Мерседес. А по-моему, хорошая идея. Пошлем с ним кого-нибудь, кто способен разобраться в работе. Если увидим, что с Энрике опять вышла накладка, всегда успеем его отозвать, а взамен там останется новый подготовленный сотрудник.

Карлос. Для него это прекрасный выход, а для нас — подстраховка.

Фернандо. Зряшные траты... Я... Я б его выгнал, но вас двое, а я один. Сдаюсь. Это ведь и есть демократия, да?

Мерседес. Решено. (*К Энрике.*) Мы тебя не уволим.

Энрике. Точно?

Карлос. Да.

Энрике ликующе вскидывает кулаки в знак триумфа..

Энрике. Это оказалось легче, чем я думал. Я должен был добиться, чтобы меня не уволили. В этом и состояло задание. Лично мое.

Фернандо. Видали козла!

Карлос. А вся эта история — про жену и развод?

Энрике. Правда.

Карлос. И все это с тобой случилось, когда ты работал в пищевой компании?

Энрике. Да.

Мерседес. И как они поступили? Уволили тебя?

Энрике. Нет. Дали отпуск. Вот я его и использую.

Фернандо. А про девицу из чата — правда?

Энрике. И да, и нет. Я немного сгустил краски. Этой женщине действительно нужны были от меня только деньги, но она на меня не нападала — ничего такого. Я это доба-

вил, ну, просто... Мне подумалось, это поможет вас разжалобить. Нет, честно, я потрясен здешней системой отбора. Гениальная штука. Мои поздравления тем, кто все это придумал.

Фернандо. Мало того, что козел, еще и прохиндей!

Энрике. Что ты сказал?

Фернандо. Да нет, это я так.

Карлос. Наверное, сейчас опять откроется окошко.

Энрике. Не думаю. В одной американской компании устроили очень интересную проверку. Всех конкурсантов собрали в зале — вроде, как нас сейчас, — будто для собеседования, и тут вдруг сработала пожарная сигнализация. Они засняли поведение соискателей на камеру и проанализировали его.

Фернандо. А чего ожидали увидеть-то? Все врассыпную — и дело с концом.

Энрике. Иногда людей просто-напросто надолго оставляют в комнате и наблюдают, как они общаются меж собой. Говорят, лидерские качества могут проявляться в любой ситуации — даже когда ничего особенного не происходит. Скажем, человек с задатками лидера первым завязывает разговор, первым представляется собеседнику... Ну, всякое такое.

Фернандо. Вот почему ты так косил под симпатягу, когда сюда явился. Демонстрировал свои лидерские качества, да? Изумительно получалось. Их, полагаю, особенно впечатлили твои тонкие замечания про уличное движение. Извините, конечно, но, по-моему, все эти новейшие методики — полное... Но раз уж мы здесь...

Энрике. Поосторожнее, нас же слушают!

Фернандо. Тем лучше. Я, так и быть, выполню, что от меня требуется, но это не значит, что я от всего этого в экстазе. Если они там не безголовые, оценят мою искренность. Так оно все и работает. Все эти психологи, скажу я вам... Они непотопляемые, а те, что в крупных компаниях, те вообще... Расселись по своим кабинетам и только и делают, что копаются в твоей личной жизни. Вынюхивают, вынюхивают... А если у человека вдруг, спаси Бог, что-то не заладилось... сын завалил алгебру, или машину увели, или жена ушла, или еще что, они тут как тут, лезут со своей помощью, чтоб ты чего доброго не впал в депрессию, которая может сказаться на трудовом процессе; они тебя мурыжат, мурыжат, пока не дос-

танут окончательно и ты не вывалишь им все, что у тебя на душе; а им, паразитам, того и надо: на, говорят, любуйся, какое ты дерьмо, и уж тут-то у тебя точно будет депрессия, а они и рады — они ж давно это тебе предрекали! Так они действуют, а? Так?

Энрике. Да я-то откуда знаю? Чего ты ко мне привязался?

Фернандо. Да ничего. Просто ты такой знаток этих дел...

Энрике. Похоже, у тебя был какой-то отрицательный опыт с психологами.

Фернандо. А что, у кого-нибудь был положительный?

Карлос (*к Фернандо*). Ты нервничаешь, потому что провалился по двум заданиям.

Фернандо. Не знаю, кто из нас провалился. В конце концов возьмут вот этого, а вы двое останетесь с носом.

Энрике. Меня? А разве не ты говорил, что я подсадной?

Фернандо. Слушай, я уже вообще ничего не говорю.

Окошечко снова приоткрывается.

Мерседес. О!

Энрике подходит поближе.

Энрике (*изумленно*). Вы не поверите.

Он вынимает четыре головных убора: шапочку тореро, клоунский колпак, цилиндр и шляпу епископа. Потом достает из ящика конверт и читает надпись на нем.

"Пусть каждый из вас наденет головной убор. Потом вскройте конверт".

Фернандо. Нам это надо надеть?

Энрике. Что ты на меня-то смотришь?

Фернандо. Ну, знаете...

Карлос. Но зачем?

Энрике. Все объяснения в письме, но сначала это надо надеть.

Мерседес. На свой выбор?

Энрике. Похоже, что так.

Фернандо. Сюрреализм. По-моему, это чистый сюр.

Энрике. Ладно. Пора действовать.

Энрике берет цилиндр и надевает его.
Мерседес напяливает клоунский колпак.
Карлос — шапочку тореро.

Фернандо достается шляпа епископа. Он с неудовольствием водружает ее себе на голову.
Все оторопело уставляются друг на друга.

Фернандо. Хочу вас попросить об одном одолжении. Если мы когда-нибудь встретимся при других обстоятельствах, давайте сделаем вид, что этого никогда не было.

Энрике. Читаю. (*Вскрывает конверт и читает про себя.*) Ну, это прелесть! В такое я однажды уже играл.

Фернандо. Не томи.

Энрике. "Вы единственные пассажиры загоревшегося самолета. Клоун, тореро, епископ и политик. У вас только один парашют. Каждый из вас должен постараться убедить своих спутников, что именно он заслуживает право воспользоваться парашютом и спастись". Прелесть. У меня на одном собеседовании было нечто подобное.

Карлос. Похоже на анекдот про француза, немца и испанца...

Энрике. В тот раз у нас, правда, была ведущая, а так игра почти та же. Вроде как мы летим на воздушном шаре — персонажи, конечно, немножко другие. Надо выбрать, кому выпрыгнуть, потому что шар стремительно теряет высоту, а балласта у нас не осталось. Так вот, один должен выпрыгнуть, самый бесполезный. А мы все решали, кто это. Очень было забавно. Я был пожарным.

Фернандо. Извини, что прерываю. У меня один вопрос, чисто технический. Если мы все в самолете, хотелось бы узнать, кто из нас за штурвалом. Не иначе, как клоун, вот мы и готовимся навернуться.

Мерседес (*шутка ей не понравилась*). Ха-ха!

Энрике. Нам надо решить, кто из нас заслуживает того, чтобы остаться в живых. Кто важнее для общества.

Карлос. В таком случае мое дело швах!

Фернандо. Не хочу вам кайф ломать, но вдумайтесь, так на минуточку. Мы тут соискатели на руководящую должность в одной их ведущих компаний мира. Посмотрите, пожалуйста, друг на друга.

Энрике. А в чем, собственно, дело?

Фернандо. Ни в чем. Совершенно ни в чем! Это со мной что-то не то. Продолжайте.

Карлос. Что будем делать? Каждый выскажется, а потом обсудим?

Энрике. Пожалуй. Согласны?

Мерседес. У меня предложение — вы разрешите? Среди нас есть епископ. Божий человек. Он верит в загробную жизнь, ценит милосердие и думает лишь о благе ближнего. Предлагаю ему пожертвовать собой и добровольно отказаться от парашюта. Это было бы по-христиански.

Фернандо. Ты... ты что несешь? Не дождетесь — ни за ради Бога!

Мерседес. Я пошутила.

Фернандо. Пошутила она... Ну да, ты же клоун...

Энрике. Кто первый?

Карлос. Можем бросить жребий.

Мерседес. Если хотите, начну я.

Энрике. Давай.

Мерседес. Не хочу принижать никого из вас. Политик трудится на благо народа, священник заботится о его духовности, тореро... Ну, тореро...

Карлос. Я — артист.

Мерседес. Пусть так... Неважно. Главное, я, клоун, делаю благородное и полезное дело. Я смешу людей.

Фернандо. Ну, знаешь! Политики — они тоже...

Мерседес. Представьте, когда ребенок смеется, он счастлив, и это моя заслуга. Что может быть важнее улыбки ребенка?

Фернандо. Очень трогательно.

Энрике. Согласен, согласен. Я не говорю, что это неважно. Хочу лишь заметить, что улыбка ребенка должна иметь достойное материальное обеспечение. Нужна хорошая школа, где он может учиться, хорошая больница, если он вдруг заболеет. Надо позаботиться о будущем этого ребенка. Пусть дети смеются, но для этого их следует окружить заботой общества, взять под крыло, равно как, впрочем, и их родителей...

Фернандо. Особо не увлекайся — самолет-то падает!

Энрике. Я знаю, авторитет политиков весьма невысок в наши дни. Тем не менее, без нас — без меня! — клоун утратит возможность смешить детей, тореро не сможет блистать на арене, священник... Священник тоже лишится клиентов: хлопотать о спасении души можно лишь на сытый желудок. Так что, я полагаю, именно я, политик, должен спастись в первую очередь.

Карлос. Теперь я? Так вот... я... тореро. Вы можете сказать: одним тореро больше, одним меньше – какая разница. Ан нет. Вовсе нет. Ошибаетесь! Тореро... тореро... Я каждый день играю со смертью. Вы же никогда не оказывались один на один с быком. Вы представления не имеете, что это такое. Я один это знаю. У нас, у тореро... Когда я на арене, моя мать молится, моя жена молится, мои дети молятся... За кого они молятся? За тореро. Вспомните стихи Гарсиа Лорки... В них сказано... (*Меняя тон.*) Извините, у меня крайне невыигрышный случай. Больше ничего в голову не лезет. Каков уж есть, таков и есть. Все что я могу, это вести себя максимально по-тореадорски. Словом, забирайте свой парашют, а я смерти не боюсь.

Фернандо. Оле!

Энрике. Давай, твоя очередь.

Фернандо. Ну, моя.

Он прохаживается из стороны в сторону, готовясь произнести речь.

Братья и сестры... Мы с вами собрались здесь... Я хочу сказать, что некоторое время тому назад, когда я направлялся на собеседование в надежде получить высокую должность в солидной компании – в "Декии"! – мне и в голову не могло прийти, что придется вот так стоять перед вами; трудно было ожидать, что в результате я стану епископом в горящем самолете... Однако провидение порой подкладывает такие сюрпризы, а пути Господни, они, знаете ли...

У Мерседес звонит мобильник.

Мерседес. Простите, я жду одного звонка...

Фернандо. Ничего-ничего...

Прижимая телефон к уху, Мерседес отходит в дальний угол.

Мерседес (*в трубку*). Лаура? Да, да, слушаю... Что?.. Черт...

Фернандо. Подождать, пока она закончит, да?

Мерседес (*в трубку*). Когда? И как она себя чувствует? А врач что говорит?.. Да, приеду, конечно, но я сейчас на собрании.

Мерседес говорит громче, и все поневоле слышат ее разговор.

Ты же сама сказала, не тяжелое. Черт тебя возьми, Лаура, так тяжелое или не тяжелое?.. Да нет, я понимаю, что такое тяжелое... Мы же ее сто раз уже клали. Надо же, чтоб сегодня... Не смей со мной так разговаривать. Не имеешь права. Я поступаю так, как считаю нужным. Да, как всегда... И не потерплю ничьих нотаций... Так что хватит... Да приеду я, приеду... Как только смогу. Давай, пока!

Мерседес выключает телефон и убирает его.

Карлос. Что-то случилось?

Мерседес. Нет, ничего. Вам сказали, во сколько это все закончится?

Энрике. Нет.

Мерседес. Продолжим.

Энрике. Давай дальше.

Фернандо. Я закругляюсь. Прошу внимания. Учитывая сложившуюся ситуацию, считаю необходимым перейти к сильнодействующим средствам. Сейчас я преспокойно — заметьте, преспокойно — возьму парашют, пристегну его и катапультируюсь, а если кто-нибудь из вас вздумает мне помешать, он покинет самолет раньше меня. Без парашюта, разумеется.

Энрике. Э, так не пойдет. Это же несерьезно.

Фернандо. Очень даже серьезно. Не противьтесь Святой Церкви! Она сильнее, чем кажется. Не заставляйте меня прибегать к насилию — если вы смирненько останетесь на своих местах, у вас еще будет шанс. Можете попытаться затушить пожар, а эта клоунесса пусть снова сядет за штурвал. И что бы ни случилось, не паникуйте: как профессионал гарантирую всем жизнь вечную. Вот, кажется, и все, не о чем больше говорить. Я пошел. Счастливо оставаться.

Карлос. Но ведь...

Энрике. Ты разрушаешь всю игру. Так нельзя.

Фернандо (*как бы затихающим вдали голосом*). Мне очень жаль. Меня уже нет. Я леч-у-у-у...

Энрике. Он нас надул.

Фернандо молча пожимает плечами.

Мерседес прохаживается возле потайной дверцы.

Это не по правилам... Так, знаешь ли...

Карлос. А что теперь?

Энрике. Не знаю.

Энрике подходит к Мерседес.

(*Обращаясь к ней.*) У тебя правда все в порядке? Я кое-что услышал...

Мерседес. Моя мать неважно себя чувствует. Ничего страшного.

Энрике. Если что-то серьезное, полагаю, здесь все поймут.

Мерседес. Ничего серьезного. Мы столько раз клали ее в больницу и раньше. Я им потом перезвоню.

Дверца приоткрывается.

Карлос. О! (*Вынимает из ящика конверт.*) Сверху ничего не написано. Вскрываю? (*Распечатывает конверт и пробегает глазами текст.*) Черт их дери... Это уж... Да по какому праву...

Мерседес. Что там?

Карлос. Одно дело играть во всякие дурацкие игры, а другое — лезть тебе прямо...

Фернандо. Что там? Надо спеть? Сплясать?

Карлос. Ничего. И не подумаю это читать.

Фернандо. То есть как?

Карлос. То, что здесь написано, никого не касается. Ни вас, ни этих... Откуда они, холера, узнали-то! Черт!

Энрике. Но если ты отказываешься, нам-то что делать?

Карлос. Здесь речь только обо мне и некоторых подробностях моей личной жизни — к вам это отношения не имеет. И к работе, кстати, тоже.

Фернандо. Так нельзя!

Карлос. Это ты им скажи! Нельзя так обращаться с людьми.

Фернандо. Да это же просто игра. Не хочешь продолжать, уходи. Нам это ясно сказали.

Карлос. Одно дело всякие там тесты, и другое, когда лезут в твое личное, про что никому и знать-то не надо.

Энрике. А как же я? Мою личную жизнь тоже выставили напоказ, и ничего, я терпел. А не хочешь терпеть, так и катись отсюда.

Карлос. Но, блин, у меня совсем другой случай!

Фернандо. Слушай, ты. Или ты читаешь и остаешься, или не читаешь и отваливаешь.

Карлос колеблется.

Думаю, панамки уже можно снять.

Все снимают головные уборы, кроме погруженного в раздумья Карлоса.

Мерседес. Карлос, а Карлос...

Карлос. Что?

Мерседес. Шапку.

Карлос снимает шапку.

Давай, пошевеливайся. Не можем же мы торчать здесь весь день.

Карлос. Вообще-то скрывать тут нечего. И стыдиться тоже нечего. В конце концов все равно все узна́ют. Читаю. "Карлос Буэно проходит подготовительное гормональное лечение перед операцией по смене пола. Вам следует решить, подходит ли такой человек для работы в компании. Если вы придете к заключению, что нет, Карлос Буэно будет вычеркнут из списка кандидатов". Все.

Карлос Буэно подходит к дверце, сует бумагу обратно в ящик и захлопывает его.

Мерседес. Карлос...

Карлос. Что?

Мерседес. Нет, ничего, просто то, что ты сейчас прочел, оно немного...

Карлос. Неожиданно.

Мерседес. Но этого не может...

Карлос. Может, может. Так оно и есть.

Мерседес. Ты хочешь сменить пол?

Карлос. Да.

У Мерседес вырывается смешок.

Мерседес. Извини, но...

Фернандо. Ну, знаете. Это уж...У меня слов нет. Признаюсь, со мной это нечасто, но сейчас надо честно признать: нет слов.

Карлос. Чего я не понимаю, так это как они узнали. Необъяснимо.

Мерседес. Это все мура, правда?

Карлос. Нет.

Энрике. Нет?

Карлос. Нет. Несколько месяцев назад я принял окончательное решение. И уже пару недель как принимаю гормоны.

Мерседес. Но Карлос...

Фернандо. Погодите-ка, я правильно понимаю? Через недельку у тебя титьки проклюнутся, начнешь пищать, как канарейка, а в итоге тебе отчекрыжат свистульку, так?

Карлос. Ну, не совсем так, но в общем, да. После операции я стану женщиной. Впрочем, по сути я и сейчас женщина.

Фернандо. Но офигенно это скрываешь! (*К Мерседес.*) Ты, кажется, требовала пятьдесят процентов женщин? Получи!

Карлос. Не надо шуток, ладно?

Мерседес. Карлос...

Фернандо. Да-а, жесть!.. Хреновая штука человек. (*Карлосу.*) К тебе это не относится — во всяком случае, не так прямо. Это ж надо... Теперь понятно, зачем тебе новая должность: из "Равенталя" тебя сразу попрут — не успеешь прикупить себе первые кружевные трусики. Они ж там сплошь мракобесы из Опус Деи!

Карлос. Вот я и ищу работу.

Энрике. А здесь ты ничего им сам не рассказывал?

Карлос. Зачем же?

Фернандо. Действительно, зачем? Это ведь совершенно неважно. Никак не сказывается на трудовом процессе. "Декия" берет начальником отдела по маркетингу Карлоса, а через месячишко-другой — опа! — он превращается в Карлоту. Нормально! Я им тоже не скажу, что я кришнаит, а потом, когда никто не ждет, вдруг заявлюсь на работу в оранжевой простыне и начну принимать клиентов, распевая "Харри Рама"...

Карлос. И что?

Фернандо. Да ничего. Кому какое дело! Нормально!

Энрике. Черт... Вообще-то это все немного того... Ну... Както... Не знаю даже... Это... Просто усраться можно!

Карлос. Да не собирался я ничего скрывать! Если бы меня взяли, я бы признался. Просто я не хотел, чтобы это повлияло на сам процесс отбора.

Фернандо. Ясно! Тебя взяли бы в штат, а ты им — бац! — сюрприз! И попробуй потом тебя вышвырнуть: под суд попадешь.

Карлос. Да ладно...

Фернандо. А с нынешней политкорректностью и всякими церемониями с вашим братом, ты бы на этом деле еще и ручонки нагрел.

Карлос. Ты слишком часто ходишь в кино.

Мерседес. Карлос!

Карлос. Что?

Мерседес. Я ушам своим не верю. Ты же на курсах со всеми девчонками крутил.

Карлос. Потому что не хотел принять себя таким, каков есть.

Фернандо. Я балдею. У вас, ребята, не жизнь, а сериал. Одного по Интернету обчистили, другой гормонов нажрался.

Мерседес. Карлос, ради бога. Ведь этого не может быть... Мы же с тобой тогда... помнишь?..

Карлос. Да, ну и что?

Мерседес. А то, что никаких отклонений в твоей сексуальной ориентации я тогда не заметила... И вообще... Ты знаешь, что я хочу сказать. Все было очень даже... нормально. Нет, более, чем нормально. Все было...

Карлос. Это была попытка закрыть глаза на проблему.

Фернандо. Минуточку. Извините, конечно, но я больше не могу. Не хочу быть бестактным, но... Слушай, ты, как тебя называть-то, Карлос или?..

Карлос. Можешь называть меня Карлосом.

Фернандо. Так вот, Карлос. Не мог же ты всерьез претендовать на такую ответственную должность и одновременно готовиться стать трансвеститом? Это же ни в какие ворота.

Карлос. Я не трансвестит.

Фернандо. Плевать мне, кто ты, мочалка! Теперь можно подумать, что я и есть проверяльщик из фирмы, но как поставлю себя на их место, в глазах темнеет.

Энрике. Как раз это от нас и требовалось: научиться ставить себя на место другого.

Фернандо. Спасибо, я уже! От души благодарен системе по набору персонала, которая доказала свою эффективность, заранее выявив все, что способно нанести непоправимый ущерб предприятию.

Карлос. Это кто это наносит ущерб?

Фернандо. Да ты, голубчик, ты.

Карлос. В объявлении о приеме на работу не было никаких ограничений по признаку пола.

Фернандо. А ты как хотел? Чтобы написали: "Требуется начальник отдела маркетинга. Трансвеститов просят не беспокоиться"?

Карлос. Перестань называть меня трансвеститом.

Фернандо. И как прикажешь тебя называть?

Карлос. В крайнем случае, транссексуалом, но лучше вообще без ярлыков.

Фернандо. Вот что я тебе скажу: хоть в павлина переделывайся, мне-то что. Но претендовать на высокий пост, утаивая то, что ты утаил, — просто свинство. Будь ты хоть трансвеститом, хоть транссексуалом, хоть трансатлантическим лайнером — дело твое, но занимать при этом ответственную должность!.. Если человек точно не знает, мужик он или баба, значит, у него в голове полный бардак, но тебе мало — ты это дело еще и гормонами спрыснул, и теперь те немногие шарики, что еще остались в твоей дурацкой башке, уже барабанят чечетку. Послушай доброго совета: залей в себя водички, потому что ты форменный чайник.

Карлос. Думаешь, очень остроумно, да? Я тебе скажу раз и навсегда, повторять не намерен — мне плевать, что они там обо мне подумают: будешь возбухать, я тебе глаз на задницу натяну, дерьмук вонючий!

Фернандо. Уй-юй-юй, как женственно!

Карлос. Нет, я его уделаю!

Карлос наступает на Фернандо и толкает его.

Мерседес (*встав между ними*). Вы что вытворяете?!

Карлос. Еще сунешься, собственной морды не узнаешь!

Энрике. Успокойтесь.

Фернандо. У тебя не все дома.

Карлос. У тебя дома вообще никого не останется, если не заткнешься.

Мерседес. Пожалуйста, перестаньте.

Карлос. Не все можно стерпеть.

Мерседес. Угомонись.

Карлос. Ладно, ладно. Все, все.

Энрике подходит к слегка успокоившемуся Карлосу.

Энрике. Ментольчику?

Фернандо (*Карлосу*). Чего ты ждал? Что я тебе врежу? Я с бабьем не дерусь.

Мерседес. Хватит, хватит.

Фернандо. Ладно. Попробуем разобраться. Предыдущего вы решили не увольнять — это еще как-то объяснимо: правда, Карлота? Но сейчас номер не пройдет.

Карлос. Ах так?

Фернандо. И никак иначе. Дело даже не в плановых операциях. Просто тип, который заводится с пол-оборота и чуть что распускает руки, не имеет будущего как начальник.

Карлос. Кто не имеет будущего, так это тот, кто презирает окружающих и судит о них не по их деловым качествам, а исходя из собственных предрассудков.

Фернандо. Знаешь, Карлос, ты иногда такое сказанешь... Где ты этому научился? В ассоциации геев и лесбиянок?

Мерседес. Хватит уже, а?

Фернандо. Молчу.

Энрике. Этот случай посложнее моего.

Фернандо. Хотя, честно говоря, тебе с этой твоей интернетской дамочкой и правда не мешало бы сменить пол. Молчу.

Энрике. По сути, в случае Карлоса речь идет исключительно о смене пола. Его профессионализм с этим никак не связан.

Мерседес. Что я могу сказать. Мне вообще тяжело это обсуждать.

Энрике. Но ведь придется.

Мерседес. Карлос мой друг. Я высоко ценю его, но...

Фернандо. Но...

Мерседес. Мне так трудно поверить, что...

Энрике. Что поделаешь. Задание есть задание. Надо только учесть все особенности. Я полагаю, после операции ты надолго окажешься на больничном.

Карлос. Да не очень...

Фернандо. Больничный-то не беда. Беда в том, что он закончится, и наш красавец явится на работу; секретарша увидит его в новеньком прикольном платьице, и ее хватит кондрашка. И нате вам — налицо труп. Вот это беда!

Мерседес. Ты можешь говорить серьезно?

Фернандо. Как можно говорить об этом серьезно? Не жизнь, а какое-то бульварное чтиво...

Энрике. Ты прав. Это все неудобоваримо. Он нас обманул. Точно! Я только теперь догадался! (*Карлосу.*) Твоя задача заставить нас поверить, что ты собираешься сделать эту операцию. Ты нам прочел задание выборочно, как тебе удобно, а потом сунул листок обратно в ящик, и ящик закрылся. Там было написано, что ты должен заставить нас поверить, будто ты собираешься сменить пол.

Карлос. Слушай, перестань ты все усложнять. Нет тут никакого подвоха. Я такой, как есть. Хотел помолчать еще несколько месяцев, но они как-то обо всем проведали, что ж теперь поделаешь!

Энрике. Как они могли проведать, если ты им ничего не говорил?

Карлос. Мне это самому интересно. Должно быть, побеседовали с кем-нибудь из моих друзей, и кто-то проговорился. Про это мало кто знает, но кое-кто все-таки знает.

Энрике. Нет, точно. Отличная проверочка. Просто классная. Если бы тебе удалось впарить нам эту историю, ты был бы лучшим продавцом в мире.

Карлос. Клянусь, что все правда.

Мерседес. Думаю, догадка верная. Розыгрыш! Интересно, что будет, когда придет моя очередь... Может, придется убеждать вас, что я монахиня или... инопланетянка.

Карлос (*вытаскивает портфель и шарит в нем*). Вот. Здесь все мои рецепты и телефон врача. Хотите — можете ему позвонить.

Энрике. Он мог запастись всем этим заранее.

Карлос. Зачем запасаться-то? Я же не знал, что об этом речь зайдет. Рецепт со мной, потому что он мне нужен.

Энрике. А может, тебя предупредили. Вызвали, поговорили, объяснили сам метод, снабдили неопровержимыми доказательствами.

Карлос. Слушай, мы тут в офисе на Кастельяне, а не в романе Агаты Кристи.

Фернандо. Он правду говорит. Как ни дико все это звучит, думаю, все правда.

Мерседес. Откуда ты знаешь?

Фернандо. Он прочел то, что написано. Чистая случайность, что письмо вытащил именно он — на конверте-то ничего не стояло. Любой из нас мог его распечатать. Будь это его личное задание, проставили бы его имя — как с Энрике.

Энрике. Они могли заранее все продумать.

Фернандо. Могли, но сомневаюсь. Все так нелепо, что наверняка — правда.

Энрике. Но если мы сейчас его забракуем, ему придется уйти. Ты этого хочешь?

Фернандо. Ну да. Отправим его — и сразу одним меньше.

Мерседес. Но... Не совсем так. Решают-то они, а не мы.

Фернандо. Хорошая мысль. При таком раскладе никто не скажет, что в "Декии" процветает дискриминация по каким-то там признакам. Они уволят его не сами, а нашими руками. У меня — никаких возражений.

Мерседес. А я вот не уверена... думаю, все неправда. Значит, мы его выгоняем, неведомо за что, и я вообще не понимаю...

Карлос. Не знаю, почему вы мне не верите. Смена пола в наши дни не такой редкий случай, как прежде. Научно доказано, что есть мужчины и женщины, по ошибке обитающие не в своем теле...

Фернандо. Старина, ты так старательно цитируешь какой-то учебник, что я теряюсь.

Карлос. Оставь меня в покое... У людей, страдающих тем же, чем я, наконец появилась возможность сделать выбор. Решение, смею вас уверить, дается непросто. Я годами не мог отважиться на этот шаг. Меня со всех сторон проверили. Вот уже шесть лет меня посещает психиатр — он-то и посоветовал мне сделать операцию. Работа, если хотите знать, сейчас для меня не главное. В конце концов, найду другую. Куда важнее, чтобы вы признали за мной право самому распоряжаться своей

судьбой и не считали мои поступки патологией. Взять хоть тебя, Энрике. Ведь у тебя дети, правда? Вообрази, что с одним из них творится нечто подобное. Разве ты не хотел бы, чтоб он жил в согласии с самим собой? Конечно, всегда найдутся типы, вроде вот этого, готовые поднять человека на смех, выставить его идиотом — куда от них денешься! Но ты, Мерседес, ты не такая. Я хотел бы, чтобы ты по-прежнему была моей подругой. Мне это сейчас так нужно! Ведь я останусь тем же, разве что — надеюсь! — стану чуть-чуть счастливее.

Мерседес. Не надо, Карлос.

Карлос. Не надо что?

Мерседес. Из-за тебя я чувствую себя, как... Даже сказать не могу...

Карлос. Да не думай ты, как ты выглядишь. Мы столько лет знаем друг друга. Мне так нужен близкий человек, который все понимает.

Мерседес. Не знаю, что и сказать.

Карлос. Скажи, что мы всегда будем друзьями.

Мерседес. Да не такие уж мы и друзья... то есть подруги... дру́ги... тьфу ты!.. Просто видимся время от времени.

Карлос. Помоги мне.

Мерседес. Чего ты от меня хочешь?

Карлос. Не увольняй меня. Я только тебя прошу, пожалуйста.

Мерседес. Карлос...

Карлос. Эти двое меня выкинут, это точно. Но ты-то, ты-то хоть...

Мерседес и Карлос некоторое время смотрят друг на друга.

Фернандо. Позволь спросить? Когда ты перестанешь тянуть из нее душу, ты за других возьмешься, я правильно понял?

Карлос. Нет.

Фернандо. Ты молодец! Нельзя не признать, молодец — умелец да и только.

Карлос. Не будем начинать все сначала. (*К Мерседес.*) Что скажешь?

Мерседес. Дай подумать.

Фернандо. А мне думать нечего. Я тебе так скажу: то, что ты делаешь, типичный эмоциональный шантаж. Вы знако-

мы, ты в свое время, похоже, ее бросил, а теперь метешь хвостом.

МЕРСЕДЕС. Послушай, дружок. Никакого шантажа здесь нет. Я поступлю, как сочту нужным, а если у нас с Карлосом что-то и было, тебе нечего совать свой поганый нос в наши дела.

ФЕРНАНДО. Примите мои извинения!

МЕРСЕДЕС. Карлос, я, признаться, как не верила в эту твою историю со сменой пола, так и не верю, но, если бы она вдруг оказалась правдой, а от меня зависело бы, брать тебя на работу или нет, я б тебя не взяла.

КАРЛОС. Что ж. А я-то надеялся... Впрочем, это естественно. Я все понимаю...

МЕРСЕДЕС. Мне очень жаль.

У Мерседес звонит мобильник.

Простите. (*Взглядывает на номер и нажимает кнопку.*) В чем дело?

КАРЛОС. Вас, полагаю, и просить не стоит.

ЭНРИКЕ. У нас нет выбора. Никто не отважится взять на работу такого, как ты. Слишком большой риск.

МЕРСЕДЕС (*по телефону*). Что? Как это она...

ФЕРНАНДО. А я б тебя взял, пожалуй: интересно глянуть, выйдет ли из тебя красотка. Вдруг ты женщина моей мечты!

КАРЛОС. Ты просто хамло́.

МЕРСЕДЕС (*в телефон*). Господи... Да, да, еду. До встречи. (*Нажимает кнопку.*)

ФЕРНАНДО. Похоже, твой бывший нас покидает.

МЕРСЕДЕС. Моя мать умерла.

КАРЛОС. Что?

МЕРСЕДЕС. Умерла моя мать.

ЭНРИКЕ. Господи...

КАРЛОС. Как это?

МЕРСЕДЕС. Она лежала на аппаратах. Сердечный приступ.

ЭНРИКЕ. Выражаю свое соболезнование.

КАРЛОС. Но тебе же совсем недавно звонили.

МЕРСЕДЕС. Должно быть, пока мы тут разговаривали, она впала в кому, а моя сестра об этом не знала.

КАРЛОС. Мерседес...

Мерседес. Ладно, мне пора.

Карлос. Хочешь, поедем вместе? Я же все равно ухожу.

Мерседес. Это необязательно. Машина у меня внизу... Черт! Надо было ехать, когда мне звонили.

Карлос. Не думай об этом... Ты бы все равно не успела.

Мерседес. Но я даже не попыталась. Я осталась здесь. Черт!

Карлос. Не стоит тебе сейчас садиться за руль. Давай подвезу.

Мерседес. Спасибо.

Мерседес и Карлос начинают собираться.

Фернандо. Мне очень жаль.

Мерседес. Тебе?

Фернандо. Да, мне.

Мерседес. Ты только и думаешь: "Слава богу, двумя меньше".

Фернандо. Может, я и свинья, но не до такой степени.

Энрике. Думаю, к твоему уходу здесь отнесутся с пониманием.

Фернандо. Вначале предупреждали: по каким бы причинам человек ни ушел, его сразу вычеркивают.

Карлос. Как ты можешь?..

Фернандо. Я только напомнил, что так сказали.

Энрике. Во всяком случае, не ты это решаешь.

Фернандо. Не я, но так сказали.

Мерседес. Надеюсь, они тебя возьмут. Я бы так и сделала: такие сукины дети на дороге не валяются.

Фернандо. Ну-ну! Я твою мать не убивал.

Мерседес смотрит на него с ненавистью.

В чем дело? Я правду говорю. Я тут ни при чем.

Мерседес не сводит с Фернандо глаз.
Карлос подходит к ней.

Карлос. Мерседес...

Мерседес, не двигаясь с места, продолжает смотреть на Фернандо.

Пойдем.

Мерседес. Я остаюсь.

Карлос. Что?

Мерседес. Что слышал. Я остаюсь.

Карлос. Мерседес...

Мерседес. Она умерла. Лишние полчаса ничего не изменят.

Карлос. Как у тебя на такое язык поворачивается?

Мерседес. Я должна остаться.

Карлос. Но...

Мерседес. У меня — свои причины. Это мое дело.

Карлос. Конечно, твое, но все же...

Мерседес. Мы еще не закончили.

Карлос. Боже мой!

Мерседес. Когда его вышибут, я уйду.

Карлос. Ничего не понимаю.

Мерседес. Это мое дело, ясно?

Фернандо. Сразу видно — мать ты просто обожала.

Мерседес. Говори, что хочешь. Мне плевать.

Карлос. Ужас какой-то!

Фернандо. Тебе-то точно пора, старик.

Карлос. Пойдем, Мерседес. Не валяй дурака. Не стоит.

Мерседес. Отстань.

Карлос оглядывает присутствующих.

Карлос. Вы все чокнутые. Не знаю, как я мог столько времени терпеть это надругательство. Стыдно подвергаться таким... Будь у нас хоть капля собственного достоинства, давно послали бы их к едрёной фене. Причем в один голос.

Фернандо. Иди, иди, лопай свои гормоны.

Карлос. Если вы единственные кандидаты, то провались она, эта фирма.

Фернандо. Счастливо.

Карлос. Прощайте!

Карлос открывает дверь и выходит.

Энрике. Я, конечно, не хочу вмешиваться, но...

Мерседес. Вот и не вмешивайся.

Фернандо. Железная женщина.

Мерседес. Моя мать поступила бы точно так же.

Фернандо. Ни фига себе семейка!

Мерседес. Дров я уже наломала. Раньше надо было ехать, когда мне первый раз позвонили. А теперь поздно. (*Подходит к потайному окошку и обращается к присутствующим.*) Веселей, ребята, доигрываем партию — что у нас там еще на сегодня?

Энрике. Я уже говорил, но готов повторить: в самом начале всех предупредили, что тот, кто выйдет за пределы этой комнаты, автоматически выбывает из игры. Но сейчас случай из ряда вон. Нет сомнения, что специалисты по найму персонала примут во внимание всю серьезность случившегося и, подводя итоги, не поставят в вину досрочный уход.

Фернандо и Мерседес смотрят друг на друга.

Фернандо. Я был прав. Это он.

Энрике. Нет, это не я. Я не имею никакого отношения к этой фирме, просто было бы естественно... Причина-то уважительная... Господи, да более уважительной и не сыскать.

Мерседес. Ты здесь работаешь!

Энрике. Нет.

Фернандо. Один ты не сказал, где работал раньше. И то, как ты говоришь — как ты ей только что: "Специалисты по найму персонала несомненно примут во внимание всю серьезность..."

Энрике. Просто я так думаю. Эти люди устроили нам ряд странных проверок, но не звери же они. К тому же учитывая то, что произошло, от Мерседес в данной ситуации уже нельзя ожидать адекватного поведения.

Мерседес. Но мне очень нужна эта работа. От того, что я все брошу и помчусь в больницу, моя мать не воскреснет. Вы установили для конкурсантов определенные правила, и я намерена следовать им до самого что ни на есть...

Энрике. Стоп, стоп! Никаких правил я не устанавливал. Я такой же претендент на место, как и вы.

Фернандо. Давай, вешай лапшу дальше. Отлично! Если это игра, давайте играть. Только зарубите себе на носу: я-то его сразу раскусил!

Мерседес. Долго нам ждать очередного конвертика?

Энрике. Мне-то откуда знать?

Мерседес. Думаю, сам факт, что я осталась, красноречиво показывает, насколько важно для меня получить это место. Раз уж я здесь, давайте что-то делать. Если результат зависит от каких-то бирюлек, давайте сыграем, только в темпе.

Окошко приоткрывается.

Фернандо. Гляди-ка, тебя уважили.

Мерседес. Благодарю.

Мерседес направляется к окошку. Энрике останавливает ее.

Энрике. Погоди. (*Подходит к окошку, но, вместо того чтобы достать конверт, захлопывает ящик.*) Не надо. Вы правы. Меня зовут Эстебан Рохас. Я психолог, эксперт фирмы "Декия" по найму персонала.

Фернандо. Оп-па! Я так и знал!

Энрике. Осталась еще парочка тестов, но, учитывая исключительность ситуации, забудем об этом.

Мерседес. Спасибо.

Фернандо. Я знал. Чувствовал с самого начала, заметьте себе. Играл-то ты классно; актер, что надо, прямо талант. Надеюсь, ты не обиделся на то, что я тут тебе наговорил?

Энрике. Карлос Буэно вне игры. Остались только вы двое.

Мерседес. А что теперь вы... вернее, они сделают? Какое решение примут?

Энрике. Решение будет принято на основании всего того, что вы здесь продемонстрировали.

Мерседес. Если нужна еще какая-нибудь проверка, я готова — пожалуйста.

Фернандо. Не дергайся. У тебя теперь похоронное бюро на очереди.

Мерседес. Знаешь что? Мне это даже нравится. Ты напоминаешь мне отца — он тоже был циником. Вроде тебя. (*К Энрике.*) Давайте дальше. Я готова.

Энрике. Ну, если угодно... Можем пройти последний этап. Тот, что предполагался изначально.

Мерседес. Это долго?

Энрике. От вас зависит.

Мерседес. Тогда вперед!

Фернандо. Извини, ты не расскажешь мне про весь этот...

Энрике. Позже, если пожелаете, я познакомлю вас с основными особенностями нашего метода, но сначала надо покончить с тестами. Как бы то ни было, сеньорита Дегас, я готов повторить свое предложение. Я прекрасно понимаю, что вы торопитесь. Вы — два последних оставшихся кандидата, и мы с удовольствием перенесем встречу с вами на другой день.

Фернандо. Я-то что! Пожалуйста. Это она непременно хочет продолжать.

Мерседес. Предпочитаю довести дело до конца.

Энрике. Точно?

Мерседес. Да.

Энрике. Как хотите. Последний этап состоит в следующем. Это снова игра. (*Делает знак в сторону предполагаемых камер наблюдения, и окошко приоткрывается. Он достает два конверта.*) У каждого из вас свое задание. Вам предстоит его выполнить. Кто быстрее справится, тот победит; другому придется уйти. Оставляю каждому по конверту. Внутри на карточке написано, чего именно вам следует добиться от партнера. Каждый из вас прочитывает про себя задание, убирает карточку в конверт и кладет конверт обратно на стол. Когда один из игроков добьется желаемого, он покажет другому карточку с написанным на ней заданием, и тому останется только покинуть помещение. На этом все и закончится. Есть и иной вариант. Если один из вас досрочно угадает, чего добивается конкурент, пусть скажет. Если догадка правильная, он выиграл. Ясно?

Оба кивают.

Оставляю вас одних. Сеньор Порта, ваш конверт под номером один. Мерседес, ваш — под номером два. (*Протягивает им конверты.*) Прочтите свои задания.

Оба читают.

Фернандо. Едрёнть! Это же...

Энрике. Если вы не хотите этого делать, можете отказаться.

Фернандо. Да нет, нет. Просто... Надеюсь, у нее тоже не легче.

Энрике. Ничего вам не могу сказать. Вложите карточки в конверты. Оставьте конверты на столе.

Фернандо. Минутку. Чтоб без недоразумений. Если я добьюсь, чего требуют, я выиграл. Если раньше она догадается, я проиграл.

Энрике. Совершенно верно. Кто скорее достигнет цели или разгадает намерения противника, тот остается. Другой выходит из игры.

Мерседес. А если я догадаюсь, скажу, а потом смотрим карточку, а там — не то?

Энрике. Тогда — все. Сначала надо сказать, потом заглянуть в конверт. Не угадал — вылетаешь.

Мерседес. Ясно.

Оба кладут конверты на стол.

Энрике. Удачи!

Энрике выходит.

Фернандо. Ну, с Богом...

Мерседес. С Богом.

Фернандо. У меня тут, знаешь... В общем, если у тебя все так же непросто, мы тут всю ночь просидим.

Мерседес. Я всю ночь не могу.

Фернандо. Понятное дело. (*Понизив голос.*) Честно говоря, все эти игрища такая... (*Крутит пальцем у виска.*)

Мерседес. Однако ты в них участвуешь.

Фернандо. Да за такие бабки, что тут посулили, я им, если надо, гимн Швеции на столе спляшу. Но это — одно, а то, что у тебя — совсем другое.

Мерседес. То есть?

Фернандо. Не могу понять, как это — у тебя мать того, а ты тут продолжаешь, как ни в чем не бывало.

Мерседес. Продолжаю, но не как ни в чем не бывало. А что бы ты делал на моем месте?

Фернандо. Не знаю. Со мной такого не случалось, но... Хотел бы я посмотреть, как ты объясняешь домашним, что не могла раньше приехать в больницу, потому что была страшно занята: играла в "угадай желание".

Мерседес. Я своим домашним ничего объяснять не обязана.

Фернандо. Ладно, ладно... Это не мое дело.

Мерседес. Вот именно.

Фернандо. Ну, за работу. Это, похоже, надолго.

Мерседес. Что?

Фернандо. Да игра эта. Надо добиться, чтобы другой сделал "нечто", но напрямик нельзя, надо с подходом, а то

он просечет и привет — ты обделался. В целом хитро придумано. Что-то вроде умения впарить товар.

Мерседес. Не вижу связи.

Фернандо. Да та же техника продаж! Сам я начинал со старичков. Набьешь, бывало, ими фургончик: вроде как везешь на экскурсию в какой-нибудь там замок, а задача-то впендюрить им разную фигню. Ну, ясно, вином их накачаешь от пуза, а когда насосутся, вывалишь их в какой-нибудь лавке — их оттуда хрен выпустят без покупки. Блин, вот мы ржали!.. Один раз группе из пятнадцати старперов загнали дюжину хреновин для перемотки видеоленты. Прикинь, дюжину! Руку на отсечение, что ни у кого из них и видака-то не было!

Мерседес. Ты женат?

Фернандо. Почему ты спрашиваешь?

Мерседес. Из любопытства.

Фернандо. Нет, не женат.

Мерседес. Что так?

Фернандо. Я прирожденный холостяк. А ты? Замужем?

Мерседес. Тоже нет. Но гражданский муж у меня был.

Фернандо. А, поздравляю!

Мерседес. Дети есть?

Фернандо. Насколько мне известно, нет.

Мерседес. Что значит "насколько мне известно"?

Фернандо. Ты права. Ответ идиотский. Как будто наш брат может не знать, есть у него дети или нет. Я в этом деле никогда не небрежничал, но случись, что какая-нибудь там вдруг от меня прихватила, она что ж, молчать будет? Как бы не так! Тест на беременность остыть не успеет, а уж она тебе все телефоны оборвет. Так что нет — нет у меня детей.

Мерседес. А музыку ты любишь?

Фернандо. Нет, не люблю. И пусть они там себе отметят, что я тебе позволяю брать у меня интервью исключительно потому, что мне так захотелось. Не воображай, будто ты что-то контролируешь.

Мерседес. А что ты любишь?

Фернандо. Свою работу.

Мерседес. У тебя есть друзья?

Фернандо. Само собой.

Мерседес. Откуда они?

Фернандо. Ну... откуда у всех. И оттуда, и отсюда.

Мерседес. Но это настоящие друзья?

Фернандо. Нет, куклы надувные.

Мерседес закуривает.

Мерседес. Куришь?

Фернандо. Нет.

Мерседес. Сказать, что я про все это думаю? Они никого не выберут. Ни тебя, ни меня.

Фернандо. С чего ты взяла?

Мерседес. Так, интуиция.

Фернандо. А кого возьмут? Твоего дружка с курсов?

Мерседес. По-моему, нас просто водят за нос.

Фернандо. Ну, это-то давно ясно. Психологи, они такие. Удивительно, что нам не предложили поиграть в поющие стулья или изобразить голоса животного мира...

Мерседес. У меня есть шестое чувство. Всегда было. Когда что-то не так, я слышу сигнал тревоги. А сейчас он уже некоторое время как не смолкает. Это не набор персонала. Это что-то другое.

Фернандо. Подбираешься к сути, да? Ты что, хочешь меня убедить, что это все надувательство? Тебе этого надо добиться, так? С другой стороны, уж очень ты это, в лоб... Ага, ты пока нащупываешь... Я тебе прямо скажу. На вранье я собаку съел, тут меня не проведешь.

Мерседес. Думай, что хочешь. Никакой работы, полагаю, мы не получим, но что-то все же меня здесь удерживает. Любопытство, наверное.

Фернандо. Нечеловеческое какое-то любопытство! У тебя мать умерла, а ты тут сидишь, рассусоливаешь. Ты из этих, которые болеют душой за голодающих в Африке и переводят деньги "Врачам без границ", а если у них вдруг родная мать помрет, так это им так — будто у них рис подгорел.

Мерседес. Ты, сукин ты сын, считаешь себя вправе высказывать людям все, что твоя левая нога захочет! Карлос не успел тебе врезать как следует, смотри, как бы тебе сейчас не схлопотать!

Фернандо. Да ладно, ладно, уймись. Я, честно говоря, тобой почти восхищаюсь. Твоя мать все равно умерла, тут

уж ничего не изменишь, а у тебя колоссальная возможность отхватить классную работенку, вот ты и не сдаешься. Стоит ли отступать в последний момент, чтобы приехать на двадцать минут раньше, неизвестно чего ради. Люблю людей практического склада — ты как раз такая. Ты мне нравишься. Нет, правда. Сразу видно, ты знаешь, чего хочешь. Честно говоря, мне бы так держаться, случись у меня подобное. Прямо жалко тебя обыгрывать, веришь? Может, они нас обоих возьмут? Неплохая бы вышла команда, как думаешь?

Мерседес. Ты хоть раз в жизни любил кого-нибудь?

Фернандо. Охренительные у тебя прыжки.

Мерседес. Не хочешь, не говори.

Фернандо. Нет, почему. Ты имеешь в виду женщину?

Мерседес. Да, женщину.

Фернандо. Ммм... не думаю. Но если хочешь, я тебе признаюсь: один раз я сделал одной женщине предложение.

Мерседес. И она отказала.

Фернандо. Она согласилась. Я люблю, чтоб наверняка. Думал бы, что откажет, не предлагал бы.

Мерседес. А потом ты ее бросил, так?

Фернандо. Через неделю.

Мерседес. Врешь.

Фернандо. Кто? Я?

Мерседес. Ты. Я же сказала, что у меня шестое чувство.

Фернандо. Ну, если пять других у тебя на том же уровне — сходи к врачу, проверься.

Мерседес. Почему она тебя бросила?

Фернандо. Да это я ее бросил... Ладно, оставим. Я все пытаюсь понять, куда ты клонишь со своими наскоками, но, по-моему, ты еще всерьез и не начинала. Так, палишь наугад, прощупываешь. Думаешь, я расслаблюсь, и тут ты — хлоп! — застанешь меня врасплох. Не выйдет, дорогуша! Я тут столько времени торчу, что меня голыми руками не возьмешь. Давай, продолжай, только это одна потеря времени. А со временем-то у тебя туго. Того гляди, на похороны опоздаешь.

Мерседес взглядывает на часы.

Если тебе надо позвонить...

Мерседес. Не надо.

Фернандо. Значит, сестра сама тебе позвонит, и очень скоро. Что ты ей скажешь?

Мерседес отключает телефон.

Мерседес. Она не позвонит.

Фернандо (*несколько разочарованно*). О-о-о...

Мерседес. В чем дело?

Фернандо. Даже как-то скучно...

Мерседес. Да что такое?

Фернандо. А вдруг у меня было что-нибудь пустяковое — скажем, вынудить тебя отключить телефон?

Мерседес. Не свисти.

Фернандо протягивает руку к своему конверту и вытаскивает карточку, будто намереваясь показать ее Мерседес.

Черт!

Мерседес тянется к карточке, но раньше, чем ей удается ее схватить, Фернандо сует ее назад и бросает конверт на стол.

Фернандо. Да нет, я пошутил.

Мерседес. Ну ты... Остряк.

Фернандо. Не обращай на меня внимания.

Мерседес. Знаешь, почему я осталась? Ты мне так гадок, что уж очень охота тебя вышвырнуть.

Фернандо. Твоя мать гордилась бы тобой.

Мерседес. Ты ведь сирота, правда?

Фернандо. Сирота?

Мерседес. Если бы у тебя была мать, ты бы не издевался.

Фернандо. У меня есть и мать, и отец.

Мерседес. Дай им Бог никогда не нуждаться в твоей особе.

Фернандо. Все, в чем они нуждаются, они имеют. И ты этого не тронь! Как бы я тут ни выглядел, родители для меня — святое. И думать нечего, чтоб я с ними обходился, как ты. Я уж не говорю о нынешней твоей ситуации, это вообще криминал. Я говорю обо всей нашей жизни. Я их никогда не подводил. Родители сделали для меня столько, что как бы я ни старался возвратить им хоть сотую долю, я всегда буду у них в долгу. Ты умудрилась задеть меня за живое... ты... Знаешь, почему у меня нет детей? Потому, что мне всегда казалось, что я не сумею любить их так, как в детстве любили меня. Мой отец... Ты-то маменькина дочка, оно и видать... А я вот — нет, я

уличный мальчишка. Мой отец работал путевым обходчиком. Пахал на железной дороге всю свою клятую жизнь. Вкалывал круглые сутки и больше, если это возможно. Бывало, он и дома-то не ночевал, но когда приходил, то всегда с гостинцем. Пустячок. Пусть даже карамелька какая-нибудь. Но ни разу, понимаешь — ни разу! — не явился он с пустыми руками. Неважно, каков подарок. Главное — он ни на миг не забывал обо мне. Случалось, его целую неделю не было, тогда мать, накануне его возвращения, покупала бобы, прямо в стручках, и мы с ней в четыре руки их чистили, а потом она делала его любимое блюдо — бобы с чорисо. Тебе, небось, невдомек, о чем это я? В твоем-то доме, чай, бобов не ели. А мы — ели, и для меня лущить бобы вместе с матерью — был настоящий праздник. Даже сейчас мы иногда готовим ему бобы — это всегда сюрприз. И даже сейчас, когда мне стукнуло сорок, отец, бывает, возьмет меня за локоть и скажет: "Надеюсь, ты помогал маме чистить бобы?", а потом слегка щелкнет меня по лбу, будто я пятилетний. Тебе этого не понять, а я иной раз в глазах у него читаю, как он мной гордится. И мать — тоже. Но ты же ни фига не смыслишь, о чем это я. Ты отключаешь мобильник. Ты забиралась к родителям в постель, когда ночью боялась темноты? Думаешь, твоей матери сегодня не было страшно? Знаешь, что для меня самое главное? Знаешь, для чего я работаю, для чего стремлюсь сделать карьеру? Я хочу, чтобы родители гордились мной так же, как в детстве, когда я делал что-нибудь хорошее. Вот почему я не сдаюсь, черт меня подери. Вот почему я готов на все — митру там напялить или еще что, если понадобится. Хочу, чтоб родители видели, чего я достиг. А ты говоришь, я циник. Думаешь, ты тут всем нос утерла, всем показала, как ты рвешься к этой самой должности? А показала ты только одно — что ты немногого стоишь. Где уж тебе потягаться с другими в настоящей жизни, такой, как она есть — кишка тонка. Послушай меня внимательно, может, наконец, чего и усвоишь. Пробьет час, моя балованная куколка, когда у тебя зад отвиснет и титьки будут болтаться, как носки на веревке. А от всей твоей блестящей карьеры только и останется, что мизерная пенсия. Пробьет час, когда все хорошее навсегда окажется в прошлом. Этот час уже пробил для моих стариков, но у них есть я, у них всегда, до последнего вздоха, буду я, и я сделаю все, чтобы они знали: их жизнь не прошла впустую. А что останется у тебя? Да ничего. В один прекрасный день ты оглянешься назад и увидишь лишь кучу дерьма.

Фернандо пристально смотрит на Мерседес.

МЕРСЕДЕС. О Господи...

Мерседес плачет.

ФЕРНАНДО. Ты что?

Мерседес достает бумажный платочек и сморкается.

ФЕРНАНДО. Прости, это оказалось легче, чем я думал.

Фернандо берет конверт, достает оттуда карточку и кладет ее перед Мерседес.

ФЕРНАНДО: Я должен был довести тебя до слез.

Мерседес читает, что написано на карточке.

МЕРСЕДЕС. Сукин сын!

ФЕРНАНДО. Но ведь все так, правда?

Мерседес складывает вещи.

Кстати, моя мать умерла, а с отцом вот уже пятнадцать лет мы не разговариваем.

Мерседес бросает на него последний взгляд и выходит. Фернандо остается один. Он не знает, что делать.

Ну, вот собственно и все, да?.. А теперь что? Выйти? Или, может, остаться и подождать?.. Я следую правилам игры: сказали, кто вышел, тот выбывает. Раз так, значит, подождем.

Фернандо раскрывает газету и погружается в чтение.

Ничего, если я дочитаю газету?

Через несколько минут он решительно закрывает газету и встает.

Не ночевать же здесь, однако. Эй, меня кто-нибудь слышит?

Фернандо подходит к потайному ящику и стучит в него, как в дверь.

Эй, есть кто живой?.. Слушайте, я выгляну на минутку, только посмотреть, есть ли там кто.

Фернандо направляется к двустворчатой двери. Он силится открыть ее, но дверь не поддается.

Какого дьявола... Эй, послушайте, она не открывается. Нельзя ли без шуток, а?

Фернандо бросается к боковой двери и пытается ее открыть, но тоже безрезультатно.

Это еще что? Опять какие-то игры? Вам все мало? Чего вы теперь-то от меня хотите? Чтоб я выбил ее ногой что ли?

Фернандо идет к окну и пытается распахнуть его, но и это ему не удается.

Если вы ждете, когда у меня лопнет терпение, то вы у цели! Я выполнил все, что от меня требовалось. Это уж чуточку перебор... вы перегнули палку, ребята.

Фернандо достает мобильник и набирает номер.

Алло, "Декия"?.. Вы не могли бы соединить меня с отделом по найму?.. Никого нет? Что значит "никого нет"? Я в офисе по отбору кандидатов. Ну да, здесь, в здании. Я был на собеседовании... Ладно, какое собеседование, давайте не будем... неважно. Должен же кто-то быть. Попробуйте еще раз. Да нет же, нет, не ушли, не могли они уйти. Я здесь больше часа, со мной было еще трое... Да нет, вы не поняли, еще, по крайней мере, четверо не ушли, потому что я тоже здесь, а я не ушел, потому что дверь не открывается... Тут был некий Эстебан Рохас, психолог из отдела кадров... Как это не знаете никого с таким именем, я же... Нет, я же вам говорю, четыре человека точно не сдавали пропуск... Как я мог сдать пропуск, если я до сих пор тут? Не могли бы вы подняться и выпустить меня, я в приемной на одиннадцатом этаже... Как это на одиннадцатом нет никакой приемной? Мне это все уже во где!.. Да нет же, никто вас не разыгрывает... Никакой я не Мариано! Я же сказал, я не муж вашей сестры! Слушайте, черт вас возьми, поднимитесь, пожалуйста, и отоприте мне дверь... Сам туда иди!..

На другом конце повесили трубку.

Да, шутники! Остряки-самоучки.

Фернандо вновь пытается открыть дверь.

Чего им надо-то? Еще увидим кто кого. Не откроете через пять минут, звоню пожарным. (*Садится.*) А кстати...

Фернандо берет конверт Мерседес, открывает его и достает карточку. На ней пусто...
Боковая дверь открывается. Входит Мерседес с папкой подмышкой.

Мерседес. Сеньор Порта... Примите мои извинения. Меня зовут Ньевес Кальдерон, я штатный психолог отдела кадров.

Фернандо. Что?

МЕРСЕДЕС. Собеседование окончено. Позвольте представить вам моих коллег.

Широко и приветливо улыбаясь, тоже с папками подмышкой, входят КАРЛОС и ЭНРИКЕ.

Мигель Гарсиа. Эстебан Рохас.

КАРЛОС. Очень приятно.

ЭНРИКЕ. Мое почтение.

Оба в полной тишине пожимают Фернандо руку. Тот не знает, что сказать.

МЕРСЕДЕС. Они тоже работают у нас психологами. Я понимаю, вы удивлены. Должна признать, метод у нас не совсем обычный.

ФЕРНАНДО. Но... Это круто... Да, здорово... Был момент, когда я почти догадался, но потом... Потом я засомневался... Продлись это еще немного, я бы вас поймал.

МЕРСЕДЕС. Мы недавно применяем этот метод. Его разработал шведский психолог Исайя Гронхольм, глава нашего центрального офиса в Стокгольме. Основная задача — оценить реакцию претендента на различные эмоциональные раздражители. В первую очередь принимается во внимание так называемая творческая составляющая.

ФЕРНАНДО. Черт бы его побрал, этого Гронхольма...

МЕРСЕДЕС. То, что вы не догадались, кто мы, не имеет решающего значения. Акценты делались не на это.

ФЕРНАНДО. Но... я не совсем понимаю... Вот ты.. вы... вы сказали, что работали в "Равентале", и вы ведь действительно знали там кое-кого.

КАРЛОС. Я работал в "Равентале", и у меня там остались друзья.

ФЕРНАНДО. А-а... Ну а со сменой пола — вообще блеск. Я, кстати, вам не поверил, помните?

КАРЛОС. Спасибо.

ФЕРНАНДО. А про умершую мамашу... Так что в итоге — меня берут или нет?

МЕРСЕДЕС. Имеются другие кандидаты.

ФЕРНАНДО. А-а, ну да...

МЕРСЕДЕС. Но... Как бы там ни было, уже сейчас можно признаться... вы произвели на нас сильное впечатление.

ФЕРНАНДО. Я просто делал то, что мне представлялось наиболее подходящим в каждом конкретном случае.

Мерседес. Нет, нет, не скромничайте, вы были... ослепительны. В двухнедельный срок мы свяжемся с вами и сообщим об окончательном решении.

Фернандо. Мы закончили?

Мерседес. Мы закончили. Надеюсь, что вы не испытали особых неудобств.

Фернандо. Ну что вы... Разумеется, нет.

Энрике. Как вы догадываетесь, все это сугубо конфиденциально. Все выводы, которые мы сделаем, останутся исключительно между нами.

Фернандо. Значит, я могу идти?

Мерседес. Да.

Фернандо. Тогда... до свидания.

Мерседес. До свидания. И большое спасибо.

Фернандо пожимает руку каждому по очереди и направляется к двери.

Фернандо. Очень хорошо... да... это все... просто отлично.

Фернандо уходит.

Мерседес. А теперь — ваши впечатления.

Энрике. Я бы не сбрасывал его со счетов.

Карлос. Он ни разу не продемонстрировал ни малейшей эмпатии, но в общем-то, это не беда.

Энрике. По сравнению с остальными, он не так уж и плох. Его надо иметь в виду.

Мерседес. Умоляю вас... Вы серьезно? Это же полное ничтожество.

Энрике. По-моему, не такое уж он и ничтожество. Надо было бы оставить его тут одного подольше. Инструкция придает этому испытанию большое значение... Он продержался куда дольше других. У него есть сила воли.

Мерседес. Из чего ты это заключаешь?

Карлос. Однако не стоит преувеличивать. Его трудно сломить, но я бы не сказал, что он совсем уж несгибаемый.

Энрике. Ну, руку на отсечение не дам, но в целом, полагаю, он выдержал бой.

Мерседес. Эстебан, ты меня удивляешь.

Энрике. Почему?

Мерседес. Потому что этот тип — явное не то: и рядом не стоял.

Энрике. Мы ищем сильного, уверенного в себе человека, который способен за себя постоять, которого нелегко сломить, вывести из себя... Этот именно такой.

Мерседес. Сильный? Ты считаешь, он сильный?

Энрике. Да.

Мерседес. А ты?

Карлос. Ну... не сказал бы, что это образец сильного человека... но и слабаком его не назовешь.

Мерседес. Ради бога... Ушам своим не верю. Если несмотря на всё то, что мы тут наблюдали, вы еще колеблетесь, я вообще не знаю, куда эти проверки годятся... Так у вас есть сомнения? Прекрасно. Не буду с вами спорить. Мы можем... Сейчас поглядим, какой он сильный.

Мерседес подходит к боковой двери, открывает ее и обращается к кому-то.

Луис? Свяжитесь с проходной: пусть попросят сеньора Порта вернуться назад.

Энрике. Что ты задумала?

Мерседес. Так вам будет спокойнее. Сейчас увидим, уверен ли он в себе и есть ли у него сила воли. Когда он поднимется, выльем ему на голову ведро помоев, все до последней капли. Если не сломается, я соглашусь с вами и, так и быть, еще подумаю.

Энрике. Ты что же, скажешь ему... правду?

Мерседес. Давайте попробуем. Если он выстоит, честное слово, я прикушу язык. Даже больше: если, выслушав все, он найдет в себе силы остаться и смело смотреть нам в глаза, я признаю свою ошибку и сама за него проголосую. Вот что я предлагаю.

Энрике. Что ж, это смело.

Мерседес. Конечно. Но навалимся на него дружно. Все скопом. Чтоб никаких поблажек. Наверняка, когда все кончится, он сам встанет и уйдет. Хотя и не заплачет, полагаю.

Энрике. Но что ты собираешься ему сказать?

Мерседес. Все. От "а" до "я".

Энрике. Но...

В дверь стучат. Все трое переглядываются.

Мерседес. Войдите.

Фернандо входит.

Фернандо. Мне передали, чтобы я вернулся...

Мерседес. Да, садитесь, пожалуйста.

Фернандо садится.

Мы тут посоветовались и решили, что нет смысла ждать две недели. Все и так ясно.

Фернандо. Вот как?

Мерседес. Да, вы не годитесь для этой работы. Мы в этом уверены. Что скажешь, Мигель?

Карлос. Я полностью согласен. По-моему, тут и думать нечего.

Мерседес. Эстебан?

Энрике. Да, да, взять его было бы непростительной ошибкой.

Мерседес. Мне очень жаль. Полагаю, уж лучше вам узнать об этом сразу и не засорять мозги напрасными надеждами.

Карлос. В мозгах и так мусора хватает.

Фернандо. Но...

Мерседес. Вам нужны объяснения? Что ж, извольте. Все испытания, которым вы подверглись, были разработаны с учетом вашего личного опыта. (*Мерседес заглядывает в папку.*) Мы знаем, что целый год после смерти вашей матери вы не работали. В связи с депрессией вы сидели на больничном...

Фернандо. Десять месяцев.

Мерседес. Все верно, не так ли?

Фернандо. Да, но...

Мерседес. Вы ведь все еще на лекарствах?

Фернандо. Уже нет.

Мерседес. Ваша болезнь обошлась фирме в шестьдесят пять тысяч евро.

Энрике. Нам известно, что вы были женаты, и жена подала на развод. Процесс уже практически завершен. Все так, мы не ошиблись?

Фернандо. Все так, но суд...

Карлос. Вы нам все время лгали.

Энрике. Вы сказали, что делали все, что считали необходимым, для того чтобы преодолеть все этапы — мы ценим вашу искренность, но...

Фернандо. Послушайте, послушайте... Моя жена...

Карлос. Хватит вранья. Нам удалось поговорить с вашей бывшей женой.

Фернандо. Что?

Энрике. Я думаю, вы догадываетесь, что она нам рассказала.

Фернандо. Не знаю, что она могла рассказать, но...

Мерседес. В игре со шляпами у вас не было выбора. Мы нарочно оставили вам шляпу епископа. Нам известно, что в возрасте двенадцати лет вы поступили в семинарию, и там кое-что произошло.

Фернандо. Ведь я же из Бургоса, у нас это обычное дело...

Мерседес. И, наконец, для нас не тайна, что ваш брат — гомосексуалист, и поэтому вы с ним не общаетесь.

Фернандо. С ним вы тоже поговорили?

Мерседес. Само собой.

Фернандо. С братом я не общаюсь не потому, что он гомосексуалист, а потому что, когда умерла наша мать, он...

Мерседес. Оставим это. Ни в одной из предложенных ситуаций вы не проявили ни малейшей эмпатии...

Фернандо. Эмпа... чего?

Мерседес. Сочувствия. Можно было бы предположить, что вы не хотели поддаваться личным эмоциям, но... Как же вы хорохорились! Иногда мы еле удерживались от смеха. И что за тон... На вас было жалко смотреть.

Фернандо. Как вы обо всем этом узнали?

Мерседес. Однако мы не берем вас на работу совсем не поэтому. Знаете, что такое *эффект бумеранга*?

Фернандо. Вообще-то... честно говоря... нет.

Мерседес. Агрессивность порой оборачивается против самого человека. Как в вашем случае. Знаете почему? Да потому что она у вас напускная. Не настоящая. Деланая. Эдакая симуляция. Как поведет себя такой человек, как вы, если на работе вдруг вспыхнет конфликт?

Энрике. Он усугубит положение.

Мерседес. Ну, вот мы и поставили все точки над "и". А теперь — по домам. В кои-то веки вернусь домой раньше, чем дети уснут; не желаю больше тратить время на разговоры с этим лицемером.

Фернандо. Послушайте...

Мерседес. Что?

Фернандо. Я... нет, ничего.

Мерседес. И как только вы могли вообразить, что сумеете провести нас? Вы законченный неудачник, и в работе, и

в личной жизни, и скажу вам без обиняков: боюсь, это непоправимо.

Фернандо переводит взгляд с одного на другого, не произнося ни слова.

Мы не нуждаемся в хорошем человеке, который выдает себя за сукиного сына; нам нужен сукин сын, похожий на хорошего человека.

Энрике. Давайте подведем итог. Вы сели в глубокую лужу. И не раз, не так ли?

Мерседес. Радуйтесь, что все это, так уж и быть, не выйдет за стены этой комнаты. (*Взглядывает на часы.*) У-у, как поздно! Все, конец. Всем спасибо.

Психологи складывают бумаги. Фернандо продолжает сидеть неподвижно.

Во сколько у нас завтра?

Энрике. Вечером. В пять. Кажется, я изображаю умственно отсталого сына?..

Мерседес. Нет, с завтрашним у нас по программе эпилептический припадок, а ты — в роли игромана.

Энрике. Ах, ну да, верно, он же у нас... Точно, точно.

Мерседес поворачивается к Фернандо.

Мерседес. Слышите, мы закончили. Или у вас есть что нам сказать?

Фернандо несколько мгновений смотрит на присутствующих, потом отрицательно качает головой.

(*К Энрике.*) Вот видишь?

Энрике. Да. Ты была права.

Мерседес. Что-нибудь еще?

Энрике. Как обычно.

Мерседес. В сущности, все и так ясно, это уж просто для очистки совести. Ну, пора по домам.

Карлос подходит к Фернандо.

Карлос. Всего хорошего.

Они пожимают друг другу руки.
Энрике вынимает коробочку с леденцами. Он обращается к Фернандо.

Энрике. Ментольчику?

Энрике, сдерживая смех, выходит вместе с Карлосом. Мерседес также протягивает руку Фернандо.

МЕРСЕДЕС. Прощайте.

Пожав руку Фернандо, она направляется к двери, за которой скрылись Карлос и Энрике, но, вместо того чтобы выйти, останавливается и ждет. Фернандо продолжает сидеть. Он достает мобильник и набирает номер.

ФЕРНАНДО (*в телефон*). Привет, старик... Да, да, я закончил. Слушай, я все-таки приду на ужин... Нет, нет, что ты, наоборот, мне дали место. Хотели даже, чтобы я немедленно подписал контракт, но в последний момент меня осенило, и я послал их к чертям собачьим... Сучье племя, знаешь. Шпана, честное слово. Такие проверки учинили... Расскажу — не поверишь... Каталонцы еще с тобой?.. Да, да, сию минуту еду. Нет, не надо, не посылай их в задницу. Ждите меня, ладно?

Фернандо отключает телефон. Мерседес по-прежнему смотрит на него. Фернандо задумывается. Мерседес подходит к нему.

МЕРСЕДЕС. Вы знаете, как отсюда выйти, правда?

ФЕРНАНДО. Да, да.

МЕРСЕДЕС гасит свет и выходит. Теперь приемная освещена только скудным вечерним светом, который в этот час все еще сочится в окно. Фернандо продолжает сидеть, обхватив голову руками.

Темнеет.

Внимание: предупреждаем как профессионалов, так и любителей, что эта пьеса является предметом авторского права. Этот копирайт находится под защитой Бернской конвенции, под которой поставила свою подпись и Российская Федерация. Все права — в том числе профессиональные, любительские, права на кинопоказ, декламацию, публичное чтение, радиотрансляцию, телевизионный показ, видео- и звукозапись, на все прочие виды механического или электронного воспроизведения, а также права на перевод на другие языки, — строго защищены.

Все вопросы относительно приобретения прав должны быть направлены по электронному адресу: rights@gurmanagency.com

или же по почтовому адресу: The Susan Gurman Agency, LLC, 245 West 99th Street, New York, NY 10025–5491, USA

Копирование этой пьесы как полностью, так и частями строго запрещено по закону.

Михаэль Донхаузер

Стихи из книги "Лучшие песни"

Перевод с немецкого и вступление Анны Глазовой

Стихи в предложениях

Михаэль Донхаузер родился в 1956 году и вырос в Лихтенштейне, а сейчас живет в Швейцарии. Его первая книга стихов была напечатана в 1986 году, и с тех пор он получил несколько престижных поэтических премий, в том числе — премию Георга Тракля в 2009 году. Он пишет стихи и прозу, но граница между ними часто размыта: так, сборник "О снеге" (2003), хоть и назван прозой, по форме скорее похож на те ранние тексты, которые Донхаузер обозначал как стихи в прозе.

Кроме собственно стихов и прозы, Донхаузер пишет и тексты, в которых размышляет об искусстве вообще и о том, как пишет он сам и какие видит пути для новых текстов. Хотя Донхаузер по образованию филолог (германист и романист), его тексты о поэзии нельзя назвать чисто аналитическими разборами или теоретическими формулами, призванными облегчать понимание. В книге "Близко к уклону" (2009) Донхаузер собрал эссе о своем опыте читателя и зрителя. Этот опыт сам Донхаузер называет основой своей поэтики. Собранные в книге разрозненные эссе о стихах, картинах и фильмах вызывают у читателя ощущение, будто в каждом законченном произведении автор пытается уловить три перетекающих друг в друга момента движения. Движение начинается с жеста, ведущего от на-

© Urs Engeler, Basel und Weil am Rhein, 2007
© Анна Глазова. Перевод, вступление, 2011

чального импульса к его продолжению. За ним следует попытка удержать этот импульс, но и неизбежный переход от взлета к падению. Эти две стадии движения, взлет и падение, в конце концов оказываются связанными затуханием движения. Стремясь в каждой фразе охватить совокупность этих трех составляющих, Донхаузер следует собственной, характерной для него логике, которая противостоит и ритмичности, и повторам, традиционно свойственным поэзии, и поступательности рассказа, привычной традиционному логическому мышлению. Поставив перед собой задачу — передать в каждой фразе три части одного движения, — Донхаузер вынужден переформулировать и саму структуру стиха. Уходя от привычного деления на строки, он использует форму, которую сам называет "Satzperioden" ("циклы предложений"). Особенность этой формы в том, что поэт говорит не фразами (музыкальными, ритмическими), а предложениями, то есть прозаическими единицами.

Задача Донхаузера не похожа ни на одну другую, которую ставят перед собой современные немецкоязычные поэты. Автор ищет не новый поэтический голос, а новую форму речи, которая изменит само представление о лиричности. Сила этого рискованного языка в том, что автор, не прячась за манифесты и призывы к обновлению, решает свою задачу в каждой законченной фразе. По публикуемым фрагментам из книги "Лучшие песни" можно составить некоторое представление о логике построения фраз у Донхаузера, когда он пытается найти, что же лежит в основе нашей способности отличать лирику от других способов говорения. "Песни" поэтов давно отделились от обязательного музыкального сопровождения, когда-то нераздельно с ними связанного, но мы все еще чувствуем их лиричность, даже читая их молча и не слыша голоса поэта. Как поэзия когда-то рассталась с лирой, оставшись лирической, так Донхаузер хочет не столько изменить форму стихов, сколько сохранить лиричность, расставшись с лирической формой.

Существование стихов в прозе доказывает, что наше восприятие лиричности не связано напрямую с определенной стихотворной формой, будь это рифма и ритм или "геометрия" свободного стиха на листе. Для того чтобы воспринять текст как поэтический, нам достаточно услышать в нем интонацию, "непрозаическую" интонацию. Прозаический текст можно пересказать, переформулировать другими словами. В стихах же, наоборот, слова составляют нераздельное целое, и прозаический пересказ не способен передать их суть. Стихи в прозе, неотличимые от прозы формально, тем не менее не перестают быть поэзией именно потому, что, пересказав их, нельзя уловить их действительного содержания. Сама по себе форма текста еще не означает, что он будет прочитан как поэтический. Поэт не может на это рассчитывать. Начав со стихов в прозе, Донхаузер пришел к стихам-предложениям, в которых подчиняет прозу поэтической программе. В таких предложениях уже нельзя заменить слова синонимами или похожими формулировками, не нарушая содержания, как это обычно бывает в прозе, да и сама форма предложения, его синтаксис и пунктуация становятся материалом поэта. Каждое предложение является новой поэтической формой, то есть сам синтаксис и ритм каждого предложения можно

уподобить "размеру" стихотворения, такому, как ямб или хорей, но существующему только в этом конкретном тексте. В стихах Донхаузера главный смысл несет пластика, выраженная в синтаксисе, а не слова, которые служат скорее материалом для этой пластики.

В "Лучших песнях" каждое предложение индивидуально, как отдельная скульптура или стихотворение. На каждой странице помещается только один текст, как мы привыкли видеть в поэтических сборниках. Называя свои предложения песнями, Донхаузер не иронизирует над лирической формой, а, напротив, ясно определяет свою эстетическую программу. У нас не вызывает удивления или смеха, что не предназначенное для пения стихотворение может называться "песней"; и, называя предложения песнями, Донхаузер только подчеркивает, что музыкальность и лиричность стиха не исчезли, а обрели новую стихотворную форму. Образ и метафора отступают на второй план, а на первый выходит комбинирование слов, их смыслов и фонетики, причем это комбинирование подчиняется заранее продуманной синтаксической структуре. Своеобразие таких соединений и определяет оригинальность текстов Донхаузера. Его стихи-предложения невозможно спутать ни с какими иными стихами, потому что их суть заключается не столько в звуках и образах, сколько в знаках препинания, союзах, соотношениях частей предложения. Словарем же, образами и сюжетами эти тексты намеренно бедны. Нет смысла искать в них психологической глубины или философской рефлексии. По содержанию и выбору слов они легки, но точны, как слова в песне, не требующей обдумывания. Их темой чаще всего становится описание погоды и природы, создающее настроение печали или спокойствия, но при всей своей лаконичности и простоте они так же выверены, как линии ландшафтов на японских гравюрах.

Главная опасность для поэта, использующего такую поэтическую форму — нарушить границу, четко отделяющую поэзию от прозы на уровне связей между частями речи. Стоит этим связям оказаться подчиненными описательной или повествовательной цели, стихи превратятся в отточенную прозу с банальным содержанием. Тонкость и неповторимость стиля Донхаузера опирается на его умение фокусировать внимание именно на синтаксических связях. Указывая на то, что каждое его предложение выражает движение от подъема к продолжению движения и потом затуханию, Донхаузер раскрывает секрет, как ему удается быть независимым от повествовательности, присущей прозе. Повествовательный смысл каждого его предложения предельно прост: у всего есть начало, длительность и конец, но сущность каждого предложения — его синтаксис, движение от заглавной литеры к точке.

Беглый ложится свет полуденного солнца на клумбы и грядки, где кружатся осы возле плодов, поздний цвет, и как кротко ложатся тени, рассыпаются, долго лежат на газонах.

Еще сияют березы у подножия насыпи под железной дорогой, значит, мы увидимся снова, как увидели двое влюблен-

ных друг друга под вечер, когда уж темнело и в рассеянном свете серебрилась роса.

Есть и есть песня, была и есть, и пала, была и отступила, и поднялась, и отдала, взяла, осталась одинока, песня, и пала, и взошла, и ночью встала, ночь обняла ее, она меня любила, а я все выпустил из рук.

Мерзнет, и застывает, и распыляется то, что осталось, и утихает, и ветер, мы ли там, под деревьями, идем вдаль, где иначе, где уж долго ждут радость, объятья.

Как далеки огни по ту сторону рельсов, как тихо блестят в тени, где темное плетенье ветвей делит и заметает нашу близость, как след, как ты, побывавшая здесь, как я, нашедший себя, ни с чем нет больше единства.

Уже потемнела листва, и гниль замерзает, яснеет небо, но дорога по берегу озера, она ждет, когда мы пойдем по ней, такие зрячие, такие плывущие, словно снова идем навстречу смерти, которая слаще.

Опускался вечер, и в приближении, словно потеряны, словно объявлены мертвыми, нивы лежали и залы, и темное, в меркнущем свете, покоилось поле под паром, залито неоном, среди гравия лужи сверкали.

Выпал снег, все бледно белизной, и обнищало, остановилось и пустынно, и только иногда качнется лист или падет, кружась, паря, и, как ворона, пролетит сквозь вечер, сквозь ветки в провалы чьей-то жизни.

Уехать в даль, когда она, укрыта дымкой, уже темнеет, чтобы еще раз вспыхнуло прощание, будто его не отменить, как новую встречу и как отсвет огней, в котором распростерто все, и пока нет исцеления.

Низко стоит, тянет, и солнце и лучи как руки, будто несут лучи далеко, будто давно не вспоминал о тебе, не видел, не знал, как текут от нас дни, последние, теперь.

И пела ночь, и пела песню, а песня отдавала, и брала, и падала, и поднималась в ночь, но ночь была одна, кругом спала, и песня уставала и устала, пела и плыла, была бедна и будто влюблена.

Еще какой-то осени листва, потом и почки на сирени уже качаются немного, и холодало, дни теплели, и укрывалось солнце так, что тени блекли на траве, сдвигаясь под своим же весом.

Роса, ее немного, гладит отсветом и мягким блеском, и время близко, словно запах, и запахом полна долина, светом, и спит земля, и тень кладет за стеблем стебель, и с каждым взглядом глаз распахнут вдаль, и все синеет.

Словно отпрянул вопрос и потом улыбаясь кивнул, и *хорошо* сказал, и опустился, и указал, где плод был укрыт и покоился, и сказал *ты*, и запнулся, вздохнув, потому что краснея, потому что как шепот дыхание тихо прервалось.

Марко Лодоли

Рассказы

Переводы с итальянского и вступление Ирины Боченковой, Натальи Симоновой

Марко Лодоли — журналист, писатель, школьный преподаватель литературы. Что в этом ряду является первоочередным, вопрос непростой. В интервью журналисту Симоне Гамбакорта в 2007 году Лодоли признался, что работа в школе, журналистика, а также роль отца семейства (у Марко Лодоли трое детей) практически не оставляют ему времени для написания книг и что, возможно, это к лучшему, поскольку он никогда не ставил перед собой задачи пополнить мировую библиотеку очередным томом, а просто лет с двадцати пытается таким образом найти свой путь. Утром Марко Лодоли преподает, вечером пишет — урывками, по четверть часа. Однако его книги выходят с завидной регулярностью и пользуются успехом у читателей.

Итальянская критика заостряет внимание на поэтизме Лодоли, упрекая его в злоупотреблении метафорами. И это не случайно: Лодоли начал свой путь в литературе как поэт. Первый сборник его стихов "Простодушный человек" вышел в 1978 году. В 1986 году тридцатилетний писатель создает свое первое прозаическое произведение — "Дневник пролетающего тысячелетия". Этот роман получил национальную премию "Монделло" в категории "Литературный дебют". Затем следует "Закусочная 'Будапешт'" (1987) — роман, написанный совместно с Сильвией Бре, по которому Тинто Брасс снял одноименный фильм.

© Einaudi, 2003
© Ирина Боченкова. Перевод, 2011
© Наталья Симонова. Перевод, 2011
© Ирина Боченкова, Наталья Симонова. Вступление, 2011

В 1996 году выходит роман "Ветер". Абсурдная история, современная сказка, вписанная в условия реального мира. Все начинается предельно серьезно: ночной Рим, погоня, но вдруг мы узнаем, что герой истории — марсианин... "Ветер" награжден литературными премиями "Гринцане Кавур" и "Пенне". Переведенный на русский язык Е. Б. Дмитриевой, он, к сожалению, доступен лишь избранному кругу читателей, поскольку был выпущен ограниченным тиражом для участников общественного жюри IV международной премии "Москва—Пенне", вручение которой состоялось в мае 2000 года в Центральном доме литераторов в Москве.

Отвечая на вопросы в классическом лицее "Тито Ливио" в городе Падуе в 2006 году, Марко Лодоли сказал: "Писатель, монах, наркоман, алкоголик, душевнобольной не выносят реальности. Каждый из них пытается создать собственный мир, однако ноги у них крепко застряли в наших камнях". Иллюзия той действительности, которую создаем мы сами и в которой пытаемся удержаться, — главная тема и сборника рассказов "Пузыри" (2006), откуда взята большая часть публикуемых рассказов. Короткие истории на грани между вымыслом и реальностью. Мечты, надежды, фантазии героев этих рассказов оказываются в итоге "мыльными пузырями". Лодоли умеет говорить не звучным голосом, но тихим, наполненным жалостью к боли и невзгодам нашей жизни, жизни больших городов. Жестокость бритоголовых подростков, страдание больных детей, неудавшиеся судьбы бывших учеников, разочарование старых расклейщиков афиш — эти истории, случившиеся в Риме, не ограничиваются пространством Вечного города, они вечны сами по себе.

"Острова", "Пузыри", "Ветер", "Цветы", "Сестра", "Ночь" — часто Лодоли выбирает для названия книги всего одно слово. В этом слове остается пространство для игры воображения; у читателя, еще не знакомого с произведением, уже рождается определенный образ, наполнение которого всегда индивидуально.

Лодоли удается избегать морализаторства, "правильности", которые, казалось бы, должны быть свойственны школьному учителю. Нравоучения — не его путь в литературе. Думается, что и в преподавании этого предмета Лодоли также чужд назидательности. Писателю интересно с юным поколением — непостоянным, пребывающим в вечном поиске себя и своего места в мире: "Я люблю школу, потому что нахожу там дискомфорт, неопределенность, в которой еще есть место вопросам... Взрослые нашли решение квадратуры круга... У этих же четырнадцатилетних — кроссовки "Найк", солнечные очки, крутые прически... но в глазах чуть уловима грусть, чуть уловима тревога, у них чуть больше свободного времени, которое нечем заполнить..."

Бедолаги

Из зачем только моему брату голова, шевелить мозгами для него непосильный труд. Зато он любитель помахать кулаками или облить бензином торговые палат-

ки. Конечно, вчера он переборщил, когда после матча, раздетый до пояса, — и это зимой-то! — выставив напоказ свое толстое, как у немца-пивохлеба, пузо, с голыми руками полез в драку с полицией. Он орал, как бешеный, поносил судью, ни за что назначившего пенальти, недовольный тем, что воскресенье кончилось, да еще и дождь пошел, так что нам пришлось укрыться в пабе недалеко от пьяцца Весковио и смотреть по телеку, как забивали голы. Я собирался изложить ему один план, но, разумеется, не в пабе, где все всё слышат, а иной раз появляется неизменный лягавый в камуфляжных штанах и майке, как один из нас, проверяет, чем мы занимаемся, о чем говорим. Лучше не здесь. Дома, в спокойной обстановке. Перед сном, когда он немного остынет после разгрома "Лацио". И чего его потянуло на подвиги, голову пригнул — и в атаку, но поскользнулся в каких-то пяти метрах от полицейских и упал, а эти засранцы врезали ему несколько раз дубинкой по ребрам и по хребту. Теперь он спит на родительской кровати, растянулся поперек, поскуливает во сне. Раненый бизон. Этот парень вечно ищет приключений на свою голову. За ним нужен глаз да глаз, без меня он пропадет, я должен все ему объяснять, это же мой брат, он и семь классов не закончил из-за того, что перевернул кафедру училки итальянского, коммунистки, умную из себя строила, хотела убрать из класса распятие и читать ученикам статьи из "Униты". Весь в синяках, Массимо похож на черно-белую тучу, которая вот-вот разродится грозой.

Мы позавтракали. Молоко и рогалики я купил внизу, в баре, где обычно собираются фаны "Ромы", терпеть не могу этих придурков с их подначками. Массимино мечтает поджечь этот бар, я бы и сам это сделал, но боюсь, что пламя доберется до нас, на пятый этаж. Массимино запихивает в рот целый рогалик, лицо у него становится как у хомяка. Вчера у нас украли победу, сказал он, пытаясь проглотить кусок, — да еще и накостыляли... Мне даже не удалось повесить флаг с кельтским крестом, на трибуне было полно легавых... В воскресенье в Ливорно мы весь стадион разнесем этим красным ублюдкам, вот увидишь... Я накрыл ладонью его кулак и сказал: послушай, Массимино, мы больше не можем тратить время на эти детские шалости. Конец дракам и налетам на ларьки. Мы призваны Историей, на нас лежит большая ответственность, мы должны защитить Запад, ты меня понимаешь? Он смотрел на меня с полуоткрытым ртом, в котором застрял рогалик, и растирал на плече синяк. Перед смертью отец просил меня заботиться о Массимино, не оставлять его одного, знаешь, сказал он мне, мама всегда боялась, что твой брат не выдюжит, не справится, потому что хоть он большой и

сильный, но мир больше и сильнее его, такой никудышный пловец, как он, и в луже утонет. Наш отец был настоящий мужчина, никогда ни перед кем не прогибался. Сын фашиста, отец двух бритоголовых, он гордился нами, как немецкая овчарка, которая родила щенков добермана. Сначала умерла мама, потом он, за шесть месяцев: рак, ничего не попишешь. Квартира теперь моя и Массимино, но их комнату мы оставили в прежнем виде, с фотографиями, где они молодые, и снимками отца в нацистской форме: он на каком-то карнавале, вытянулся в струнку, вскинул руку в фашистском приветствии, на плечах конфетти.

Один[1], что значит — мы должны спасти Запад? Поджигать машины чернокожих легионеров из "Лацио", ты об этом, Один? Вообще-то меня зовут Дино, но все называют меня Одином — потому, что я прочел две книги по германской мифологии и несколько других правильных книг. Силу дают мысли, а не мускулы. Мускулы вторичны. Это наши солдаты, готовые к бою, но воспитывать их должен ум. Ум нуждается в питании, питанием служат нужные книги — особая пища для горячей крови. Первые две книги мне посоветовал отец. Одна была против евреев, ее написал Селин, вторая — про тамплиеров. Дальше я искал такие книги сам, их нет в книжных магазинах, разве что в одном, недалеко от Седиа-дель-Дьяволо[2]. Его держат наши парни, там можно найти полезную литературу. Так я узнал, кто такие Юлиус Эвола и Бразилач, Мисима и Генон, Дрие Ла Рошель[3] и Эзра Паунд. Эти люди писали кровью, кровью собственных ран, это вам не шуты гороховые, которые публикуют истории своих разочарований, да еще хотят делать на этом деньги. Я учился на бухгалтера, мне трудно понять некоторые философские рассуждения, я путаюсь в терминах, но главное я понял. Есть люди, а есть говно. Людей меньше, они ходят по говну, давят его, не боясь испачкать сапоги. Мы совокупляемся с самыми сильными женщинами и рожаем детей, гордость нации, ведь

1. Один — верховный бог скандинавской мифологии, соответствующий западногерманскому (германскому) Водану (Вотану). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Седиа-дель-Дьяволо (Кресло Дьявола), или гробница Элио Каллистио — древнеримский памятник погребальной архитектуры, находится на площади Элио Каллистио в историческом Африканском квартале Рима.
3. Юлиус Эвола — псевдоним барона Джулио Чезаре Андреа Эволы (1898–1974), итальянского писателя и философа-эзотерика. Роберт Бразилач (1909–1945) — французский писатель, журналист. Расстрелян за коллаборационизм. Рене Генон (1886–1951) — французский эзотерик, автор трудов, посвященных исследованию восточной религиозной традиции. Пьер Дрие Ла Рошель (1893–1945) — французский писатель и мыслитель. После обвинения в коллаборационизме покончил с собой.

именно через кровь и сперму передается сила и правда. Говнюки спариваются между собой и производят на свет не детей, а такое же дерьмо, как они сами. Будущее Запада зреет в наших яйцах и нашем мужестве. Деньги — ничто, макулатура; успех — призрачная вечность для слабаков. Другое дело — чистота расы, фундамент которой — мы.

Так что мы должны делать? — спросил Массимино с крошками от рогалика на губах.

Мы должны похитить мусульманина, спрятать его здесь, у нас дома, снять на камеру перед кельтским крестом и отправить пленку на телевидение. Око за око, зуб за зуб. Перед угрозой ислама нельзя сидеть сложа руки, понимаешь? Видел, что творят боевики в Ираке? Они не церемонятся, отрубают голову любому христианину, который попадет к ним в лапы. Мы будем действовать так же, безо всякой жалости. Жалость парализует, это оправдание слабаков, трусов, понимаешь, Массимино? Ты понимаешь, что идет война?

Брат смотрит как-то странно, словно не узнает меня. Я для него — тот, кто читает книги, поучает, кто всегда поворачивается и уходит, когда другие дубасят цепями какого-нибудь коммуняку. Я тот, кто говорит ему: будь осторожен, не делай глупостей, вымой руки. Я жду его по ночам, как мама. Он растерянно покрутил в огромных руках чашку из-под кофе с молоком, будто гадал на кофейной гуще и увидел дурной знак. Я сделаю так, как ты решишь, Один, заключил он. И, почесав бритую голову, добавил: кто еще будет с нами? Никто, отрезал я. Парни пьют, лезут на рожон, болтают лишнее. Обойдемся без них, я им не доверяю. Нас должно быть только трое: ты, я и пленный мусульманин. Это наша тайна. Папа был бы доволен, я в этом уверен, он благословляет нас с небес. Это будет сильный поступок, жестокий, поучительный. Нужно разбудить Запад от спячки, в которую он впал, заставить его посмотреть правде в глаза, и, если для этого голова врага должна покатиться к ногам в уютных домашних тапочках, за нами дело не станет. Мы должны показать исламистам, что мы их не боимся: мы тоже можем быть беспощадными, если захотим, а мы хотим. Операция будет иметь кодовое название: "Свет и Свинья". Начинаем немедленно, начинаем сегодня. Заправь родительскую постель, убери со стола — и уходим, наш час пробил, вперед! Тогда Массимино обнял меня с такой силой, что ребра затрещали.

Массимино давно хотел сделать на спине татуировку: орел с распростертыми крыльями летит под солярным знаком свастики. Я ему не разрешал. Татуировка — жалкое украшение, эта штука хороша для неудачников, которым лишь бы покра-

соваться. Но на сей раз я пообещал ему: если операция "Свет и Свинья" пройдет успешно, тогда он сможет изобразить на своей туше, покрытой синяками, все что угодно — в пределах разумного, конечно. Да хоть паутину на локте, как у многих наших, почему нет? С другой стороны, в чем-то и я должен уступать, если хочу добиться от него послушания. Я уже лишил его шоколада и косяков, нельзя же отбирать у ребенка все игрушки. Мама всегда утешала его, когда он плакал, а в детстве он плакал часами. Меня мать почти не замечала, потому что я ни в чем не нуждался, не плакал даже тогда, когда разбивал коленки. Я слизывал кровь, она казалась мне вкусной. Мне нравилось терпеть боль, чувствовать себя сильным. Даже когда отец лупил меня ремнем, я молчал: на справедливый приговор нельзя обижаться.

Первое, что надо сделать, — оборудовать комнату, где будет содержаться заключенный. Необходимо купить пенопластовые листы, ночной горшок, оранжевый комбинезон — и телекамеру, конечно. И еще — острый нож. Деньги, оставленные нам в наследство, почти кончились, но все равно это были жалкие гроши. Большую часть родительских сбережений успели сожрать врачи. От отчаяния отец с матерью платили даже какому-то шарлатану из Абруццо, тот бормотал заклинания и брызгал привезенной с собою водопроводной водой. Перед лицом смерти все становятся беззащитными, понятное дело. Но мы-то молоды и жестоки. Мы можем восстановить правильный порядок вещей, утвердить свое превосходство, определить наказание. Нужно только подготовить комнату и найти жертву. Западу нужны наши подвиги, наши уроки ненависти. Нужно что-то делать, пока нас окончательно не засосала трясина бездействия. Массимино ждет только знака, я жду самого себя. Я давно ничего не делаю, я готовлюсь.

Всё в порядке, звукоизоляция обеспечена: пусть пленник кричит, сколько хочет, его никто не услышит. Один из наших продал нам краденую видеокамеру. Хотел впарить еще две шубы, норковую и каракулевую, и столовое серебро. Недорого, давай возьмем, сказал Массимино, заметем следы. Мы притащили все к себе домой. Телекамера готова, установлена на треножник перед флагом с кельтским крестом, остальное лежит в шкафу в гостиной. Проверили телекамеру: Массимино перечислил игроков национальной сборной сезона 1973—1974-го, а я прочел первую непонятную страницу "Дао де цзин" в переводе Эволы. Работает нормально, объектив что надо, с зумом. В дверь позвонили: три настойчивых звонка, — это пришел хозяин дома, коротышка в пиджаке и при галстуке, живет на последнем этаже, покою от него нет,

требует денег за квартиру. Буржуй проклятый, кровопийца, наживается на простом народе. Сказал, что мы должны ему за шесть месяцев и что он начал собирать документы для выселения. Массимино попросил: прошу вас, потерпите еще немного, мы остались без родителей... Но человечек не дал ему договорить: сожалею, но я все равно вас выгоню. По правде говоря, не очень-то я и сожалею, потому что от таких, как вы, лучше избавиться, — и ушел. Мы должны торопиться, время не ждет, годы идут, а мы почти ничего не успели сделать. Хватит мечтать. Нужно действовать, сейчас же, немедленно. В городе полно иммигрантов, как собак нерезаных. Сегодня ночью мы, рыцари Запада, схватим одного из них, первого попавшегося мусульманина, посадим в машину и привезем сюда. Как только заложник будет у нас в руках, мы покажем свою силу. Сегодня нам угрожает какой-то замухрышка, но завтра сильным мира сего придется считаться с нами. Массимино хотел еще немного поиграть с телекамерой, заснять блондинку из дома напротив, которая иногда раздевается, не опуская жалюзи, но я сказал ему: прекрати, ужинаем и едем, война началась.

Мы колесили на задрипанном отцовском "опеле" по улицам Пренестина и Казилина, оглядывая зорким взглядом охотника самые безлюдные и темные закоулки. Не знаю, мне казалось, что мы в два счета поймаем какого-нибудь бедуина, или торговца коврами, или бородача в халате, однако попадались только местные, которые вышли погулять с собакой или вынести мусор. Рядом с пабом стояла группа молодых людей, никчемное поколение этой загнивающей страны. Массимино заикнулся было, не выпить ли нам пивка, но умолк под моим грозным взглядом. Мы выехали за кольцевую, туда, где все дома на одно лицо — сплошные норы уставших животных. Красная лампа индикатора бензина отчаянно мигает, денег нет, нужно торопиться. Попробуем еще завтра, сказал Массимино, и я ответил ему, что завтра — время проигравших, а он фыркнул: от тебя иногда тошно становится, сказал он, — ты бываешь хуже, чем очкарики-коммунисты. Наконец-то мы вычислили жертву. Тот, за кем мы охотились, шел вихляющей походкой по тротуару в районе Торре Спакката. Вроде бы смуглолицый, длинный и сухой, как жердь, он разговаривал сам с собой на каком-то непонятном языке. Я поравнялся с ним, открыл окно. Эй, приятель, как дела?

У него были узкие глаза, он улыбнулся беззубым ртом, ответил: на все воля Аллаха, — и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Тот, кто нам нужен. Жертвенный баран, наш шанс. Массимино вышел из машины: мы покажем тебе Рим, сказал он ему, Колизей, киностудию "Чинечитта-2", ста-

дион. Я боялся, что придется гоняться за мусульманином по грязи вокруг этих громадных домов, хватать силой, но он снова улыбнулся и сказал: спасибо, поедем, поедем, Рим прекрасно, — и прыгнул в машину. Радио с музыка есть? — спросил он. Бутерброд есть?

Его зовут Рикки — во всяком случае, он так говорит, — он албанец, документов у него нет. Говорит, что прилетел в Италию на самолете, но в это трудно поверить, судя по дыркам на его брюках. Ему очень нравятся наши певцы, в кармане у него три пиратских диска с попсой и больше ничего. Мы отвели его в приготовленную комнату, дали спальный мешок, полотенце — и пусть спит, сколько захочет. Мы завалились на родительскую кровать и тоже заснули как убитые, даже ботинки не сняли. Утром Массимино рассказал, что видел страшный сон: мы играли в футбол отрубленной головой Рикки во дворе нашего дома. Мы были маленькими, дождь лил как из ведра. Голова показывала язык, безумно хохотала, пела, катаясь по грязи, плевалась.

Рикки уже был на кухне, готовил завтрак, нашел в глубине шкафа последний пакет долгоиграющего молока и засохший кусок хлеба. Потом мы усадили его под флаг с кельтским крестом, и я начал самый что ни на есть настоящий допрос. По правде говоря, я не знал, о чем его спрашивать, но знал, что пленника необходимо сурово и жестко допросить. Я сказал ему: Рикки, слушай меня внимательно — ты приехал в Италию распространять исламский терроризм? Он уставился на меня своими узкими глазами, мне казалось, что он подыскивает нужный ответ или придумывает правдоподобную ложь. Распространять? — спросил он через минуту. — Что это значит? Вопросы здесь задаю я, закричал я. Вопросы здесь задает мой брат, подтвердил Массимино, понятно? Короче, ты приехал сюда как воин джихада? Рикки удивленно смотрел на нас. За "Рому" болеешь? — с грозным видом спросил Массимино, но я оборвал его: перестань, не задавай идиотских вопросов! Тогда Рикки стал плакать, не стыдясь своих слез, как последний трус. Закрылся руками и плакал, бормотал какие-то слова на своем варварском языке. Мы молчали, жесткие и неумолимые. Потом он вытер нос рукавом свитера, успокоился и сказал: мне нравится "Милан", я искать работа, но не много работа, не тяжелый работа, здесь нравится гулять улицы. Врезать ему по морде, чтоб заткнулся? — спросил Массимино, а я сказал: брось, оставь свои глупые замашки. Это серьезное дело, на карту поставлены спасение Запада, сила традиции, память и язык наших отцов, чистота нации. Может, стоит вздремнуть хотя бы полчасика.

Мы включили телекамеру. Рикки поместили прямо под флагом — руки за спину и не вздумай шевелиться. Рядом с ним я, в черной маске. Я зачитал несколько строк заявления, убедительного и точного, составление которого стоило мне трех часов лингвистических и идеологических мучений. "Мы, члены Бригады борцов за Чистоту и Совершенство нации, похитили мусульманского шпиона, которого вы здесь видите. Мы ничего не требуем, мы не станем торговаться, не пойдем на унизительные сделки, мы утверждаем, что пробил час восстания и мести. Если в течение двадцати четырех часов это обращение не попадет на все телеканалы страны, пленник будет обезглавлен". Я резко поднялся на ноги, сердце выпрыгивало из груди, билось сильнее, чем тогда, когда меня остановили на улице, чтобы взять интервью по поводу повышения цен. Как получилось? — спросил я у Массимино, который все еще возился с телекамерой. Отлично, сейчас посмотрим. Рикки тоже подошел посмотреть на маленький экран. Картинка оказалась довольно нечеткой, звука почти не слышно. Я открывал рот и двигал руками, как в немом кино. Рикки улыбался, надувал щеки, подмигивал. Переделаем? — спросил Рикки, но внутри меня уже бил фонтан адреналина — не для того же я старался, чтоб повторять. Я ответил: неважно, отправим так, это будет первое заявление. Потом мы все трое сели на диван посмотреть новости — надо быть в курсе, чего говорят про исчезновение Рикки. Он устроился между нами, раскачивался, хлопал по коленям то себя, то нас. В новостях говорили о плохой погоде, о забастовках, об Израиле, о Формуле-1, о моде в Милане, а про Рикки — ничего, ни единого слова. До тебя никому нет дела, сказал Массимино, ты вообще никто, пустое место. Рикки обнял нас и сказал: ребята, надо купить поесть. В дверь позвонили, мы застыли, как застигнутые врасплох преступники, но это был всего лишь хозяин квартиры, он снова пришел за деньгами и пугал выселением — злой как собака. Мы с Массимино сказали ему: потерпите, все будет в порядке, вот увидите. Рикки выглянул из комнаты — вокруг головы, закрывая пол-лица, обмотано полотенце. Я толкнул его назад и захлопнул дверь.

Массимино пошел отправлять кассету. Мы положили ее в желтый конверт, я написал печатными буквами адрес газеты "Мессаджеро". Рикки тем временем принялся чинить систему слива воды в туалете, которая давно уже не работала, каждый раз приходилось лить в унитаз воду из ведра. Рикки взял из кладовки стремянку и забрался на нее, держа в руке разводной ключ. Он возился с трубой, ругаясь на своем языке. Отвертку, сказал он, и я подал ему отвертку. По правде говоря, наше жилище давно нуждается в ремонте. Жаль, нет отца:

ему хватало мотка проволоки, плоскогубцев и пяти свободных минут, чтобы починить мотор "опеля". А у мамы полы блестели как зеркало, да, она так говорила: теперь хоть скатерть на полу расстилай, послушайте, ты и твой брат, снимайте ботинки и надевайте тапки. Мы же с братом почти никогда не прибираемся, в некоторых комнатах темно, потому что жалюзи сломались. Заниматься домом — это не для нас, мы хотим жить как герои. Массимино вернулся домой с тем же желтым конвертом. Что, не отправил? Он ответил, что в щель почтового ящика конверт не проходит, а на почту идти он побоялся: могут заметить и потом опознать. Мы сели за кухонный стол, все трое: пора обедать, надо бы что-нибудь приготовить, но сначала надо что-то купить. Мы порылись в карманах: я выложил десять евро, Массимино — три, а Рикки — пять. Я сходил в магазин, купил пачку макарон, немного сыра и три бутылки пива. Рикки готовил соус с луком, он помешивал его так старательно, будто судьба мира зависела от этой кастрюльки. Я резал сыр, злясь на себя, что взял для этого нож, который предназначался для Рикки.

После обеда мы долго спали. Массимино, когда встал, спросил меня: почему мы болеем за "Лацио"? почему мы фашисты? Я заехал ему по бычьей шее, а он лягнул меня под коленку. Может, вам нужна женщина, сказал Рикки, выглядывая из комнаты, в смысле, по женщине каждому. Почему у вас нет жен? А тебе чего надо, чего лезешь? Возвращайся в свою конуру! Рикки — терпеливый мусульманин, он из тех, кто сидит на корточках у обочины пыльной дороги и часами ждет, не представится ли счастливый случай. А может, он просто ненормальный, если уж начинает что-то, идет напролом, не останавливаясь. Жена, дескать, помогает, готовит, растит детей, ждет тебя вечером с работы. Вам сколько лет? Массимино сразу ответил: двадцать девять. Я хотел сказать: скоро тридцать один, — но промолчал. Почему же у нас нет жен? — спросил мой брат, удивленно глядя на меня. Почему — может, мы некрасивые, никому не нравимся? Албанец рассказал нам, как мог, что ему сорок два года и он уже дед. Что его большая семья осталась дома, в деревне недалеко от Влеры, — куча народу, бесконечная нужда. Поэтому он и приехал в Италию, и три его сына тоже здесь, где-то на севере или на юге. Нужно крутиться, если не хочешь быть в тягость другим, сказал он. Небо помогает тем, кто чинит жалюзи и тянет свою лямку. Думать — никакого проку, таскать кирпичи нужно. И молиться нужно, потому что люди — это муравьи, но Аллах велик. Рикки говорил, не глядя на нас, гостиная наполнялась его словами, медленными и тягучими, а мы не знали, что сказать, чтобы остановить его. Мы вернулись в его комнату:

я хотел записать второе заявление, показать нож и пригрозить врагам, но Массимино сказал: жаль, батарейки сели, — хотя кто его знает, может, он и соврал.

Вечером мы решили прокатиться, все вместе, дома сидеть скучно: по телевизору показывают сплошную ерунду, баб с голыми ляжками за стеклом, убитых. В Багдаде очередной взрыв, всюду трупы. Люди злые, заключил Рикки. Зря мы такие злые — и улыбнулся. На улице полно народу: те, кто трудится всю неделю, и те, кто ни черта не делает, все вместе застряли в пробке на набережной Тибра. У нас троих в кармане ни гроша, да и настроение паршивое. Можно было бы заглянуть в паб, к нашим, там всегда найдется кто-то, кто угостит пивом и захочет поговорить, но появиться там вместе с Рикки невозможно. Мимо проехали три мотоциклиста, возбужденные подростки с подружками, прильнувшими к их спинам. Крикнули нам, смеясь: "Козлы!" — и помчались дальше, виляя между машинами; но и они попали в затор метрах в тридцати впереди нас. Пойти врезать им? — спросил Массимино, а я сказал: да ну их, брось. Мало-помалу мы миновали пробку, нас все время несло в одном направлении — к пустынной окраине. Мы оставили машину на обочине какого-то шоссе и немного прошлись по неосвещенным улицам, где в выбоинах на асфальте скопилась вода, а из темноты на нас смотрели кошки. В кармане куртки у меня лежал нож, я чувствовал пальцами его сталь. Массимино сказал: может быть, папа и мама смотрят на нас с крыши этого уродского дома. Какого дома? И он повторил: этого, — и показал рукой наверх. Им теперь хорошо, сказал Рикки, они вместе с моим отцом и моей матерью и моим первым сыном и со всеми, кто перестал тянуть лямку. Мы остановились на том самом месте, где прошлой ночью встретили Рикки, и он сказал: ребята, пора прощаться, но сначала помолимся вместе.

Кому помолимся — Аллаху, Одину, Господу Богу, — кому до нас дело? — спросил Массимино, и вдруг он показался мне не таким высоким и крепким, как обычно.

Помолимся Богу всех несчастных, хорошо? — предложил Рикки. И Он даст нам слова. Встанем на колени и помолимся — и первым опустился на асфальт, Массимино последовал его примеру. Тогда и я тоже, хоть и было стыдно, встал на колени на краю газона, где гадят собаки, а люди выбрасывают мусор.

Рикки поднял и опустил глаза, сказал: Боже, прости наше ничтожество и защити нас, несчастных, от нашей глупости.

А Массимино продолжил: помоги нам выстоять, на коленях просим Тебя.

А я сказал: сделай нас лучше, потому что нельзя все время жить, как последнее отребье.

А Рикки: дай нам еду и надежду.

Сделай так, чтобы мы не вылетели из высшей лиги, пробормотал Массимино.

Помоги нам, пожалуйста.

Мы встали. Дул мерзкий ветер с дождем. Рикки обнял нас, сказал: удачи вам, братья, — и пропал. Мы с Массимино пошли к машине.

В голове у меня было пусто, как в дырявом кармане. Мысли, не задерживаясь ни на секунду, проваливались в темноту. Среди туч появились турецкий полумесяц и звезды, как на американском флаге, и наше черное итальянское небо. Хреново, сказал я, а Массимино повторил: хуже некуда. Однако на мгновение я почувствовал себя счастливым человеком, у которого всё в порядке, который есть часть мироздания. Все идеи, все прочитанные книги, все разговоры в пабе с парнями показались мне никчемными, ненужными. Важно одно: быть живыми, об этом я подумал, живыми среди живых под этим далеким небом, на этой дрожащей земле, остальное — сплошное безумие, которому нельзя поддаваться.

На углу темной улицы я увидел маму и папу. Они были одеты по-домашнему, на худых от химиотерапии лицах — улыбки. Не останавливайтесь, идите дальше, говорили они. Я показал на них Массимино, а он спросил: что? Наверное, у меня температура. Завтра, хочешь не хочешь, придется искать работу.

Мы проходили мимо цыганского табора. Кто-то играл на аккордеоне, мелодия взлетала и опускалась по винтовой лестнице нот. Массимино спросил: припугнем их? Но это он так, по привычке. Хорошо бы Рикки как-нибудь зашел к нам в гости, тотчас добавил он, — и мы пошли дальше, пасуя друг другу банку из-под пива.

Кассета

Я веду урок в пятом классе, не столько тихом, сколько безразличном, вдруг дверь открывается и заглядывает вахтер. У него всегда сердитый вид, не знаю почему. Ему скоро на пенсию, я так и вижу его одним из тех стариков, которые изводят своих жен и заплевывают тротуары.

— Вас там спрашивают, — говорит он хмуро. И, повернувшись к классу, добавляет: — А вы перестаньте свинячить, надоело убирать за вами.

Я закрываю учебник. Следом за мной захлопывают учебники двое, остальные не удосужились их принести.

— Скоро вернусь, ведите себя хорошо, — прошу я.

— Можете не торопиться, — говорит кто-то в глубине класса.

— Повторяйте урок.

— А как же, — комментирует голос без лица.

В коридоре ребята едят пиццу. До перемены еще больше часа, но голод и скука всегда дают о себе знать раньше.

— Смотрели футбол вчера вечером? Отличная игра, правда? — спрашивает высокий здоровяк, рот его перепачкан томатным соусом.

— Конечно, смотрел.

Я смотрел, да так и заснул на диване. Мне снилось, что с потолка и со стен капает вода, она все прибывает на полу, книги плавают, как кувшинки. Потом вода вдруг замерзла, превратилась в ледяные тиски вокруг ножек стульев и моих ног. Под коркой льда скользили разноцветные рыбки, исписанные листы бумаги, а еще тени людей, которые удалялись, балансируя руками. Я слышал их смех, слышал какой-то скрип, но не мог шевельнуться. Проснулся я на рассвете, почистил зубы и пошел в школу в помятом костюме.

В вестибюле стоит человек, руки за спиной, черная сумка через плечо, смотрит вниз, будто потерял важную мысль и ищет ее на полу. Я подхожу, он поднимает круглую голову и улыбается. У него неровные зубы, глубокие залысины, доброе лицо обрамляют тонкие бакенбарды.

— Здравствуйте, господин учитель, — говорит он и протягивает мне руку.

Я жму ее и пытаюсь вспомнить, кто он, знакомы ли мы, какое он имеет ко мне отношение. Предполагаю, что это распространитель из какого-нибудь издательства. В эти месяцы от них отбоя нет: несут буклеты, стараются всучить свой товар. Что ни год, предлагают новые учебники, не знаю зачем, если все они одинаковые, меняется только обложка и цена.

— Вы меня помните?

— Кажется, да, не уверен.

— Я Марангони Стефано, окончил школу десять лет назад. Аттестат с отличием, — говорит он гордо.

Теперь я вспомнил. Тогда он был худой, длинноволосый, в очках, но это он, Марангони Стефано. Он все заучивал наизусть, писал бесконечно длинные сочинения, страницу за страницей покрывая мельчайшими, почти нечитаемыми словами. Он записывал за мной каждое слово, даже всякую ерунду. Сидел с унылым видом, рот полуоткрыт, очки, всегда точно запотевшие.

— Конечно, еще бы! Какими судьбами?

— Давно хотел к вам зайти.

— Рад тебя видеть, очень рад, — говорю я, хоть это и не так, а сам думаю о своих учениках, которые сейчас, скорее всего, ходят на головах. Я должен поскорее вернуться, наорать на них и продолжить урок. Мы отстаем по программе, я потерял слишком много времени, говоря о вещах, не имеющих отношения к предмету: кино, музыка, мировые проблемы.

— Чем занимаешься? Работаешь, женился, дети есть?

Марангони, как в состоянии грогги, покачивается под градом моих вопросов. Затем откашливается и начинает рассказывать, неуверенно нагромождая фразы одну на другую:

— Я поступил в университет, на химический, хотел учиться дальше. Сдал одну сессию, перевелся на философский. Решил, что философия мне ближе. Проучился немного и все бросил. Трудно было, на помощь профессоров рассчитывать не приходилось, к тому же я пошел работать. Отец умер, а у меня еще два младших брата. Работал в баре на виа Тускола-на, потом — в небольшом ресторанчике.

— А сейчас? — нетерпеливо перебиваю я.

— Хочу показать вам одну кассету, вы не против? В школе остался кабинет с телевизором?

— Кассету?

— Это совсем недолго.

По правде говоря, мне не хочется возвращаться в свой класс, в эти стены, заляпанные надписями про футбол и про любовь, смотреть тошно. Вахтер идет по коридору впереди нас, что-то ворча себе под нос и болтая связкой ключей, как тюремный надзиратель. Он открывает дверь в небольшую, без окон, комнату и включает свет. Полка с телевизором висит на дальней стене. Всякий раз, когда в школу забираются воры, они его уносят; через год покупается новый, гораздо меньше и хуже.

— Я поставлю.

Марангони Стефано наклоняется над видеомагнитофоном, вставляет кассету, нажимает на какие-то кнопки — никакого результата. Я ничем не могу ему помочь, я даже свечи в мопеде поменять не сумею. Наконец слышится шелест, затем какой-то свист, и на экране появляются цветные полосы.

— Все, порядок, — говорит Марангони.

— Что ты мне покажешь?

— Свою работу. Сейчас увидите. Будет сюрприз.

На экране молодожены, они идут по парку: он выглядит, как пистолеро — в длинном черном пиджаке и огромном, дикой расцветки галстуке; она похожа на куклу, каких водружают на деревенскую постель, — вся воздушно-белорозовая. Пышнотелая невеста садится на траву, улыбается, расправляя свою бесконечную юбку, жених устраивается позади, об-

нимает ее. Еще одна пара, среди развалин римского Форума: оба невысокие, счастливые, держатся за руки, как первоклассники, целуются. Свадебный обед: другой *он* и другая *она* вместе держат нож, чтобы разрезать высокий трехэтажный торт; они так прижимаются друг к другу, будто хотят стать единым целым.

— Это моя работа. Фотография и видеосъемка свадеб, — говорит Марангони. — В глубине души я всегда мечтал стать режиссером, с тех пор как вы рассказали нам о Бергмане и Феллини.

— Ты доволен? — спрашиваю.

— Вы меня поймете: кажется, будто повторяется один и тот же день, вечный праздник. Я помню, вы читали нам рассказ "Человек, который сажал деревья"[1] одного французского писателя. Каждый день одна и та же работа, сделанная на совесть. Одно дерево, другое дерево, и постепенно жизнь вокруг становится лучше, мир становится зеленым. Я стараюсь быть похожим на того человека. Каждый день — свадьба, чужое, не мое счастье, и я его ценю, хочу запечатлеть все в наилучшем виде.

— Многие сейчас женятся, правда?

— Да все женятся, кроме меня и вас, разве нет?

— Не знаю.

На экране — поцелуи, улыбки, безвкусные наряды, букеты, мужчины, не поскупившиеся на гель для волос, сияющие от радости женщины, машины, украшенные лентами, сады и рестораны. А дальше опять шелестящая пустота.

— Теперь сюрприз, — говорит Марангони и кладет руку мне на плечо.

Неожиданно на экране появляется группа учеников. Они толкаются, чтобы поместиться в кадре: Кто-то приставляет рожки к голове товарища. Кто-то вскидывает руку в фашистском приветствии и смеется.

— Вы их помните?

— Теперь, когда вижу, да.

Среди ребят и он, Марангони, худой, в очках и шарфике. В руках у него книга, он ее показывает: это роман Мопассана, я узнал обложку.

— Здесь я передал камеру Минноцци. Он бестолковый был, шут гороховый, но девушкам нравился, вот кому везло! Сейчас работает на автозаправке.

Кажется, это другая эпоха, хотя прошло всего десять лет. У многих девушек на цепочках висят пластмассовые соски-пустышки по моде тех лет, у парней бритые головы. Один из

1. Новелла французского писателя Жана Жионо (1895–1970).

них — заправщик на бензоколонке, Марангони снимает свадьбы, а остальные?

— А остальные?

— Не знаю. Кто-то мне говорил, что Стефания Рубини погибла, разбилась на машине.

У нее светлые волосы, у Стефании Рубини, и темные отросшие корни. Вот она, перед нами, машет руками, боится не попасть в кадр. Посылает воздушный поцелуй, еще живая, полная надежд.

А вот и я. Стою за кафедрой, как обычно. На мне красный пуловер, который я потом прожег сигаретой и сунул, скрепя сердце, в мешок с одеждой, приготовленной для церкви. Мне нравился этот пуловер, яркий, веселый. Под пуловером фланелевая рубашка в клетку, она давно превратилась в тряпку для пыли. Я тоже худее, чем сейчас, усиленно размахиваю руками, когда говорю, поднимаю палец, чтобы подчеркнуть что-то важное. Кадр сжимается, фиксирует паузу, когда я, очевидно, пытаюсь перестроить фразу.

Марангони нажимает какую-то кнопку на пульте, и мой тогдашний голос заполняет комнату. Голос чистый, бессмысленно звонкий. Слова звучат отчетливо, выталкиваются жестами. Я слушаю, и по спине бежит холодок стыда. Те же слова я произносил полчаса назад. Тот же урок, я рассказываю о поэзии Пасколи: детство, первые стихи, дом, живые и умершие. Все одинаково, даже паузы, примеры, грубоватая шутка о поэте и сестрах. Все одинаково.

— Вы были совсем другой, — говорит Марангони.

— Я постарел?

— Со всеми случается, это нормально. Для своего возраста вы хорошо выглядите, — утешает он меня.

— По-моему, ничего не меняется, — говорю я скорее самому себе, чем ему.

— Мы сажаем деревья, ведь так? Ямка, семечко, ямка, семечко. Некоторые из них уносит ветер, губит засуха, некоторые прорастают.

— А что дальше?

— Дальше ничего, это и есть жизнь, так вы нам говорили. Вы объяснили мне многие вещи, я их помню до сих пор.

Я же забыл почти все.

Мое лицо и мои слова исчезают, экран становится темным. Марангони вынимает кассету, прячет в черную сумку.

— Рад был снова увидеть вас.

— Я тоже рад.

Мы обнимаемся в этой комнатке, отрезанной от внешнего мира, как друзья, как чужие.

— Приходи, когда захочешь, — говорю я.

— Если не будет свадеб, — смеется он.

В сопровождении вахтера, который все это время стоял в дверях, я направляюсь в класс. Ямка, семечко, думаю. Одно и то же, хотя все меняется.

На стене в коридоре написано: МНЕ СЕГОДНЯ ВОСЕМНАДЦАТЬ, Я УЖЕ ДАЛЕКО. Беру авторучку и, не обращая внимания на стеклянные глаза вахтера, приписываю: МНЕ СЕГОДНЯ СОРОК, И Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ. Я испытываю странную гордость и вместе с тем чувствую, что смешон. Вахтер смотрит на меня, на его лице обозначается робкая улыбка. Никогда не видел, чтобы он улыбался.

— А мне, мне-то шестьдесят, и всю жизнь я убираю ваш бардак, подметаю за вами... — говорит он.

Перевод Ирины Боченковой

Пузыри

Мать стоит позади своего сыночка, руки на его худых плечах: она тут же придет ему на помощь, если он ненароком забудет слово, но у него все получится, ведь они много раз репетировали. Их обступили родственники, принарядившиеся по случаю рождественского вечера: согласно ритуалу, соблюдаемому десятилетиями, самый младший читает стихотворение, все умиляются, все ему аплодируют, затем штурмуют гору подарков под елкой; и, наконец, — ужин с салатом оливье и лососем, рождественским угрем и апельсинами, шампанским и семейной болтовней. И так из года в год — никаких изменений. Дети, которые когда-то рассказывали стишки, сегодня — взрослые мужчины при галстуках, с лишними килограммами, женами, любовницами и хорошей работой.

На Антонино черные вельветовые брючки, белая рубашка, бабочка и лакированные туфли. Говорят, что он немного странный, так говорят учительницы и его собственные тети, последние, правда, — вполголоса и не без удовольствия. Для своих восьми лет он слишком худой и маленький. Он грызет ногти и смеется без причины, у него сощуренные глаза, будто в лицо ему всегда светит солнце. Он живет в собственном мире, говорит мать, он у меня поэт. И вот пробил его час: перед сверкающей елкой и грудой подарков в золотой и серебряной бумаге, перед взрослыми двоюродными и троюродными братьями, для которых главное — поскорее отделаться от родственников и присоединиться к друзьям, ждущим их на одной из центральных площадей. Смелее, Антонино, начинай, подбадривает мать и шепотом подсказывает первую

строчку: "Вспыхнула комета в небе ярким светом". Антонино молчит, раскачивается на каблуках и выпячивает губу, словно пойманная рыба в ведре. Смелей, Антонино, комета вспыхнула в небе, ты что — хочешь, чтобы она улетела куда-нибудь в другое место? И тогда Антонино отрывается от матери, делает шаг вперед. Я хочу рассказать стихотворение, я его сам сочинил, говорит он, но так тихо, что почти никто не слышит. Сам сочинил стихотворение? — спрашивает дедушка, он стоит в полуметре от внука, потому что боится пропустить хоть слово и лишить себя удовольствия, от которого раз в году у него тает сердце. Да, отвечает мальчик, я его вчера сочинял и позавчера тоже — даже в словарь смотрел — и хочу вам его рассказать. Теперь его голос звучит увереннее и громче. Ну, так начинай, не бойся, говорит троюродный брат, с потухшей сигаретой во рту и хриплым голосом, — тот, что работает в Лондоне и приезжает в Рим только на Рождество, чтобы рассказать, как трудно там жить и как хорошо там платят. С отвращением он вспоминает, как заканчивалось его собственное стихотворение, тридцать лет назад: "У нас, пастухов, безмолвные лица, сегодня младенец Исус родится". Давай, говорит тетя Матильда, которой из-за какой-то ерунды прооперировали грудь, как она всех уверяет, хотя и сама она и все знают, что у нее неизлечимый рак. Антонино уже не раскачивается. Серьезный и прямой, как палка, он говорит: сейчас начну, но не начинает. Давай же, смелее, подбадривает его отец, инженер, слишком старый для такого маленького сына, — вперед, ведь нас ждут подарки и лосось под майонезом. Он не думает о том, что с его сыном, старается не думать, потому что не хочет думать о плохом.

И вот Антонино читает свое короткое стихотворение:

"Пузыри пузыри прекрасные пузыри, кружатся как снежинки и пылинки, разноцветные краски и маски, пузыри пузыри воздушные пузыри, пузыри планеты и пузыри секреты, пузыри птицы и пузыри лица, смотри, летят пузыри, прекрасные пузыри, только в руки не бери, тут же лопнут пузыри, пузыри пузыри пустота внутри".

Все, конец. Взрослые аплодируют как всегда, дедушка громче всех, хотя он и не так сильно растроган, как ожидал. Он хотел бы услышать обычный стишок о младенце Иисусе, пастухах, рождественской звезде и о светлой радости в душе. Какой идиотизм, думает троюродный брат и зажигает сигарету. Антонино исчезает в объятиях матери, и можно начинать раздачу подарков. Туалетная вода, шарфы, книги, диски, свитера, рубашки, фотокамеры и даже несколько ювелирных украшений в утешение обманутым женам. Для Антонино — красный кожаный мяч и первые в жизни часы — пластмассовые, со стрелками. Он кувыркается на персидском ковре, сре-

ди разорванной золотой и серебряной бумаги. Пузыри, повторяет он, пузыри пузыри, — руки широко расставлены, голова свесилась набок. И за столом, пока взрослые говорят о политике, о поездках в Америку и в Англию, о работе, о дальней родственнице, которая умерла в Коста-Рике, Антонино ни на минуту не замолкает. Пузыри, прекрасные пузыри, кругом пузыри... Отец начинает нервничать, несколько раз приказывает ему замолчать и есть спокойно, мать тоже не выдерживает: на сегодня хватит, Антонино, угомонись. Но Антонино кричит еще громче, только и слышно: пузыри пузыри пузыри. Прекрасные пузыри, пузыри пустота внутри, только в руки не бери, тут же лопнут пузыри...

Разговоры о правительстве, о домах, о детях, которые требуют новых и новых расходов, смолкают на полуслове. Сначала все говорили, чтобы поддержать беседу, сейчас же все притихли. Над столом, будто пустое замерзшее небо, нависло неловкое молчание. В Лондоне жизнь в два раза дороже, но зато я и зарабатываю раза в три больше, говорит троюродный брат, который работает в банке, и тоже замолкает, морщась от бесконечных пузырей. Больная тетя трогает свою грудь и подавляет глубокий вздох, она давно привыкла подавлять свои чувства.

Пузыри пузыри пузыри, кричит ребенок, неприятно цокая языком. Отец встает, бросает салфетку рядом с тарелкой. Если ты не замолчишь, получишь по шее, сердито предупреждает он. Пузыри, кругом пузыри, повторяет малыш и смеется чересчур громко. Отец вдруг понимает, что боится ударить сына, боится и своего и его голоса, боится, что все лопнет как мыльный пузырь и ничего и никого не останется. Он хотел бы зажмурить глаза, но боится, что, когда через секунду снова откроет их, ничего и никого не увидит. И вдруг его собственная жизнь, и жизнь его родственников, и этот рождественский вечер, и другие вечера и дни, и работа на стройке, растущие дома, майонез — все это предстает перед ним как сон, как чужой сон. Пузыри, произносит и он, пузыри... — опускается на стул, сжимает потную руку Антонино, и ужин продолжается.

Последняя ночь

ПОСМОТРИ на эти огоньки в небе, смотри, как быстро летят самолеты, хочется прыгать от радости... ведь и мы завтра будем уже в воздухе, полетим отдыхать... ты еще не знаешь, пупсик, куда я тебя повезу... это сюрприз, положись на меня, и точка, твое дело собрать че-

модан, возьми все, что нужно для моря: пляжную одежду, кремы, сланцы, плавки, ну и что-нибудь нарядное тоже, пиджак, белые льняные брюки не забудь, ведь неизвестно, кого мы там можем встретить, на какие вечеринки нас могут пригласить, если, конечно, ты не будешь выставлять напоказ свою унылую физиономию, на которой написано, что тебя все раздражает, что тебе никто не нужен, а ты, Вихрь, не лезь со своими лапами, испачкаешь мне платье, да не лижись ты, противно, сиди где сидишь, веди себя хорошо, вот так, смотри какой понятливый, ну и собака, иногда мне кажется, еще немного, и она заговорит, тебе должно быть стыдно, пупсик, ты из себя и слова выдавить не можешь, даже когда тебя останавливает полиция, так что ясно, почему мы с тобой вечно одни и нас никуда не зовут, даже на пиццу, ты все время молчишь, не рассказываешь анекдотов, не делишься своим мнением, а люди хотят смеяться, сплетничать, спорить, и тогда все довольны, а иначе скука смертная, в общем, завтра летим, пристегните ремни, приведите спинку кресла в вертикальное положение, приятного полета, мы доставим вас в прекрасное место, я-то знаю куда, но тебе пока не скажу, ты просто ахнешь, когда увидишь, мне показывали буклет с фотографиями, песочек мелкий, прямо как пудра, и такие пальмы, такие закаты, до самой смерти не забудешь, а гостиница, вот увидишь, супер: сауна, спортзал, дискотека и совсем недорого, хотя на хорошее дело и денег не жалко, ты-то вон сколько тратишь на свои пилюли, одни от плохого настроения, другие от тревоги, третьи от страхов, надевай плавки в цветочек, плескайся в море на здоровье, танцуй — и увидишь, все у тебя пройдет; а ты оставь меня в покое со своими лапами, смотри какой, совсем одурел, кладет морду мне на плечо, будь умницей, Вихрь, сиди смирно — кстати, пупсик, ты снял с ошейника медальон с именем и адресом? а то, боюсь, утром нам вернут наше сокровище в целости и сохранности, и тогда прощай отпуск, может даже придется заплатить этому болвану, который найдет Вихря, да еще кланяться ему в ножки, большое спасибо, огромное спасибо, он убежал, это уже не первый раз, бегает за суками, одно слово кобель, конечно, помню, я подарила его тебе на прошлое Рождество, пупсик, или ты думаешь, что у меня память отшибло, думаешь, у меня опилки в голове, да подарила, считала, что тебе полезно гулять с собачкой в парке, на природе, надеялась, что ты перестанешь хандрить, будешь болтать с такими же собачниками, я читала в каком-то журнале, что животные улучшают настроение, а ты после моего подарка не очень-то изменился, брюзгой был брюзгой и остался, но теперь вот увидишь, куда я тебя повезу, я в рай тебя повезу, солнце море музыка веселые люди, на завтрак тро-

пические фрукты, на обед вот такая рыбища и побоку все проблемы на целых пятнадцать дней; ну вот, по-моему, можно здесь, перед этим домом, слышишь, там собаки лают, оставим Вихря возле калитки и завтра его увидят хозяева, они наверняка богачи, вон у них видеокамеры по всему забору, и лишняя собака им не помешает, подумаешь, одной больше одной меньше, и Вихрь заживет как король, уж точно лучше, чем с тобой — лежи на диване перед телевизором и жри эту дрянь из банки, которой ты его пичкаешь; здесь тебе не нравится, ладно, жми на газ, поедем в другое место, решай сам куда, раз ты такой умный, сам ищи подходящее место, кончится тем, что мы оставим его на кольцевой, представляю, как он гонится за нами, а там полно машин, и — бац — авария с погибшими и ранеными, и вот нас останавливает полиция, и начинается такой цирк, страшно подумать, и наша поездка летит ко всем чертям, прощай море и пальмы, прощайте лангусты величиной с кошку, еще и деньги за билеты потеряем, хоть скандал устрой, не вернут ни гроша, и опять проторчим все лето в Риме, будем смотреть старые фильмы в кинотеатре возле твоего дома, тоже мне удовольствие, а из кино — в кафе "Джолитти", хотя там давно разучились делать мороженое; ты, как всегда, закажешь кофейное со сливками, нет, чтобы попробовать что-нибудь новенькое, имбирное, например, фисташковое, ананасовое, вечно кофейное со сливками, и понятно, почему у тебя после него кислая рожа, пупсик, ты хорохоришься только дома, в своем затхлом мирке, притормози, тормози, говорят, да не лижи ты мне уши, чертова псина, тьфу, противно, вот здесь, по-моему, здесь в самый раз, привяжем к скамейке, а завтра его подберет какой-нибудь пенсионер, запрыгает от радости, наконец-то нашел себе компанию для прогулок, даже догадываюсь, как он его назовет — Бенито или Пальмиро, — и бывший Вихрь осчастливит старичка, а мы завтра в это время уже летим, как та звездочка в небе, пупсик, стюардессы подают нам шампанского, и мы пьем за нашу любовь — правда милый? — в последнее время нам с тобой в постели не хватает огонька, потерпи, там, в шикарном отеле, наша страсть снова разгорится, не будет этого Вихря, который лезет на кровать и лижет нам ноги, не успеем раздеться, всякое желание пропадает, когда он в лицо дышит, ужас, остановись здесь, остановись, тебе говорю, ты меня не слышишь, тебе и здесь не нравится, что же ты ищешь, собачий грандотель, а ведь ты, если честно, не так уж и любил Вихря, однажды даже пнул его, как сейчас помню, помню, он забился под шкаф и не вылезал оттуда целых два дня, а ты на четвереньках, как ненормальный, без конца извинялся: прошу, вылезай, я больше так не буду, давай помиримся, — вот увидишь, через

час ты о Вихре и не вспомнишь, а через три дня на море — словно его и вовсе не было; там, куда я тебя повезу, будет куча приятных людей, мне сказали, что там полно итальянцев, особенно из Милана и Брешии, денежные мешки, парочки без комплексов, умеют жить, можно меняться партнерами, позволить себе такое, что сами удивимся, — а почему бы и нет? — если не будешь ходить с постной миной, глядишь, зимой они пригласят нас к себе, на виллу в Доломитах, на озере Комо или Гарда, чем черт не шутит, может, кто-нибудь работу стоящую тебе предложит, я ему понравлюсь, ты же знаешь, какие у меня ножки, какая большая грудь, ты-то привык, не то, что другие, а вдруг он предложит тебе работу на пять миллионов лир в месяц, подарок судьбы, вот оставим Вихря где-нибудь, потом соберем чемоданы, не забудь синий пиджак и белые льняные брюки, я уже говорила, но лучше лишний раз повторить, ты же вечно все забываешь, а завтра утром вызовем такси, сядем в самолет — и вперед, к новой жизни; смотри-ка, этот дурень вздумал лаять, ого, он еще и слюну пускает, все сиденья перепачкает... милый мой Вихрь, ты и в самом деле вихрь: ворвался внезапно и теперь исчезаешь, такова жизнь, ничего не поделаешь, всему приходит конец, рано или поздно наступает такая ночь, когда приходится расставаться друг с другом, подожди, неужели он плачет, нет, ты только послушай, какой у него жалобный голосок, а ведь когда я домой приходила, как ты на меня рычал, а? ты даже зубы скалил, а сейчас подлизываешься, вот ведь хитрец, лицемер, слишком поздно, все кончено, бесполезно ныть, это тебе не поможет, смелее, пупсик, отличное место, ладно, вот здесь у зоопарка, завтра его подберут сторожа, они тут привыкли к животным в клетках, да, выходим, у меня к тому же ноги затекли, подумай, завтра будет еще хуже: четырнадцать часов лету в неудобных креслах, все ноги отсидим, одуреем из-за разницы во времени, зато потом — море, вечеринки, поцелуи, так? мы сразу забудем о Риме, обо всем на свете, я сейчас пробегу метров двадцать, чтобы ноги размять, привяжи пока Вихря к воротам, покрепче привяжи, учти, он не должен отвязаться, а то будет бежать за нами с высунутым языком, и представляешь, какая душераздирающая картина, что ты делаешь, зачем разворачиваешься? здесь тебя тоже не устраивает? тогда подожди, дай мне сесть, подожди, псих, куда ты поехал, куда же ты, дай я сяду, ты что — здесь меня хочешь оставить, одну, ночью, около зоопарка, куда ты поехал, идиот, я уже билеты взяла, пальмы, море, ты, недоделанный, ты и твоя слюнявая собака, оба вы недоделанные, я вас ненавижу, сукины дети, как есть недоумки, вернись, сукин сын, вернись, ну пожалуйста, я же тебя люблю, а как же пальмы...

Расклейщики

ОБА были свидетелями того, как менялась Италия — ночь за ночью, вплоть до нынешней ночи, слишком холодной для середины весны. После войны Иван и Пьетро стали расклеивать плакаты в поддержку Народно-демократического фронта: соперничая с фашистами и христианскими демократами не только в местах, где расклейка плакатов разрешалась, но и на металлических ограждениях строек, на парапетах набережных Тибра, на бетонных стенах общественных туалетов, на стволах огромных платанов и в подъездах богатых домов. Для правды, считали друзья, сгодится любое место.

Уже тогда Иван знал, как из воды с мукой приготовить в старом алюминиевом ведре лучший в мире клей — достаточно нанести его кистью, тонким слоем, чтобы удержать на месте самые справедливые, самые коммунистические слова, призванные изменить этот дерьмовый мир. У Ивана, ему еще и двадцати не исполнилось, были широченные плечи и чистая, как зеркало, душа. Податливый и рассудительный Пьетро был, в отличие от него, тоненький, как тростинка, и любил насвистывать песни борцов Сопротивления. Он раскатывал бумажные рулоны, как персидский купец раскатал бы перед шахом свой лучший ковер. Не случалось ни разу, чтобы хоть один из плакатов оказался сорванным ветром или был приклеен неровно, кое-как, — Гарибальди, изображенный на них, уверенно смотрел в революционное будущее.

В те полные надежд ночи Пьетро и Иван познакомились со своими будущими женами: рыжеволосой коротко стриженной Сарой, активисткой партии, и Марианной, которая зарабатывала на жизнь, торгуя собой на площади Победы. В этом, разумеется, не было ничего страшного, потому что и в любви, и в преданности делу коммунизма все равны. Обе пары расписались в муниципалитете на Капиталийском холме в один и тот же день, были свидетелями друг у друга; на общей фотографии они стоят, обнявшись, и смеются. Родственников, которых приглашают на свадьбу, ни у кого из молодоженов не было, но и так все вышло отлично: сели в грузовичок на площади Венеции, поехали пьянствовать во Фраскати, провели там, в пансионе "У Стеллы", самую сладкую ночь.

Иван и Марианна сняли квартирку на виале Эритреа, а через год, когда на их лестничной площадке освободилась еще одна квартира, туда переехали Пьетро и Сара. По вечерам они ужинали вместе — то у одних, то у других — и строили планы на будущее. Собрания партийной ячейки Пьетро и Иван теперь посещали реже, потому что устроились на рабо-

ту в рекламную фирму и ночи напролет расклеивали всевозможные плакаты, не имеющие никакого отношения к революции. Впрочем, говорили они, нужно зарабатывать, чтобы содержать семью, — особенно теперь, когда наши жены вынашивают детей и обеих замучил токсикоз.

В ведении Пьетро и Ивана находилось восемьдесят рекламных щитов, разбросанных по всему городу. Они должны были следить за их состоянием: заменять покоробившиеся оцинкованные листы и сгнившие столбы. В десять вечера Пьетро и Иван выезжали на небольшом фургоне, в кузове которого лежали рулоны плакатов, складная лестница и пакеты с бутербродами. Тем, кто ничего не смыслит в жизни, такая работа, может, и покажется простой; однако на самом деле точно подогнать полосы, приклеить их так, чтобы не было морщин, и потом, отойдя шагов на тридцать, удостовериться, что все аккуратно и ровно, — самое настоящее искусство. Иногда достаточно плохо приклеить всего один угол, чтобы через несколько часов ветер оторвал всю полосу. Иван и Пьетро понимали друг друга с полуслова: подай, натягивай, больше, меньше, сигарету, едем дальше. Последние плакаты они приклеивали на исходе ночи, когда рассвет уже озарял купола церквей и окна новых многоэтажек. И первые люди, спешащие на работу, могли на ходу любоваться лицами Монтгомери Клиффа и Мэрилин Монро, скутером "Веспа Пьяджо" и автомобильными свечами "Марелли", комиком Тото и термопластиком "Моплен" — огромными, в рост человека, и яркими изображениями, только что появившимися под утренним небом.

Обычно Иван и Пьетро завтракали в баре на пьяцца Аннибалиано, что рядом с фирмой по перевозке мебели. Сегодня платит один, завтра — другой. Покупали сигареты и газету и вместе читали броские заголовки на первой полосе. Иногда они позволяли себе доехать до Остии — не хотели сразу возвращаться домой и заваливаться спать. Они взяли щит и там, чтобы как-то объяснить женам свои запоздалые возвращения. Случалось, на Ивана находила тоска, и он спрашивал, дрожа от холода: "Что ты обо всем этом думаешь, Пьетро?", Пьетро переспрашивал: "О чем?", и Иван, которого на самом деле мучил вопрос, как жить дальше, помолчав, отвечал: "О плакатах". И Пьетро отзывался: "Некоторые ничего", — зажигая последнюю сигарету, самую нервную.

Когда дул зимний северный ветер или лил дождь, Иван своими геркулесовыми руками крепко держал лестницу и Пьетро залезал наверх, а, спускаясь, прежде чем ступить на землю, ставил ногу на плечо друга. "Спасибо, Иван", — говорил он. Деньги они делили пополам, но после Сариной операции три месяца подряд все брал себе Пьетро, и это было

нормально. Через несколько лет они перестали обращать внимание на рекламные изображения как таковые: на загорелых женщин и аперитивы, на разноцветные полоски и странные слова, на пальмы и новые машины. Главное, чтобы плакаты были наклеены мастерски, по всем правилам искусства. У каждого росло по трое детей, причем последний ребенок Пьетро был от Ивана, а средний Ивана — от Пьетро: вышло так, что втайне каждый из двух друзей переспал с женой другого. Потом-то правда выплыла наружу, но оба и виду не показывали, ведь все в этом мире преходяще... Между тем дети росли и вытягивали из родителей деньги, все больше и больше: хотели такой жизни и таких вещей, как на рекламе, у них губа не дура. На большой голове Ивана волосы быстро поседели, Пьетро же совсем облысел и немного сгорбился, а еще его постоянно сотрясал кашель. Когда они отходили на пару шагов, чтобы убедиться, что бумага наклеена как надо, они часто даже не понимали, что там изображено, чему эти молодые блондины на плакатах так радуются. Впрочем, и город — вокруг их восьмидесяти рекламных щитов — изменился. Из кабины фургончика они видели, справа и слева, незнакомые районы и толпы чужих людей, слышали непонятный шум и ощущали непонятные запахи; новые времена не имели ничего общего с теми, что были им памятны. Только фургончик остался прежним. "Может, пора его поменять", — говорил Иван. "На что?" — спрашивал Пьетро.

Дети постепенно обзавелись семьями, некоторые жили теперь в дальних городах. Один сын уехал в Америку изучать какую-то сложную дисциплину. Одна дочка какое-то время работала моделью в Милане, потом устроилась на службу. Свадьбы удались на славу, все это говорили: наперебой хвалили угощения, красивые наряды.

Сара и Марианна ушли из жизни знойным летом — одна за другой, с разницей в один месяц. На похороны Пьетро и Иван надели те же костюмы, что надевали и на свадьбы детей.

Последние годы они работали еще с большим рвением, чем раньше, ни о чем не думая, не желая считаться ни с артритом, ни с тем, что на стремянке у них кружится голова. Разматывали рулоны и наносили клей, меняли одни загорелые лица на другие загорелые лица, одни красные автомобили на другие красные автомобили, одних актеров на других актеров, один плакат на другой. Как будто переворачивали листы календаря, напечатанного в какой-то далекой стране. В дни выборов, выпадавшие на воскресенье, они ездили в Остию и подолгу сидели на скамейке у моря. Однажды ночью Иван подумал, не качнуть ли лестницу, чтобы Пьетро упал, — но это было всего один раз в жизни. "Потом отвезу его в больницу и

останусь там навсегда, буду катать его в инвалидной коляске". А Пьетро как-то ночью, в полнолуние, пришла мысль спилить все столбы рекламных щитов. "Я бы их посадил где-нибудь в другом месте, пусть из них вырастет лес, строгий и голый, из одних стволов".

В шестьдесят пять они вышли на пенсию.

А спустя три месяца вывели из гаража свой фургончик, чтобы, проехав по нескончаемому городу, еще раз взглянуть на свои рекламные щиты. Той ночью, в середине весны, сильный северный ветер выгибал щиты как паруса, так что они дребезжали. Иван и Пьетро объехали их все до единого. За щитами неплохо следили новые люди, возможно, похожие чем-то на героев плакатов и на загадочные надписи к ним. "За ними неплохо следят", — так и сказал Пьетро. "В общем-то, да", — согласился Иван, кутаясь в пальто.

Напоследок они навестили щит в Остии. Он был вкопан рядом с невысоким домом, но от него осталась только рама, в проеме видны были несколько низко висящих над морем звезд. Под верхней перекладиной болтался худой как щепка парень: на шее веревка, руки в карманах штанов, ноги босые. На темной спине длинной майки национальной футбольной сборной — белый номер "два".

Пьетро и Иван с минуту смотрят на парня: ветер медленно раскачивает его и ерошит волосы ему и им. Пьетро шепчет: "Снимем его?", но так тихо, что не слышит собственного голоса. Иван провожает взглядом целлофановый пакет, уносимый ветром вдаль. Потом они заводят фургончик и, возможно, едут в полицию, чтобы сообщить об увиденном, или сразу возвращаются домой — спать.

Перевод Натальи Симоновой

Джузеппе Унгаретти
Стихи

Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова

© 1966 Arnoldo Mondadori Editore S. p. A, Milano
© Петр Епифанов. Перевод, вступительная статья, 2011

Чуть более сорока лет назад, в июне 1970 года, закончилась земная жизнь Джузеппе Унгаретти — одного из самых крупных поэтов итальянского Новеченто, еще при жизни признанного классиком и, одновременно, реформатором национальной поэзии.

Джузеппе Унгаретти, родился в 1888 году в семье эмигрантов, которых судьба забросила из окрестностей Лукки в жаркую Александрию. Отец, трудившийся землекопом на строительстве Суэцкого канала, умер, когда мальчику было два года. После смерти мужа, в поисках средств для жизни, мать поэта содержала небольшую пекарню и управлялась по дому. Здесь, в Александрии, Джузеппе учился в католической школе ассоциации "Дон Боско", а затем в швейцарской школе Жако. Здесь же с ранних лет он увлекся поэтическим творчеством. Главными ориентирами для него были тогда Леопарди, Бодлер, Малларме. В совершенстве изучив французский, юноша не только мог читать любимых поэтов на языке оригинала, но и сам сочинял на нем стихи. Восемнадцати лет он сблизился с революционерами-анархистами из разных стран Европы, которые нашли себе убежище в Александрии, основав здесь что-то вроде коммуны под названием "Красная хижина". Под их влиянием будущий поэт, воспитанный малограмотной, но глубоко верующей матерью, надолго отошел от религии. В 1912 году Унгаретти вместе с матерью и братом переехал в Италию, а оттуда — в Париж, где изучал философию в Сорбонне, слушая лекции прославленного Анри Бергсона. Тогда же началась его дружба с видными деятелями французского авангарда — Аполлинером, Пикассо, Браком, Леже, Модильяни, Сандраром и другими.

Унгаретти, который родился и успел повзрослеть в окружении культуры арабского Востока, в Европе долгое время чувствовал себя чужаком. Ему подчас казалось, что, покинув город и страну своего детства, он лишился жизненной почвы. Именно это острое чувство отрыва от корней сразу после переезда в Италию погнало его в космополитический Париж, где он, как можно судить по стихам, пережил глубокий экзистенциальный кризис. Здесь — почти на глазах Унгаретти — покончил с собой его ближайший александрийский друг Мохаммед, араб, воспитанный в западном духе, с которым вместе Унгаретти сюда прибыл.

...убил себя,
ибо у него
не было больше
Родины.
Влюбленный во Францию
он имя сменил

Назвался Марселем
но еще не был французом
и не умел больше жить
под кровом родного шатра
где тянут медленно кофе
под монотонное пенье Корана

И не знал
как выпустить из груди
песню
о сиротстве своем...

Памяти друга, 1915

Ощущение такого же горького сиротства сопровождало поэта все первые десять лет, проведенные в Европе.

Мечтая сродниться с плотью, кровью и душой своей страны и тем самым обрести на земле твердую опору, в 1915 году Унгаретти ушел добровольцем на фронт. Но и среди катастрофических картин войны его сопровождали повсюду, словно пустынные миражи, видения Александрии и бескрайних пустынь, воспоминания о детстве, юношеской дружбе и первой любви — о лучшем, что было пережито им в Египте. Все это нашло свое отражение в стихах первого сборника Унгаретти "Погребенный порт" (1916), изданного в прифронтовой полосе на деньги знакомого офицера в количестве 80 экземпляров. Этот сборник представлял собой как бы дневник поэта-воина. Стихи писались подчас на огневой позиции, под лучом вражеского прожектора, под артобстрелом, в засаде...

Ночь напролет
в окопе прижавшись
к убитому другу
чей рот
скалился навстречу
полной луне
и окоченелые руки
в мое проникали молчанье
я писал
любовью наполненные строки...

Бдение, 1915

Наконец, страдания, опасности и скорби, перенесенные вместе с товарищами по оружию, делают поэта итальянцем по внутреннему ощущению, страстным патриотом. В одном из стихотворений он сравнивает просоленную и заскорузлую униформу с колыбелью, сработанной руками отца. Как будто окопная грязь, которая изнуряла солдата-пехотинца едва ли не больше, чем повседневная угроза смерти, дала ему обрести ощущение кровного, биологического, единства с землей предков:

...Я сын твой земля
я крепкие корни пустил
в твоем густом перегное
Я в тебе вырастал
как чертополох

с колючей упрямою головою
я жить учился как в саду черенок
утопая в жидкой грязи по пояс...

Растворение, 1916

Телесность, осязательность восприятия мира, свойственная творчеству Унгаретти, отчасти сближает его с Сергеем Есениным. (Кстати, в 20-е годы именно он выполнил первые переводы из Есенина на итальянский.) На наш взгляд, здесь могло сказаться влияние ближневосточной культуры и ментальности. Стоит сравнить фронтовой цикл Унгаретти с военными стихами его литературного наставника — Гийома Аполлинера, или — если брать поэтов с сильной религиозной составляющей — с творчеством Шарля Пеги, чтобы увидеть глубокое своеобразие молодого итальянского лирика. Унгаретти чужды поза воина-рыцаря, героический пафос, он не обращается к религиозным традициям, к славе предков, к "духу нации". Агностик, весьма далекий от церковной веры, он непрестанно живет и мыслит как бы в присутствии Бога. Подобно библейским псалмопевцам и пророкам, он переживает тайны жизни, смерти, человеческих страданий будто костями и утробой. В скупых строчках слышится беззвучный крик.

...Как камень на Сан-Микеле
настолько холодный
твердый
сухой
бесчувственный
и абсолютно бездушный

Как этот камень
таков
мой плач невидимый и беззвучный

Смерть отбывают живя

Я всего лишь творенье, 1916

Не кажется неуместным приложить к стихам Унгаретти сказанное однажды С. С. Аверинцевым о Ветхом Завете: "...Это книга, в которой никто не стыдится страдать и кричать о своей боли. <...> Выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые 'потаенности недр'; это тело не созерцаемо извне, а восчувствовано изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого 'нутра'"[1].

1. С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. — М.: Coda, 1997. — С. 64.

В длительных пеших переходах, в ночных раздумьях поэт скорбит о невозможности вновь безусловно, не рассуждая, по-детски поверить в Бога, подобно набожной матери, подобно боевым товарищам — выходцам из простого народа.

Вон тот поселянин
вверив себя
круглой иконке
святого Антония
печатает шаг
без устали
легкой ногою

Но как одинока
и как бесприютна
душа,
что я без иллюзий
несу за собою

Груз, 1916

Не в силах оправдать неисчислимые бедствия войны промыслом всеблагого Бога, Унгаретти стремится обрести чистоту внутреннего зрения, безусловно приемля мир в его сокровенной гармонии. И на смену недоумению, негодованию, ужасу в его сердце водворяется прозрачная и светлая тишина.

...Но — Бог?
Что же это такое?

Запуганное созданье
расширяет глаза
обнимая
взглядом капельки звезд
и равнину в безмолвном покое

И вновь
приходит
в себя

Пробуждения, 1916

Первый изданный большим тиражом сборник "Радость" (1923) принес поэту известность и сочувственное внимание читателя. Практически сразу Унгаретти начинают воспринимать как самостоятельного автора, стоящего в стороне от существующих литературных школ. В двадцатые годы в

связи с именем Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале и Сальваторе Квазимодо итальянская литературная критика заговорила о новом направлении в итальянской поэзии — так называемом "герметизме". Однако нам представляется избыточным говорить о нем здесь и сейчас в этом контексте: это отвлечет от главного, о чем хотелось бы сказать в этом предисловии, и мало чем поможет читателю в восприятии публикуемых здесь стихотворений.

В 1919 году Унгаретти женится в Париже на Жанне Дюпуа и вскоре возвращается в Италию. Здесь у него рождаются дочь Анна Мария (по-домашнему Нинон) и сын Антонио Бенито (Антоньетто). Следуют, одна за другой, новые книги стихов, работа над переводами европейской лирики (Сен-Жон Перс, Блейк, Гонгора и др.). Критики, журналисты пишут о его поэзии как о "слове, которого в итальянской литературе давно ждали". И не только критики: сборник "Радость" вышел в 1923 году с предисловием Муссолини, с которым Унгаретти был лично знаком со времен войны. Фашизм, зародившийся на гребне патриотического подъема военных лет, поначалу вызвал у него некоторые иллюзии. На рубеже двадцатых им увлекалась большая часть итальянской творческой интеллигенции. Лозунг национального обновления, выдвинутый Муссолини и его сторонниками, был воспринят поэтом очень серьезно. Могли сказаться и личные отношения с дуче, который заботился о том, чтобы выглядеть покровителем культуры. Возможно, не без его содействия в начале двадцатых годов поэт получил прилично оплачиваемую должность в Министерстве иностранных дел, и его семья могла жить, не испытывая материальной нужды. Не выступая против фашистского режима открыто, поэт, однако, никогда ему не прислуживал. В поэзии Унгаретти двадцатых и тридцатых годов (сборник "Чувство времени", 1933) еще больше, сравнительно с фронтовыми стихами, обостряется чувство сострадания и нежности к хрупкой человеческой жизни, что само по себе свидетельствует о непричастности к идеологии фашизма, со свойственным ей культом силы, духом агрессии и расового превосходства. В 1928 году Унгаретти возвращается в католическую церковь. В 1936 году (год начала гражданской войны в Испании, в которую муссолиниевский режим, вместе с Германией, немедленно вмешивается) поэт уезжает в Бразилию, где университет Сан-Паулу предоставляет ему место руководителя кафедры итальянского языка и литературы. Здесь, помимо преподавания, Унгаретти занимается переводами — в частности, переводит на итальянский язык сонеты Шекспира, — но собственных стихов почти не пишет. В Бразилии его постигает большое личное горе — от аппендицита умирает девятилетний Антоньетто. Вместе с треволнениями Второй мировой войны, потеря сына и другие утраты — смерть матери и брата — становятся темой сборника "Скорбь" (1947). Вернувшись в Италию в 1942 году, Унгаретти получает звание академика и профессуру в Римском университете. Тогда же миланское издательство "Мондадори" приступает к публикации полного собрания его сочинений.

В 1943 году, после неудачной попытки устранения Муссолини, в Италию входят немецкие войска. В ответ на поднявшееся по всей стране сопротивление оккупантам немцы проводят повсюду кровавые карательные

акции. Унгаретти оплакивает унижение родины и гибель невинных в уже упомянутом цикле "Скорбь", а также в стихах цикла "Рим в оккупации". Однако после окончания войны недоброжелатели попытались использовать его успех и популярность при прежнем режиме как повод для политических обвинений. Несколько раз Унгаретти пришлось защищать в суде звания академика и профессора итальянской литературы. Старания недругов не увенчались победой: единственное, чего им удалось добиться, — тяжелый инфаркт, который поэт перенес в 1947 году.

В последний период жизни Унгаретти — один из всенародно любимых поэтов страны. За оконченным в 1960 году первым собранием сочинений следует длинный, не прекращающийся по сей день поток переизданий. В 1958 году умирает жена. Сам поэт живет еще двенадцать лет, продолжая публиковать новые стихи, перерабатывая, совершенствуя прежние, много путешествуя по свету. Ему сопутствует слава — награды, почетные звания, переводы на почти все языки Европы.

Однако именно в это время поэт переживает сильнейший в своей жизни экзистенциальный и творческий кризис. С 1959 года по лето 1966-го он практически не пишет стихов. Мало кто знал, что этого открытого, оптимистичного человека, крепкого старика с лучистыми детскими глазами день и ночь преследует мучительное чувство ничтожности прожитого и сделанного, и он с тоскою ждет, когда вслед за душевным опустошением придет и физическая смерть.

Но вот в одну из летних ночей 1966 года 78-летний поэт записывает под заголовком "Пословицы" несколько стихов-афоризмов — как бы некое предсказание, которое, как мы увидим чуть дальше, в скором времени сбудется:

(...) Тот для пенья рожден,
Кто от любви умирает.
Тот рожден для любви,
Кто умирает в пенье.
Кто рожден для пения, тот —
И умирая, поет.
Кто для любви родился,
От любви и умрет.

В сентябре Унгаретти едет в Бразилию — посетить могилу сына. И там же, в Сан-Паулу, неожиданно встречает ту, которую назовет "звездой своего одиночества", 26-летнюю выпускницу университета Бруну Бьянко. Она была дочерью итальянских эмигрантов, юрист по образованию, а по увлечению молодости — поэтесса. Вспыхнувший странный роман вдохновил обоих на создание совместного стихотворного цикла, который был так и назван — "Диалог". Бруна понимала, что единственное, что может она дать престарелому, но пылкому поклоннику, это вдохновение, энергию писать и жить. Так и произошло. Вернувшись в Италию, последние три года жизни поэт живет под лучами далекой звезды — любя, мучаясь, тоскуя по любимой, вновь, как

в далекие годы, слагая "строки, наполненные любовью". Последнее стихотворение на своем веку Джузеппе Унгаретти создаст в январе 1970-го, а в ночь с первого на второе июня умрет в возрасте 82-х лет, следя в ночной телепрограмме за первыми шагами человека по Луне...

При взгляде со стороны, судьба Унгаретти (за вычетом никогда не заживавшей раны — потери ребенка) по меркам XX века может быть названа счастливой. Мало кто из поэтов, как он, еще не достигнув возраста пятидесяти лет, мог получить у себя на родине столь безусловное и всеобщее признание. Несмотря на сравнительное благополучие биографии, главной темой Унгаретти является человек перед лицом страдания и смерти, который, не заслоняясь от них, но принимая с широко раскрытыми глазами и обнаженной душой, еще острее чувствует радость и благодать жизни, наполняя каждый ее миг богатством чувств и прозрений. Это делает его поэтом, чрезвычайно созвучным своей эпохе.

В завершение этой статьи стоит сказать несколько слов отдельно о "Хорах, описывающих состояние души Дидоны", впервые публикуемых ныне на русском языке. Писать "Хоры" Унгаретти начал еще до отъезда в Бразилию, представляя их именно в виде вокального цикла[1]. По ряду причин от первоначального замысла осталось лишь название, а сама работа над текстами была надолго отложена. В 1950 году, в предисловии к своему новому сборнику "Земля обетованная", Унгаретти очень просто объяснил поэтическую идею этого маленького цикла: песнопения "призваны драматически описать расставание с последними проблесками молодости отдельного человека, а также и цивилизации, ибо и цивилизации рождаются, растут, стареют и умирают"[2]. Автор здесь лишь намеком коснулся того, о чем в послевоенной Италии, опозоренной, обложенной репарациями, сотрясаемой политическими кризисами, слишком больно было бы говорить напрямую.

Образ Энея — призрак Империи, стремящейся к горизонтам мирового господства. Той Империи, что рассыпалась безвозвратно еще полтора тысячелетия назад под ударами мечей готов и вандалов. Но в XX веке муссолиниевская пропаганда пыталась реанимировать древние мечты в прежнем блеске и привить их сознанию нации. Декоративно-имперский стиль режима, с орлами, фасциями, мускулистыми статуями военных монументов, смотрелся комично на фоне реального расклада сил в гитлеровской "оси", где Италии было отведено место неравноправного, подчиненного партнера Третьего рейха. Именно из Италии, наполненной доверху развалинами римской славы, как, пожалуй, ниоткуда больше в мире, были видны безнадежные фантастичность и безвкусие идеологии, которую пытались представить вершиной развития национального духа. Джузеппе

1. В 1958 г. "Хоры, описывающие состояния души Дидоны" были положены на музыку выдающимся итальянским композитором современности Луиджи Ноно (1924–1990).
2. Цит. по изд.: Giuseppe Ungaretti. Vita d'un uomo. Tutte le poesie. – Milano: Mondadori, 1970. – P. 566.

Унгаретти был среди тех людей, кто чувствовал это кожей. Когда он возвращался в 1942 году на родину, внутренняя, подспудная его интуиция, вероятно, была созвучна той, что выразила в строках "Реквиема" Анна Ахматова:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Голосом Дидоны в стихах Унгаретти взывает не только брошенная женщина, бессильная освободиться от плотской и душевной привязанности. Здесь кричит во весь голос живая жизнь — в ее противоречиях, в стихийной спонтанности, в сочетании самых светлых, возвышенных, нежных стремлений с безотчетно-разрушительными порывами страсти. Этой живой жизни, жизни "как она есть", направляемой прежде всего инстинктом чувственной любви и деторождения, противостоит, используя, предавая и, наконец, губя ее, как Эней — Дидону, идеология прогресса и экспансии, воля к достижению "высоких исторических целей".

Вера в объективное движение мира к универсальной цели, иначе говоря идея прогресса, господствует над европейской мыслью на протяжении последних двух тысячелетий. Обычно усвоение этой идеи связывают с христианством, с его линейной концепцией истории, которая движется от "Потерянного рая" к "Возвращенному раю", что патетически изображено в двух поэмах Мильтона — памятнике классического самосознания христианской Европы. Но Унгаретти, как следует из самого выбора темы, находит корни идеи прогресса еще глубже — в идее всемирной миссии Рима, ярким манифестом которой явилась в свое время "Энеида" Вергилия. Вергилий впервые показал и жестокость этого устремления к "высшей цели", его противоречие с первичными признаками человечности — любовью, верностью, состраданием. И при этом констатировал, что конфликт неминуем, ибо его причины лежат в коллективном начале, объединяющем людей, поверх семейно-кровных связей, в племенные союзы, государства, империи, военные блоки. Оно всегда объединяет, чтобы разъединить, чтобы сплотить "своих" против "чужих".

Унгаретти не занимается ни историческими обобщениями, ни мифотворчеством. В его интерпретации эпического сюжета ничего не остается от торжественности Вергилиевой поэмы. Звездную славу, которая обещана Энею самим Аполлоном и влечет его к новым странствиям и битвам, Унгаретти, в лице своей несчастной героини, вспоминает только однажды. В предпоследнем песнопении теряющая рассудок Дидона бросает вслед своему любовнику: "Per fetori s'estende La fama che ti resta" — "Вонью разойдется твоя будущая слава!"

Слова Дидоны, полные безмерного отвращения, могли и должны были прозвучать именно тогда, когда Унгаретти их написал, — в годы войны. Кому же следует принять их на свой счет? Они адресованы не только режимам Гитлера и Муссолини, приведшим свои народы к катастрофе и мировому позору. И даже не всей галерее вождей европейской экспансии,

которые под знаменами "цивилизации", "религии", "морали", "прогресса" несли рабство и смерть — от конкистадоров Кортеса и Писарро в XVI веке до бельгийского короля Леопольда в конце XIX. Протест художника обращен против всевозможных идеологий и корпораций, независимо от страны происхождения и цвета знамен, делающих живого человека, его душу и плоть, то инструментом, то расходным материалом во имя достижения сверхчеловечески-идеальных, а на деле бес-человечных целей.

Здесь снова уместно вспомнить Ахматову, у которой образ Дидоны также предстает в связи с темой напыщенной, но внутренне пустой "сверхцели". Лирическая героиня русской поэтессы, в отличие от Дидоны Вергилия и Унгаретти, прощает своего Энея, но в этом прощении *человеку* слышится еще более суровый, хоть и почти немой, приговор самой утопии титанизма, цену идеям, словам и делам которого Ахматова знала вполне.

Ты забыл те, в ужасе и в муке,
Сквозь огонь протянутые руки
И надежды окаянной весть.

Ты не знаешь, что́ тебе простили...
Создан Рим, — плывут стада флотилий,
И победу славословит лесть[1].

В этом прощении кроется — совершающаяся хоть и незримо, но уже здесь и сейчас — победа незаметной, безвестной женской души над пустыми колоссами "великих идей". Но у Унгаретти Дидона погублена окончательно.

Больше шести десятилетий отделяют нас от Италии сороковых годов, скорбно разгребающей завалы американских бомбардировок. Между нашими народами есть и немалая психологическая разница. Нам в России мало свойственно бережное внимание к чувствам женщины, характерное для итальянцев, внимания, которого Унгаретти, естественно, ожидал от своего читателя. Для нас не только в быту, но и в литературе, вопли наших бесчисленных Дидон — не более чем "истерика". Даже явление Цветаевой в психологии российской пишущей и читающей публики ничего, в сущности, не изменило. Однако между темой Унгаретти и исторической реальностью, пережитой и переживаемой еще и поныне нашей страной, есть немало общего. И есть все основания полагать, что итальянский поэт окажется близок, понятен и, более того, нужен современному русскому читателю. Об этом свидетельствует появление в самые последние годы большого числа русских переводов из Унгаретти, которые делают как профессиональные переводчики, так и любители-энтузиасты, размещая их на различных интернет-сайтах.

В оригинале меньшая часть стихов цикла имеет рифму, большая написана верлибром. Я старался сохранить это и в переводе; впрочем, мне показа-

1. "Не пугайся, — я еще похожей..." (из цикла "Шиповник цветет").

лось оправданным в отдельных случаях использовать рифму и там, где итальянский текст ее не имеет[1]. "Хоры" наполнены многочисленными аллитерациями, которые перевод передать не в силах. Унгаретти, писавший с расчетом на особую декламацию (он сам великолепно читал свои стихи), называл "Дидону" одним из самых мелодичных своих произведений.

Хоры, описывающие состояния души Дидоны[2]

I

Вот исчезают тени
лет, уходящих вглубь
той поры, когда душу не рвали тревоги.

Помнишь прежнее — как, словно в юности,
вздымается желанием грудь,
как от искры твоих беспокойных глаз
нежданным огнем весна зажгла
мои расцветшие щеки?

Ты, с кем замерло для меня время,
кто ярость его отогнал прочь, —
насмешка? летучее привиденье?
Сердце израненное — пусть оживет!
Но неужели когда-то пройдет

1. Что касается военных стихов, то в них рифма используется еще реже. Вводя в перевод рифму, я при этом старался с максимальной полнотой передать содержание.
2. Дидона, по римской легенде, изложенной у Вергилия, а еще ранее - у Невия, молодая царица финикийского города Тира, которая была вынуждена покинуть родину, гонимая родным братом, убившим ее мужа в борьбе за царскую власть. Найдя убежище на африканском берегу, Дидона и ее спутники основывают город Карфаген. Эней, во главе небольшого числа троянцев, спасшихся после разгрома Трои греками, странствуя по морям в поисках той земли, где промыслом богов ему предназначено новое царство, на своих кораблях причаливает к берегу Карфагена. Дидона оказывает гостеприимство троянцам, изнуренным жестокой бурей. Вскоре она горячо влюбляется в Энея и пытается оставить его у себя, чтобы сделать своим мужем. Но Эней подавляет в своем сердце ответное чувство, сурово прекращает любовную связь и отплывает в путь. В отчаянии Дидона бросается на меч над разожженным костром, напоследок предсказывая смертельную вражду между Карфагеном и будущим Энеевым царством. (*Здесь и далее - прим. перев.*)

бесконечная ночь,
и уймется немое боренье...

II

Вечер пусть длится —
не погашу света.
И нежный трепет
под сенью притихших веток
однажды вернется...

Смотри, родила
в воде свой отблеск луна[1],
и волнистая рябь
разливает его колыханье...

Вот и не угадаешь, в чем
поистине жизнь была:
в шорохах над пьяным ручьем,
или в той, что одна
нежно внимает в молчанье?

III

В этот час ветер утих.
Море утихло. Все молчит.
В мире только один раздается
безмолвный крик —
сердце мое кричит.
Криком любви, криком позора
кричу, и меня продолжает жечь
пламя, и днем, и ночью:
ведь я — всего лишь безвольная вещь
с той минуты, как под твоим взором
первый раз опустила очи.

Кричу, и горит, и плачет от боли
мое сердце, не находя покоя,
с тех пор, как я —
забытая вещь всего лишь,
что сломал ты и бросил
безразличной рукою.

1. У Унгаретти Дидона, мечтающая иметь от Энея ребенка, говоря о своих любовных переживаниях, неоднократно употребляет образы и выражения, связанные с материнством. Но ее мечте не суждено сбыться.

IV

В душе моей
только борозды ран остались,
эти экваторы в диких зарослях.
Вижу все тот же сон:
влажный густой туман
над болотами, где со всех сторон
мглой обступает бред:
мой любимый, о, если бы нам
никогда не родиться на свет.

V

Мы были еще грудные младенцы,
но в тех, кого любят,
слишком быстро растет нетерпенье;
во сне куда только нас
не уносило желанье!
Вот ранняя вишня,
что расцвела, испуская благоуханье,
прежде срока
раскрывшись навстречу
нежному коварству света,
только позднее войдет в настоящую силу,

а мы с тобой,
проснувшись, ожесточились.

VI

Все свои иллюзии растеряла тайна:
обычная награда за прожитый век.
И, сам в себе изменившись, гнев
по капле раскаянью уступает место.

VII

Онемелая, бродишь в потемках пустых полей,
где ни единого зернышка не сыскать.
Иного счастья душе твоей
уж нечего ожидать.

VIII

Лицо мое твоему лицу
говорит о его секрете.
Лицо мое отражает
милые твои черты.
Но опустели глаза.
И, словно пустошный ветер,
отчаянно бьется наша любовь
в дырявые паруса.

IX

Уж больше меня не влекут ни моря
блуждающие просторы,
ни мучительный отблеск рассвета
на какой-то жалкой листве.

И поминая былую ночь,
что всегда пред моими глазами,
уж больше не упрекаю камень.

Мне, позабытой, образы памяти —
чем они смогут помочь?

X

Ты не слышишь платан?
Не слышишь, как листья шуршат,
падая над рекой
на прибрежные камни?

Свой украшу сегодня закат:
увидишь, как славно
соединится с сухою листвой
багровое пламя[1].

XI

И зачем беглецов,
без передышки, словно тучи,
ветром гонимых, — зачем их

1. Дидона задумала при наступлении темноты броситься в костер, где будут гореть оставшиеся после Энея вещи и вылитое из воска его изображение.

моря простор допустил
к доверчивым нашим огням,
где, чередуясь, трепетно бдели
наши души родные?[1]

Вот уж — дальше бегут...

XII

Открыта бурям, открыта бедам
гавань, что некогда тихою звали.

Где над заливом сияли
созвездья, и небесная твердь
казалось незыблемой. А теперь
переменилось и небо.

XIII

Упавшая с чарующей своей вершины,
о, если б еще она могла подняться —
его любовь, — то я бы равнодушно
пересчитала все ее бессчетные шипы,
рассыпанные по часам да по минутам.

XIV

Чтоб терпеть еще этот свет,
потерянный твой взгляд
хмурится гневно
против жадных его бесчувственных глаз,
которым лучше бы на тебя не смотреть
больше никогда, больше никогда.

Чтоб терпеть еще чужеземца
и безумную гордость его, что ты до сих пор
обожаешь, в глупых мечтаньях, с мольбою пустой, —

1. Дидона говорит о своей родной сестре Анне, разделившей с нею изгнание и труды по обустройству в новых местах. Стремясь заглушить страсть, она в воображении как бы "растворяет" Энея в неразличимой массе его спутников. Теперь для нее все они одинаково — чужаки, неблагодарные пришельцы, которых она противопоставляет "нашим", то есть сестре — единственному оставшемуся у нее близкому человеку — и согражданам-карфагенянам.

готовы судьбе расточать укоризны
твои очи, погасшие и сухие.

Но милости уж не найдут и не брызнут
ни единым лучом,
ни единой слезой
твои очи, погасшие и сухие, —
погасшие, без лучей.

XV

Больше тебе ничего не оставлено,
опустошенная, кроме твоих заблуждений,
и не вьется уж дым,
что безмолвно манил странника
к порогу пустых сновидений.

XVI

Не растекались бы тени кустов,
как в ту пору, когда
была ты манящею розой;
и ночь возвращалась на ложе,
и вздыхали туманы в лугах.
И до первого блеска зари
ты болталась тайком,
ошалелая, в забытьи.

XVII

Если б мог ты продлить
заката крыло бесконечное,

чтобы легкими перьями —
рассеянными лучами —
оно без конца осеняло
прибрежный песок,

то, может, еще оживил бы...[1]

1. "...может, еще оживил бы...", то есть смог бы остановить самоубийство, которое Дидона назначила на этот вечер. Она последний раз пытается бороться с навязчивой мыслью о смерти, взывая к любимому, уже удалившемуся, с безнадежной мольбой о помощи и сочувствии.

XVIII

Гнев оставил поля
с колосьями их в раздоре.
И, время уж близко, город
покинутые позабудет камни[1].

Вижу только, как серые цапли
бродят средь зарослей на болотах,
от гнезд испуганный крик испуская,
и капли повсюду помета
птенцов прожорливых стекают...

...И всего-то надо было одной
спариться глупой вороне,
чтоб столько осталось вони![2]

Слышишь, будет вонять говном
вся твоя громкая слава, и нет
иных на тебе от судьбы примет,

как только одеревенелая подлость,
стоит лишь посмотреть
на твои грязные подвиги.

XIX

Всю гордыню твою
ты в безумных обнажил наважденьях,
в отчаянных заблужденьях.

1. Дидона предвидит как уже скорое — а в реальности совершившееся почти через тысячелетие — разрушение и запустение Карфагена.
2. Слово "ворона" обозначает в итальянском просторечии также и распутную женщину. Очевидно, что Дидона говорит о себе самой. Вместе с любовью к мужчине она "отчуждает" от себя и материнское начало, переступая последний порог, отдаляющий ее расчет с собственной жизнью. Если в первых монологах даже луна представлялась ей матерью, купающей в воде младенца — свое отражение, то теперь вид птичьих гнезд и птенцов вызывает у нее только отвращение и панический страх.

Прекрасная ночь

Деветаки, 24 августа 1916 г.[1]

Что за песня в ночи родилась
и хрустальным отзвуком сердца
созвездья скликает

Что за радость в груди поднялась
ликованием брачного пира

Я был
омутом тьмы —

А сейчас
подобен младенцу
что жадно хватает
губами сосок
мира

В этот миг
я упиваюсь
вселенной

Сан-Мартино дель Карсо

Позиция "Одинокое дерево", 27 августа 1916 г.

От этих домов
ничего не осталось
лишь пара
обломков стен

От скольких
точно таких как я
ничего не осталось
совсем

1. Унгаретти, начиная с первых публикаций, указывал место и время написания стихов непосредственно под заголовком, придавая своим сборникам вид поэтических дневников. Он навсегда сохранил отношение к поэзии как к летописи собственной жизни. Итоговое собрание стихотворений 1914–1960 годов он так и назвал — "Жизнь одного человека" ("Vita d'un uomo").

Каждой могилы крест
вкопан в сердце мое

Нет страны истерзанной боле
чем сердце мое

Рождество

Неаполь, 26 декабря 1916 г.

В пестрый клубок
улиц
я не имею желанья
бросаться

От усталости
мои плечи
настолько изныли

Прошу
вы меня оставьте
пожалуйста
как вещь
что положили в дальнем углу
и забыли

Я нечувственен
ни к чему другому
кроме
простой теплоты сердечной

Стою
и поднимается
над очагом
легкий дымок
в четыре колечка[1]

1. Стихотворение написано во время отпуска с фронта.

Об одной умершей, которую я полюбил, слушая, как о ней говорили ее родные

Смерть отбежала
от взгляда наших немых глаз,
и мука утраты утихла
в одно мгновенье:
в тихой комнате промелькнула сейчас
милая твоя тень.
Гибкая веточка,
вот и снова настал апрель.
И яркий луч юной твоей красоты
ты возвращаешь — так нежно — туда,
где с каждой минутой острей
ожиданье грядущей беды.

Как прежде, мыслям твоим,
слетевшим с задумчивого чела,
уютно и радостно
среди привычных вещей.
Но, ласковая, твои слова
вновь оживляют скорбь,
и рана все горячей.

Тому, кто потерянно любит тебя,
кто жив лишь одной тобой,
жить только памятью
и не обретать, любя,
— неутолимая боль.

1940-е гг.

Александр Стесин

"*Вернись и возьми*"

Obosomakotere nam brebre
Obeko aburokyire[1].

Из текстов *Говорящего барабана*

1

Благотворительный госпиталь Сент-Винсент, находившийся среди развалин и трущоб городского гетто, выглядел на удивление ухоженным. В просторном вестибюле стояло механическое пианино, одаривавшее дневных посетителей ностальгическим попурри. В больничном ларьке продавались открытки и плюшевые игрушки — на случай, если кто пришел навестить больного с пустыми руками. На втором этаже располагались конференц-зал и небольшая библиотека. По утрам из репродуктора доносился умиротворяющий голос штатного священника. Голос обращался к пациентам и работникам госпиталя, наставляя их проповедью или вдохновляя молитвой. Сам священник, оказавшийся долговязым человеком с волосами, глазами и кожей одного и того же пепельного оттенка, в белом халате поверх рясы, появлялся, точно по мановению волшебной палочки, всякий раз, когда дело доходило до сердечно-легочной реанимации. Раз за разом приступая к грудным компрессиям под писк мониторов и перепалку медсестер, я видел его молчаливую осанистую фигуру, ждущую в дверях палаты с готовностью в любую минуту прочитать молитву за упокой. "И вы здесь, отец Дэн?" — "Да, вот пришел подстраховать..."

Полгода назад я подал документы в одну из международных организаций, занимающихся медицинской благотворительностью, получил назначение в Гану, но в последний момент поездка сорвалась. И вот теперь, подписав годичный контракт с католическим госпиталем, обслуживающим захудалый городок под названием Бриджпорт в ста милях от Нью-Йорка, неожиданно оказался в той самой Гане.

© Александр Стесин, 2011
Редакция "ИЛ" предполагает в этом году опубликовать окончание этой документальной повести.

1. Как устал наш хамелеон,
все стремится за море он.

О том, что это Гана, я узнал на собеседовании с возглавлявшей приемную комиссию Викторией Апалоо. Выслушав мое старательное бормотание о "Врачах без границ", о давнем увлечении культурой ашанти и еще бог знает о чем, Апалоо одобрительно кивнула: "Можешь считать, что тебе повезло. У нас в больнице работает много врачей из Африки, причем большинство — как раз из Ганы. Тут, можно сказать, центр ганской диаспоры, я другого такого места в Америке и не знаю. Так что у тебя будет возможность подготовиться: выучить язык и вообще... А через год, если захочешь, мы тебе и без Красного Креста запросто подыщем работу в Аккре или в Кумаси".

Ганцы составляли примерно половину ординаторского коллектива. Вторая половина делилась на африканских соседей (Нигерия, Гамбия, Камерун), представителей индийского субконтинента и остальных. Доктор Виктория Апалоо, дочь верховного судьи Республики Гана, заведовала ординаторской программой, а ее муж, Кофи Аппия Пэппим, — отделением реаниматологии и интенсивной терапии. Они и организовали здесь "ганский филиал", несмотря на приглушенные протесты старорежимных коллег, через не могу усвоивших азы политкорректности. По слухам, один из потесненных зубров все же не удержался и за несколько дней до ухода на пенсию выразил свои мысли на закрытом собрании: "С тех пор как эти двое захватили власть, наша ординатура год от года становится все чернее и чернее".

Пэппим славился фотографической памятью и невероятной способностью производить любые арифметические подсчеты в уме со скоростью калькулятора. Раз в неделю он проводил семинары по реаниматологии. Его лекции, которые посещали и конспектировали даже седовласые светила, были отшлифованы не хуже, чем текст из учебника. При этом было известно, что Пэппим никогда не готовится заранее и не повторяет одну и ту же лекцию дважды. Единственным, что повторялось из раза в раз, было короткое лирическое отступление, история под занавес о человеке, некогда преподававшем Пэппиму реаниматологию в Гане. "Этот человек любил делать трехчасовые доклады, — рассказывал Пэппим, — и, переходя к следующему пункту, всегда говорил *Ну, и в заключение...* и все вздыхали с облегчением, пока наконец не поняли, что *и в заключение* у него — просто вводная фраза... Итак, в заключение..."

В местной ганской общине Пэппима любили единогласно, и столь же единогласно жалели о том, что он выбрал в жены представительницу племени эвэ. Говорили, что женщины эвэ известны своей авторитарностью, так что Пэппиму волей-неволей приходится подчиняться Апалоо — как дома, так и в больнице. Сам он принадлежал к племени ашанти и, как многие ашанти, обладал благородной внешностью. Его

вполне можно было бы представить в роли вождя или честного политика на обложке журнала "Тайм" (Человек года). Да и пестуемый им образ африканского мужа (в обоих значениях слова) был подстать: приветливость и мягкость в обращении, сочетающаяся с внутренней жесткостью, консервативность взглядов, абсолютная серьезность отношения к семье и работе, точное знание, как надо и как не надо.

На фоне отпугивающей безупречности мужа, импульсивная и суетная Апалоо вызывала скорее симпатию. Даже в ее так называемой авторитарности было что-то располагающее. В больнице она имела власть, но популярностью не пользовалась, о чем и сама говорила во всеуслышание. Вообще говорила все, что думает, — часто на повышенных тонах. Мне нравился ее африканский акцент, гласные, растягиваемые таким образом, что кажется, человек всегда говорит с улыбкой, даже когда ругается. Замечательные фонетические ошибки — почти что оговорки по Фрейду: в словосочетании "antisecretory medications"[1] вместо "antisecretory" звучало "anti-secretary"[2], а слово "therapist"[3] она произносила так, что слышалось "the rapist"[4].

Во время утренних пятиминуток Пэппим слушал отчеты ординаторов, одновременно читая новости с вебсайта "гананьюз". Казалось, он вообще не слушает, но стоило ординатору ляпнуть что-нибудь не то, как Пэппим тут же начинал отчаянно мотать головой: "Все неправильно, все неправильно. Разве это респираторный алкалоз? Перепроверь, пожалуйста, по формуле Винтерса". Под его руководством в отделении реаниматологии не допускалось ошибок, не было сбоев. Даже Смерть работала по строгому расписанию, дожидаясь ночной смены, когда рядом не окажется никого, кроме дежурного ординатора и вездесущего отца Дэна.

К. М., 53 года. Кардиомиопатия и застойная сердечная недостаточность, болезненное ожирение и диабет, гипертензия воротной вены, почечная болезнь последней стадии... Перечень его диагнозов тянется, как железнодорожный состав, чьи вагоны невозможно пересчитать, не сбившись со счету. В больницу он попадает не реже, чем раз в три недели. Лучшее, что мы можем предложить ему, — это паллиативная помощь. Одышливый и отечный, он лежит на животе и, вскинув брови, доверчиво смотрит на склонившегося со стетоскопом интерна. Миссис М., не менее отечная и одышливая, сидит у изголовья, сосредоточенно поглощая журнальные сплетни. "На что жалуетесь?" Приподнявшись на локтях, М. со

1. "Противосекреторные препараты" (*англ.*).
2. "Против секретарши" (*англ.*).
3. "Терапевт" (*англ.*).
4. "Насильник" (*англ.*).

знанием дела просит повысить ему дозу мочегонного и выписать справку – "на работу". Глядя на него, невозможно поверить, что он в состоянии справляться с какой бы то ни было работой. "А кем вы работаете?" – "Охранником".

"Чужестранец подобен ребенку: все замечает и мало что понимает", – гласит африканская пословица. Весь первый месяц я работал в дневную смену, понемногу приглядываясь и привыкая к новой жизни. Молодые врачи в Сент-Винсенте, как и везде, спешили на работу ни свет ни заря в отутюженных белых халатах, вкалывали по восемьдесят часов в неделю, набрасывались на залежавшуюся бесплатную пиццу, заводили романы с медсестрами, поносили начальство и пациентов, варились в собственном соку. Пожилые врачи ходили без халатов, отечески похлопывали молодых, никогда не помня как их зовут, внушали доверие пациентам, гоняли накатанный репертуар прибауток и любимых случаев из практики, неусыпно следили за новостями биржи, отставали от времени. Пациенты, в большинстве своем не имевшие медицинских страховок и потому поступавшие с обострениями уже давно перешедших в хроническую стадию заболеваний, задерживались и возвращались, привыкали к постельному режиму и больничной пище, готовились к худшему и, выходя на непродолжительные прогулки в сопровождении сиделок, с рассеянным удивлением оглядывались на механическое пианино.

"В общем, Сент-Винсент – неплохое местечко, только сегрегации многовато", – резюмировал нигериец Энтони Оникепе. Худощавый парень с близоруким прищуром и аккуратной козлиной бородкой, он почему-то напоминал мне молодого Чехова с хрестоматийных фотографий (если Чехова представить нигерийцем). Даже круглые очки, которые он то и дело прикладывал к переносице, не надевая, походили на чеховское пенсне. А может быть, он просто ассоциировался у меня с Чеховым из-за своего имени: Энтони Пол. Во всяком случае, пьес он, кажется, не писал и о русском тезке знал так же мало, как я о его любимом Сиприане Эквенси.

К моменту нашего знакомства Оникепе отбывал второй год "ординаторской повинности". Он стал моим первым напарником, когда после месяца легкой жизни меня перевели на ночную смену. До этого мы встречались несколько раз на консилиумах, но толком не познакомились. Говорили, что на государственном лицензионном экзамене он набрал какое-то неслыханное количество очков, вышел одним из первых по стране и получил поздравительное письмо чуть ли не от самого министра здравоохранения.

– Босс! – поприветствовал он меня в начале нашего первого дежурства.

— Кто?

— Ты, кто же еще. Ты — босс, ты уже третью неделю тут дежуришь, а я только заступаю.

— Да, но до этого я дежурил в дневную, под присмотром Пэппима. Это не то же самое.

— Не переживай, босс, все будет нормально.

Мы расположились в ординаторской.

— Так ты, я слышал, собираешься в Гану. Но ведь ты же из России. Зачем тебе Гана? Если уж приспичило куда-то ехать, то почему бы не в ту же Восточную Европу?

— Нельзя все время смотреть в одном направлении — шея одеревенеет.

— О, ты уже и поговорками начал говорить. Совсем как африканец. Слушай, а в России люди ходят с оружием или без?

— Да вроде без. Как-никак в мирное время живем.

— А-а, — протянул он с явным разочарованием и открыл ноутбук.

— То есть кто как, наверное... Хулиганов везде хватает.

— Это уж точно, — он разом оживился и отвел глаза от ноутбука, — у нас в Нигерии такое бывает, что этим неженкам-американцам и не снилось.

— Могу себе представить, — я снова попал не в ту тональность. Взгляд моего собеседника уже скользил по экрану ноутбука. — Вернее нет, не могу, конечно, представить себе, как у вас там в Нигерии. Неужели прямо так с оружием все и ходят? И стреляют? Среди бела дня? — Ноутбук захлопнулся.

— В общем, слушай. Еду я как-то домой с работы. В бардачке, понятное дело, смит-вессон. Время позднее, дорога пустая. Вдруг вижу: хвост за мной увязался. Я сразу смекнул, что это такое. Киднэппинг. У нас это в последнее время часто встречается. Охотятся на врачей, адвокатов, на состоятельных людей в общем. Берут в заложники, и семья выплачивает, сколько есть. Короче, едут они за мной всю дорогу, не отстают. Главное, фар не включают. А я их специально повез окольными путями, чтобы проверить. Часа два катались. И вот вывез я их на окраину города, там уж совсем безлюдно. Всё, думаю, парни, покатались и хватит. Резко торможу — они в меня чуть не врезались. Достаю смит-вессон, открываю окошко и — бац, бац! — делаю два предупредительных выстрела в воздух. Ты бы видел, с какой скоростью они развернулись и начали от меня улепетывать! Или вот еще. Просыпаюсь я раз ночью, слышу в саду у нас какое-то шебуршание. Подхожу к окну, смотрю: так и есть, грабитель. Беру отцовскую винтовку, открываю тихонечко дверь на балкон. Ни с места, падла! Он стал как вкопанный, пялится на меня. Говорит: что ты собираешься делать? А ничего, говорю, не собираюсь делать. Так постоим. Утром мой батя проснется — вызовет полицию.

Стой, говорю, и жди. Если шевельнешься, прикончу тебя в два счета. Так до утра с ним и простояли.

— А потом?

— А потом все, как я сказал. Проснулся отец, вызвал полицию, повязали ворюгу... Ну, теперь твоя очередь. Как там в России?

Я принялся перебирать размытые акварели детской памяти в поисках какого-нибудь подходящего эпизода. Блеклое воспоминание о том, как на большой перемене сражались с вихрастым Лешей Даниловым из шестого "Б", не вдохновляло. Наконец, так и не вспомнив ничего остросюжетного, я решил обратиться к чужому опыту и стал пересказывать лагерные страшилки, которых наслушался на Северном Урале. Пересказывал через пень-колоду, так и не решив, от чьего лица ведется повествование. Энтони подбадривающе кивал, периодически хмыкал и цокал, а дослушав до конца, выразил удовлетворение и повторил, что "неженкам-американцам не снилось". Я с важным видом поддакнул. Каждый из нас был доволен тем первым впечатлением, которое он сумел произвести на другого. Оставалось только достать традиционную чекушку и выпить за русско-нигерийское братство. Вместо чекушки Энтони извлек из портфеля упаковку овсяного печенья. "Будем считать, что это печенье у нас вместо ореха кола. В Нигерии этим орехом принято угощать в знак дружбы".

Заголосили пейджеры. "Срочный вызов, срочный вызов! — подхватил настенный динамик. — Восьмой этаж, палата тридцать один". Энтони торопливо завернул остатки печенья в салфетку и, сунув в нагрудный карман, махнул "айда". "Главное, не нервничай", — бросил он, пока мы неслись по коридору.

К нашему прибытию в палате уже царила неразбериха. Мониторы и прочие устройства звенели на все лады. Медсестры сновали туда-сюда, перекрикивали друг друга, безуспешно пытались выпроводить рыдающую семью. Протискиваясь к постели больного, я тормошил то одного, то другого из присутствующих медиков в попытках получить хоть малейшие сведения: я, как и Энтони, видел этого пациента впервые. Но толку ни от кого было не добиться, а медкарта, как всегда, куда-то запропастилась. И тогда я увидел Энтони Оникепе в действии. Он стоял в боевой стойке — широко расставив ноги, слегка запрокинув голову — и спокойным голосом отдавал распоряжения. Пока я, путаясь в формулах, вычислял оптимальные параметры для ИВЛ, он уже диктовал эти параметры пульмонологу, шпарил дозировки и последовательность введения нужных препаратов. Мельком взглянув на распечатку ЭКГ, моментально назвал редкий тип аритмии и связанный с ним синдром. Через пять минут он и без мед-

карты уже знал всю историю болезни. Когда давление и пульс были стабилизированы, он повернулся ко мне.

— Ну что, босс, надо ставить подключ. Ты умеешь?

— Умею. Но ты, если что, подстрахуй, ладно?

— Э-э... Видишь ли, мне противопоказано прикасаться к катетерам, скальпелям и прочим процедурным штуковинам. Это опасно для меня самого, не говоря уже о пациенте. У меня, босс, руки из жопы растут. На тебя вся надежда.

В это верилось с трудом. Скорее всего, он предоставил мне катетеризировать подключичную вену, чтобы я почувствовал, что и от меня есть какая-то польза.

— Сколько лет ты проработал врачом до поступления в здешнюю ординатуру? — спросил я, когда мы возвращались в ординаторскую.

— В Нигерии-то? Да всего полтора года.

— Тогда давай колись: в чем секрет твоего мастерства?

— А я шахматист... То есть был шахматистом, когда в школе учился. И на уроках, вместо того чтобы слушать, все время в уме партии проигрывал. На ходу сориентироваться нельзя, тем более когда вокруг тебя галдят медсестры. Этого никто не умеет. Надо заранее проигрывать все возможные партии. Кто больше партий знает, тот и гроссмейстер.

На следующий вечер все повторилось точь-в-точь: овсяное печенье, маловероятные истории о стычках с нигерийскими бандитами (этих историй у моего напарника было пруд пруди, и рассказывал он их взахлеб, как насмотревшийся боевиков третьеклассник). Затем дребезжание пейджеров, перебежки от одного срочного вызова к другому, медицинское всеведение Энтони и моя беспомощность, якобы компенсируемая успешным введением центральных катетеров. То же самое было и на третий день, и на четвертый. Через неделю уже почти не верилось, что в жизни бывает что-то еще. В дневное время я отсыпался. А к вечеру, с трудом пробудившись, напяливал хирургическую пижаму и белый халат, накачивался кофе, шел по опустевшему этажу мимо пропускного пункта и справочной будки, где пожилой вахтер, день и ночь указывающий посетителям, как пройти в стационар, привычно тычет указательным пальцем в пустоту коридора, будто пытается ее проткнуть или нажимает на какую-то невидимую кнопку. В пятом часу утра обычно наступало затишье. Я укладывался на скрипучую койку в дежурной комнате и пытался заснуть, положив пейджер рядом с подушкой. Но сон, как вода, послушная закону Архимеда, не давал погрузиться в него до конца и в какой-то критической точке засыпания выталкивал сознание обратно на поверхность.

"Чтобы я здесь твоего мата больше не слышал! Вернешься за решетку, там будешь материться!" Сизоносый лендлорд Берни орет

на одного из жильцов. "Ишь ты, блюститель порядка нашелся! Да у тебя в здании крэком торгуют направо и налево, ты у меня, сука, сам скоро сядешь!" Они топчутся у входа в подъезд, набычась и напирая грудью, но до драки не доходит. Оба в стельку. "Эй Джей! Эй Дже-э-э-й!" Это неугомонная Лиз из квартиры 3А кличет свою собаку. Лиз — вольная птаха со справкой ("шизоаффективное расстройство"). Без работы и без пособия. С жилплощадью постольку, поскольку подруга лендлорда Берни. Ее прокуренный голос можно услышать в любое время суток, и всегда — один и тот же надрывный зов. Эй Джей не отзывается.

Через дорогу виднеются декорации в стиле "после бомбежки". Лет тридцать назад там начинали строить что-то основательное, да так и не начали. Реалии гетто — это почти родное, знакомое чуть ли не с детства. Свои первые два года американской жизни я провел в "черном" районе Чикаго, там и английский выучил, в связи с чем некоторое время говорил с русско-негритянским акцентом. Те же измалеванные граффити кирпичные здания, зарешеченные окна с выбитыми стеклами, лианы пожарных лестниц.

Огорошенные безденежьем и культурным шоком родители были готовы почти на все, но, взглянув на эти фасады, кое-как сориентировались и подыскали нам комнату на троих в студенческом общежитии. Так что о том, как выглядят пресловутые "проджекты" изнутри, я узнал только год спустя, когда впервые попал в гости к пуэрториканцу Масео, моему не то чтобы закадычному, но единственному об ту пору другу. Увидав меня на пороге, отец Масео не стал скрывать своего удивления: "Эй, Масео, ты что, совсем спятил, сынок? На хера ты притащил сюда это белое чмо?" — "Да какой же он белый, пап? Он — Russian".

Когда запас нигерийских небылиц наконец иссяк, Энтони переключился на разговоры за жизнь, которые неизбежно сводились у него к обсуждению расовых отношений.

— Ну, и как тебе наше богоугодное заведение? — спросил он, подводя беседу к излюбленной теме.

— Пока что мне все нравится, — отчеканил я как истинный американец.

— Да, Сент-Винсент — неплохое местечко. Только сегрегации многовато.

— В каком смысле?

— В прямом. Ты думаешь, у нас тут дружба народов, медики всех стран соединяйтесь? Черта с два. Африканцы отдельно, индусы отдельно, евреи отдельно. Врачи и медсестры порознь. Каждый обороняется и держится своих. Ты еще не знаешь всех наших подводных течений. Даже среди африканцев. Тут правят ганцы, а я — нигериец. Нигерийцы и ганцы друг друга терпеть не могут.

— Ну, у соседствующих народов, кажется, всегда так.

— Верно. Только нигерийцы — это не народность, а пятьдесят народностей. То же самое и в Гане.

— Но ведь ганцы взяли тебя в ординатуру.

— Взяли. Но считаться со мной здесь стали, только после того как я получил высший балл на их ординаторском экзамене.

— Да, я уж наслышан об этом экзамене. Ты там, насколько я понял, побил все рекорды.

— Было дело, — Энтони хлопнул себя в грудь, погрозил кулаком невидимому врагу и потянулся за овсяным печеньем. С минуту он молча жевал, как будто с трудом припоминая, о чем только что собирался говорить. — Сегрегация, сегрегация... Да! Тут ведь вот еще что: у каждого человека должна быть своя этническая неприязнь. Должна быть хоть одна группа людей, которую ты не любишь. Всетерпимость — это выдумка бывших линчевателей. Человек не может жить без предрассудков. Я, например, недолюбливаю арабов и персов. Могу даже сказать почему.

— Ну и почему?

— Из них выходят плохие врачи. Они наплевательски относятся к пациентам.

— Хорошо, а что ты в таком случае скажешь об африканцах?

— Африканцы к пациентам относятся хорошо. Африканцев, если ты, конечно, не отпетый расист, легко любить, пока не сойдешься с ними поближе. Наш конек — личное обаяние.

— Да ты, похоже, никого не любишь. Кроме пациентов.

— Ну что ты, я не мизантроп. Это — к Нане. Ты, кстати, знаком с Наной?

— С какой из них?

— С медсестрой. Нана Нкетсия. Она у нас в реанимации по ночам работает.

— Нет, кажется, незнаком.

— Тогда пойдем, пока пейджер молчит, я вас познакомлю.

Наной в Сент-Винсенте называли всех и каждого. На языке чви "нана" означает вождь. Среди молодежи это слово используется в качестве дворового обращения, что-то вроде "начальник". "Нана, — кричали друг другу лихие ганские парни, — завтра на ковер к Пэппиму!" Во втором значении "нана" — это бабушка. Ашанти и другие аканские племена часто называют детей в честь предков, причем обозначение родственной связи тоже является частью имени. Скажем, если имя бабушки, в честь которой назвали внучку, было Эси, то девочку так и будут звать: Нана Эси — Бабушка Эси. Во взрослом возрасте вторая часть обычно отбрасывается и остается просто Нана — распространенное женское имя.

— Нана Нкетсия!

— Ога![1]

— Этэ сэйн![2] Вот познакомься: Алекс, мой новый напарник. Бывший сибиряк и будущий ганец.

— Бывает, — сочувственно сказала Нана.

У нее были огромные зеленые глаза и темно-оливковая кожа. Я попытался угадать составляющие фенотипа: вряд ли она была чистокровной африканкой, но и на мулатку не похожа, скорее какая-то островитянская примесь. Так или иначе, это была красавица, каких поискать.

— Нана у нас принцесса в изгнании. Мало того, она исключительный кулинар. Чем ты нас сегодня угостишь, Нана?

— На тебя не напасешься. — Нана открыла медсестринский холодильник и достала кастрюлю с яствами.

Пока Нана распределяла еду по бумажным тарелкам, Энтони принес из палаты чистую простыню, постелил ее на полу, и через пять минут мы сидели уже не в дежурке, а в африканском оби, где, принимая гостей, разламывают орех кола и рисуют мелом ритуальные узоры. "Чувствую, сейчас нас вызовут", — вздохнул Энтони, все время ждавший от жизни какого-нибудь подвоха. И оказался прав.

Мануэля С., 46 лет, доставили в травмпункт вместе с супругой. Встав спозаранку, С. зарядил револьвер, выстрелил в собиравшуюся на работу жену, затем застрелился сам. "Скорую" вызвал их сын, Мануэль-младший. Каким-то чудом оба супруга остались живы, но глава семьи об этом никогда не узнает: его привезли уже в состоянии церебральной смерти и теперь держат на вентиляторе исключительно в качестве потенциального донора для пересадок. Мануэль-младший растерянно переминается с ноги на ногу, стоя рядом с носилками, на которых лежит его мать. С трудом выдавливая членораздельную речь, она дает ему указания: "Позвони в школу, скажи, что заболел, позвони бабушке, скажи, что останешься у нее".

2

— Ну, что у вас тут?

— Да вот, доктор, пациент порывается сбежать, говорит, что опаздывает в школу. Может, пять миллиграмм галоперидола?

Желтушный дистрофик с раздутым пузом и запекшимися губами, лавирующий между белой горячкой и деменцией Корсакова, — привычное зрелище в любой городской боль-

1. Большой человек (*йоруба*).
2. Приветствие ашанти.

нице. Однако в Сент-Винсенте их количество было поистине рекордным. По ночам к ним наведывались невидимые гости, и скромный католический госпиталь превращался в "лес тысячи духов". Даже в ординаторской не удавалось укрыться от этой фата-морганы — только и слышишь, как из одной палаты всю ночь доносится: "Лэрри, это ты? Лэрри!", а из соседней: "Дядя Патрик? Где дядя Патрик?" С тех пор как из Бриджпорта вывели последнее крупное предприятие, алкоголизм стал основным занятием мужского населения города.

Человек-скелет лет пятидесяти метался в кровати, силясь высвободиться из медицинских наручников.

— О-о, так это же наш старый знакомый Джон Макпадден! — почти обрадовался мой напарник. — Я его три недели тому назад в приемнике откачивал. Как самочувствие, Джон?

Человек-скелет перестал метаться, злобно посмотрел на Энтони и сказал неожиданно твердым голосом: "Мне надо в школу".

— Зачем тебе в школу, Джон? Посиди дома, завтра пойдешь. Я тебе справку выпишу. Скажем учительнице, что ты заболел.

Как ни странно, увещевания подействовали. Пробормотав что-то обиженно-невнятное, больной еще пару раз дернул наручники и устало опустил голову на подушку. Через три минуты он уже спал.

— Ну что? — оскалился Энтони. — Как тебе мой пациент?

— Делириум тременс, страшное дело.

— Ошибаешься, босс. Он бросил пить полгода назад. Это — энцефалопатия. У него печень отказала, а заодно и все остальные органы. Когда он к нам поступил, хирурги думали делать анастомоз, но теперь об этом, конечно, речь не идет. Если его положить на операцию, он на операционном столе и умрет. А без операции умрет тем более. Шах, мат. Я уже говорил с его сестрой — она у них принимает все решения. Согласилась на хоспис. Но он, я боюсь, и до хосписа-то не дотянет.

— А что из себя представляет сестра?

— Сестра у него хорошая. И брат хороший, Брайан. Они его каждый день навещают. Надо будет завтра пораньше прийти, чтобы их застать. Брайан живет в Колорадо, неделю назад прилетел. Жалко их очень.

В паллиативном отделении, куда Макпаддена вскоре перевели из реанимации, уход за пациентом вели, в основном, медсестры. Для того чтобы периодически менять капельницу с морфием в ожидании смерти, врачи не нужны. Каждый вечер мы с Энтони заходили к нему на пять минут по пути на дежурство. Джекки Макпадден, дежурившая у постели брата денно и нощно, давала нам подробные отчеты.

— Мне кажется, ему становится лучше. Еще вчера он нас с Брайаном не узнавал, а сегодня утром говорит: "Завещаю вам свое богатство в размере недопитого 'Джонни Уокера'". Сказал, что нас любит, что мы — единственное, что у него есть. — Джекки вытерла слезы. — И еще сказал, что проголодался. Жаль, что ему нельзя.

— Чего нельзя?

— Есть...

— Разве его здесь не кормят?

— Медсестра сказала, что врачи запретили давать ему пищу. Она говорила про какой-то больничный протокол, я толком не поняла.

— Какой протокол? Энтони, ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное?

Но Энтони уже не слушал. Пробормотав что-то вроде "я сейчас", он зашагал по направлению к медсестринской. В этот момент его лицо походило на догонскую маску разъяренного духа, и молоденькая медсестра шарахнулась в сторону.

— Это вы ведете уход за пациентом Макпадденом из сорок седьмой палаты?

— Да, доктор... Что-нибудь случилось?

— Будьте любезны, принесите ему еды. Прямо сейчас.

— Извините, доктор, но это не ваш пациент, — уверенно возразила медсестра, оправившись от моментального испуга, — завотделением, доктор Рустам Али, дал нам четкие указания. Мы имеем право давать больному только обезболивающее, а больше ничего. Это ведь пациент хосписа.

— "Хоспис" не означает: морить человека голодом.

— Доктор Али дал нам четкие указания.

— Дай ему поесть, дура.

Десять минут спустя медсестра вернулась в сопровождении щуплого человечка, передвигавшегося чарли-чаплинскими шажками, как будто его ступни поссорились и демонстративно отворачиваются друг от друга.

— В чем дело? — сурово спросил человечек.

— Хотелось бы узнать, почему больному, который просит есть, отказывают в пище.

— Наша медсестра вам уже все объяснила. Мы оказываем паллиативную помощь, то есть снимаем боль. Питание может продлить выживаемость, а это в данном случае не является нашей задачей.

— Вы это всерьез? — поинтересовался Энтони. Его воображение, кажется, уже шарило в мысленном бардачке в поисках смит-вессона.

Али поджал подбородок, придавая лицу выражение скорби.

— Да, ты пойми, Энтони, — начал он задушевным тоном, — я такой же идеалист, как и ты. Но это безнадежный больной,

он должен был скончаться еще в реанимации. Как бы мы ни старались, мы для него ничего не сможем сделать, ты сам это прекрасно знаешь.

— Как скажете. Завтра мы представим этот случай перед административной комиссией.

— Послушай, Оникепе, тебе не надоело строить из себя Мать Терезу? У нас благотворительный госпиталь с весьма ограниченным бюджетом. Мы и так тратим на этих людей больше, чем можем себе позволить... Ты все сводишь какие-то личные счеты, а мне это неинтересно. Мой тебе совет, не раскачивай лодку. Вылетишь из ординатуры, вот и все.

Через три дня Макпаддена не стало. Благотворительный фонд Сент-Винсента помог семье усопшего с оплатой похоронных расходов.

3

С появлением Наны наша рутина изменилась: теперь мы каждый вечер гостили у нее в медсестринской. Энтони приходил в гости с овсяным печеньем, а я — с учебником чви-ашанти. В перерывах между вызовами я усердно осваивал диалоги и элементарную грамматику. Нана экзаменовала и поправляла произношение. Энтони сидел на полу, увлеченно печатая что-то на своем ноутбуке. Временами он прерывался, чтобы позлорадствовать: "Ну что, полиглот, не дается тебе их ганский язык? Надо было учить йоруба". С ганским языком у меня и впрямь было туго, особенно с произношением: мой речевой аппарат наотрез отказывался артикулировать все эти носовые и огубленные звуки. Кроме того, чви, как и многие африканские языки, — это язык тональный, и тут меня подводило ухо, по которому прошелся медвежий выводок. Будучи произнесенными с неправильной интонацией, мои слова приобретали самый неожиданный смысл. Например, я хотел сказать "хорошо", но, перепутав высокий тон с низким, говорил "вентилятор".

— *Вентилятор?* — переспрашивала Нана. — Ты хочешь сказать, что тебе жарко?

— Да нет, не "па!па!", а "па!па" — *хорошо, хороший...*

— Что? *Папа?* Чей папа? Доктор, я вас не понимаю.

— Квэйду вура, тэ со![1] — отвечал я единственной фразой из разговорника, которая получалась у меня без промашки.

Пожилой африканец в цветистой полотняной рубахе прохаживается по приемной и с видом посетителя музея разглядывает настенные памятки и дипломы.

1. Продавщица бананов, сбрось цену!

— Доброе утро, доктор, как самочувствие?

— Хорошо, спасибо. Как ваше?

— Откуда мне знать? Вы доктор, вы и скажите, как я себя чувствую. — Он подходит к окну. — Пусто на улице, как будто вождь умер.

— Что-что?

— Поговорка такая. У нас в Гане в прежние времена, когда вождь умирал, полагалось отрубить семь человеческих голов и похоронить их вместе с ним. Кто пожертвует головой ради вождя? Тот, кто еще ни о чем не знает. Выйдет человек на улицу, тут его стража и хватает. Кто поумнее, сразу сообразит: если не хочешь отправиться в Город мертвых вместе с вождем, в день похорон сиди дома. Сейчас-то все изменилось, вместо голов деревянные маски кладут. Но поговорка осталась. В следующий раз услышишь, будешь знать, о чем речь.

Я поглядываю на часы.

— Госпиталь Сент-Винсент... — задумчиво произносит ганец, — католический. И дипломов-то сколько, почетных грамот! Чуть ли не на каждой стенке.

— Вас что-то не устраивает?

— Да вы не обращайте на меня внимания. Я просто старый солдат, а солдаты, как известно, большим умом не отличаются.

У меня звонит пейджер, и я отвлекаюсь.

— Что-то доктор совсем потерял ко мне интерес, — обращается он к невидимому свидетелю. — Может, я для него недостаточно болен?

— Простите, что отвлекся.

— Прощаю. Но не понимаю. Вот я вчера пришел в вашу поликлинику, потому что у меня болел живот. А сегодня мне говорят, что у меня диабет.

— Это действительно так, мистер Смит. Я просмотрел результаты ваших анализов.

— Вот как? Беда-то какая... Я ведь, знаете, в вашем городе проездом. Заехал навестить кое-кого из знакомых. Завтра уезжаю.

— А где вы живете? В Гане?

— Где только не живу.

— Хорошо, я выпишу вам рецепт на глюкофаж. А когда вернетесь домой, обязательно обратитесь к диабетологу.

— Непременно, доктор. Я вижу, вы — настоящий знаток своего дела. И госпиталь ваш мне понравился. Кстати, передайте от меня привет Нане Нкетсия. Знаете такую? Она у вас тут, кажется, прачкой работает.

— Не прачкой, а медсестрой. Передам.

— Слушай, Нана, мне тут один пациент попался. Из Ганы. В регистратуре он записался как Джон Смит, но что-то непохоже. Отрекомендовался "старым солдатом". Очень странный тип.

— Ну и что?

– Как что? Ты разве его не знаешь? Он просил передать тебе привет.

– Вот ты и передал.

– Не томи, квэйду вура.

– Это мой дядя, полковник Нкетсия. Он приехал навестить каких-то своих знакомых, а заодно и обо мне разузнать. По поручению отца, не иначе.

– А почему под чужим именем? Он что, от кого-то скрывается?

– Да нет, просто придуривается. Пытается убедить себя, что он все еще важная персона.

Нана Эфуа Аба Анна Нкетсия родилась и выросла в богатой части Аккры, в доме, который, судя по фотографиям, правильнее было бы назвать дворцом. Ее дед по материнской линии, Буду-Артур Нана Кобина IV, был верховным вождем племени фанти и одним из сподвижников африканского борца за независимость Кваме Нкрума. Когда Нкрума был избран первым президентом свободной Ганы, дед занял пост ректора Лагонского университета, продолжая при этом исполнять обязанности оманхене[1]. Главным образом, обязанности заключались в том, что во время торжественных церемоний его наряжали в королевское кенте и проносили на паланкине через ликующую толпу. Эти церемонии – шествие масок, клич говорящих барабанов, жертвенные обряды – Нана описывала так же трепетно, как Энтони – свои гангстерские подвиги. С каждым разом ее воспоминания становились все более красочными; трудно сказать, что в них было придумано, а что нет. Как гласит присловье ашанти, "когда жрец пускается в пляс, все, что он говорит, – чистая правда".

Отец Наны владел крупной компанией, импортирующей лекарства, а также сетью аптек, разбросанной по всему Центральному региону. Он был ганцем только наполовину: бабка, в честь которой назвали Нану, была уроженкой Канарских островов. В свое время брат отца, полковник Нкетсия, был влиятельным политиком и лидировал в роли кандидата на пост президента. После военного переворота Джерри Ролинса в 1979 году, Нкетсия бежал в Англию, где ему удалось получить политическое убежище. В Англии он занялся фотографией и несколько раз выставлялся в одной из лондонских галерей.

Я все время ловлю себя на том, что "притягиваю за уши" общность детских воспоминаний. Сталкиваясь в Америке с людьми из самых отдаленных точек мира, я старательно вы-

1. Вождь народов.

сматриваю в их рассказах некий исходный опыт, который роднил бы китайца или индуса с выходцем из России. Наверное, это и есть менталитет эмигранта, сколько бы я ни убеждал себя, что я — не эмигрант. В школьных рассказах Наны искомых узнаваний было сколько угодно. Тут не приходилось ничего додумывать. Все было знакомо и в то же время утрировано до пародийности. После того как Ролинс провел государственную реформу образования, из школьной программы в Гане полностью исключили все пережитки колониального периода — в первую очередь, европейскую историю и литературу. Химию, физику и биологию сократили до одного предмета под названием "точные науки". Зато ввели историю африканского освобождения, а также основы сельского хозяйства и скотоводства. Школьники учились отличать по цвету и запаху десять видов почвы; узнавали о выведении новых пород домашнего скота, об усовершенствованных технологиях дойки. Проводились соревнования классов по выращиванию помидоров. Следующим шел предмет "жизненные науки", на котором учили класть кирпичи и работать с мачете. В шестом классе девочки шили фартуки, а в седьмом — готовили в этих фартуках традиционные похлебки, которые уписывал весь преподавательский состав. Летом учащихся посылали на практику — выкапывать ямс. И т. д. и т. п. Все знакомо, от линеек и Доски почета до истории о том, как на рождественских каникулах учитель истории повел старшеклассников в поход, где напился пальмового вина, после чего его искали всю ночь и нашли к утру мирно спящим в чьем-то огороде. Чем больше я слушал, тем труднее мне было представить себе это африканское детство, где королевские церемонии и украшенный золотом паланкин сочетались с уборкой картошки и пионерскими песнями у костра. Правда, песен под гитару как таковых в рассказах Наны все-таки не было. Вместо них фигурировали пионерские пляски под барабан.

Когда дочери исполнилось четырнадцать лет, родители, слабо верившие в преимущества новой системы образования, решили последовать примеру самого Ролинса: перед тем как учредить реформу, глава правительства предусмотрительно отправил собственных детей учиться за рубежом. Ближайшим родственником Нкетсия за границей был осевший в Лондоне брат отца, но обращаться к нему представлялось опасным. Бывший полковник, хоть и переквалифицировался в фотографы, продолжал оставаться политической persona non grata. Словом, Нану отправили в штат Вирджиния, где жила Тетушка Майя, она же — афроамериканская писательница Майя Энджелоу, вторая жена покойного деда Кобина IV. В Вирджинии Нану отдали в дорогую частную школу,

где она оказалась единственной негритянкой. "Можешь себе представить, как мне там было уютно". Впрочем, в среде американских негров, с которой она столкнулась позже, African princess встретила не больше понимания, чем среди белых южан.

После окончания школы Нана поступила в Пенсильванский университет, где без энтузиазма училась то на психолога, то на экономиста. И вот в один прекрасный день на нее снизошло озарение в форме газетного объявления. Агентство такое-то предлагает медсестринские курсы и нанимает на работу в должности "странствующей медсестры". Есть, оказывается, и такая профессия. От обычной медсестры это отличается условиями контракта и тем, что в роли первичного работодателя выступает не больница, а частное агентство по трудоустройству. Агентство занимается поиском временных вакансий. Подписывая долгосрочный контракт, ты соглашаешься ежегодно менять место работы и жительства. Конкретные условия работы зависят от места, но в основном это — работа в реанимации в ночную смену. "Я не очень люблю общаться с людьми, — говорила Нана, — а ночью в реанимации никого нет, только пациенты, да и те, как правило, заинтубированы. И в то же время я делаю доброе дело, приношу пользу". — "Вот-вот, я же говорил тебе, что она — мизантроп", — невпопад вставлял Энтони.

Узнав о столь нетрадиционном выборе профессии, отец Наны приехал в Америку наставить дочь на путь истинный (в мире белых людей наши дети должны становиться врачами, либо адвокатами). Но не тут то было. Две недели семейной драмы не сломили дух новоиспеченной "traveling nurse". Вернувшись в Гану, отец объявил, что лишает Нану наследства. С тех пор они не общались.

Почему так трудно запомнить лучшее? Почему если сразу не записать, остаются только "общие места", удобные фрагменты, складывающиеся то в предсказуемый голливудский монтаж, то в задумчивую тягомотину авторского кино? Хеппи-энд, как известно, оксюморон. Непрерывность памяти спотыкается на простых вещах.

Одно из последних детских воспоминаний: Юра Дворкин с первого этажа, усердно косящий под советского рокера, отращивающий патлы, обзаводящийся телагой и вареными джинсами. На плече — кассетник с Наутилусами и "Группой крови". Через два месяца он переедет в Хайфу (фотографии с шаурмой и кальяном, первая работа на бензоколонке, израильская армия и т. д.).

Это была зима девяностого года; Юре было тогда тринадцать или четырнадцать. Я — на два года младше, смотрел снизу вверх. Запомнилось как нечто необъяснимое: его предстоящий отъезд и

пубертатное желание наспех совпасть с последней модой московского двора, подготовиться к новой фазе жизни, которая начнется и закончится здесь без него.

4

Когда Осейи и Амма Овусу, у которых недавно родился сын, объявили о том, что собираются устроить "Эдин тоа", весь разноцветный коллектив от румына до китаянки подрядился участвовать в проведении этой пышной церемонии, хотя никто понятия не имел, в чем она заключается.

— Насколько я понимаю, это "праздник имени", — догадался Энтони, — у йоруба тоже есть что-то подобное. Когда человек рождается, он приводит в мир своего личного бога, иначе говоря, свое предназначение. На седьмой, что ли, день после рождения, ребенка приносят к старейшине. Тот наблюдает за младенцем, пытаясь угадать его бога, и выбирает подходящее имя.

— Интересно, Энтони Пол, кто был тот мудрый старейшина, который назвал тебя в честь русского писателя?

— Опять ты со своим русским писателем. Мои родители к прорицателю не бегали, у меня, вообще-то, отец — профессор лингвистики, а мама была биохимиком. Просто им понравилось имя Энтони, вот и все. А Пол — это европеизированное Абаола, так звали моего деда.

В назначенный день мы явились минута в минуту, хотя Нана и выражала определенные сомнения относительно того, что традиционная ганская церемония может начаться вовремя. Хозяин дома, встретивший нас на пороге в нижнем белье, подтвердил ее опасения и, немало удивившись ("Вы что, на дежурство пришли? Когда зовут на три, имеется в виду: приходить не раньше половины шестого!"), отправил в близлежащую кофейню "Старбакс". Таким образом, в течение следующих двух часов у меня была возможность узнать во всех подробностях о значении "Эдин тоа" в культуре ашанти, заодно наблюдая, как Энтони метит бессильным взглядом белокурых красоток за окном кофейни и все больше раздражается дотошностью Наниного экскурса.

Согласно аканской традиции, первые семь дней жизни ребенок проводит с матерью в специально отведенном помещении, откуда им не полагается выходить. Это — испытательный срок: если дитя умрет, не прожив и недели, значит его душа посетила мир живых, чтобы только взглянуть и, удовлетворив любопытство, возвратиться в мир духов. Поэтому ребенка, умершего в течение первой недели, не оплакивают.

Если же на восьмой день младенец жив, значит он полюбил лицо и голос женщины, которая его родила, и решил остаться, чтобы сделать ее счастливой.

Утром восьмого дня ребенка приносят к старейшинам и дают ему имя, точнее имена. Первое имя знаменует день недели, в который он родился. Мальчика, чей "Эдин тоа" пришелся на пятницу (*фиада*), назовут Кофи ("пришедший в пятницу") и т. д. Каждому дню недели покровительствует то или иное божество[1], так что старейшинам аканских племен — в отличие от йоруба — не приходится угадывать личного бога, достаточно свериться с "гороскопом". Второе и третье имя — в честь кого-нибудь из предков; дальше — имя, выражающее пожелания родителей своему чаду; и наконец — имя рода. В колониальный период ашанти часто давали детям ничего не значащие имена, чтобы отвадить богов-покровителей: дескать, это не настоящее, не на всю жизнь. Имя, данное в рабстве, не может быть настоящим, так как рабство не может быть истинным предназначением человека.

Складные стулья были расставлены по периметру комнаты, и, по очереди здороваясь с сидящими, каждый новоприбывший совершал круг почета — обязательно против часовой стрелки. К шести вечера все были в сборе. Вопреки моим ожиданиям, ни румына, ни китаянки в комнате не оказалось; помимо нас с Энтони, на церемонии присутствовали только ганцы. Доктор Пэппим, выступавший в роли старейшины, вышел на середину комнаты и, достав из кармана шпаргалку, развел руками: это вам не лекция по реаниматологии.

"Каждое имя есть уникальное сочетание звуков. Если оно выбрано правильно, это сочетание звуков резонирует с душой человека и придает ему силы. Наше предназначение заложено в нас Творцом, и мы исполняем Его замысел, откликаясь на зов, пробуждаясь для жизни всякий раз, когда нас называют по имени. Какой сегодня день? Сегодня воскресенье — *квезиэда*. Бабушка Воскресенье, дедушка Воскресенье, сегодня перед вами младенец, который встретил с нами утреннюю звезду. Его мы называем Квези".

С этими словами Пэппим взял спящего сына из рук Аммы и, трижды подняв на вытянутых руках, поднес к столику, на котором стояли бокалы с водой и вином и лежали несколько ракушек. Положив ракушки на лоб младенца, Пэппим окропил его губы водой: "Если скажешь *вода*, пусть это будет во-

1. Аканское исчисление времени вообще носит религиозный характер. Например, календарный месяц обозначается словом *обосоме (божок)*. "M'adi bosome mmienu wo ha" - "Я провел здесь два месяца", дословно: "Я съел здесь двух божков".

да. — Затем окропил вином: — Если скажешь *нса*[1], пусть это будет нса... *Аквааба*! Братья и сестры, я поздравляю вас всех!"

Завершив церемонию, Пэппим ретировался в облюбованное кожаное кресло и продремал в нем оставшуюся часть вечера. Между тем гости переместились к столу. Старший ординатор Йау Аманкона предварил трапезу еще одной торжественной речью, но на этот раз ораторство не сопровождалось возгласами "*ампа*!"[2] — каждое слово витии камнем падало в колодец всеобщего голода.

Одно за другим потянулись праздничные блюда: арахисовая похлебка с индюшкой и копченой рыбой, пальмовый суп с козлятиной и листьями ямса, блюдо из перемолотых семечек африканской дыни, красный рис "джолоф", кускус из ферментированной маниоки в банановых листьях, жаренные плантаны с имбирем и фасолью в пальмовом масле. И — какой же праздник без фуфу! Фуфу — это патриотическая гордость, "щи да каша" западноафриканской кухни. Густое пюре из кокоямса, плантанов или маниоки, похожее на белый пластилин — как по виду, так и по вкусу. Пластилин скатывают в шарики. Шарики полагается макать в мясную похлебку и разом проглатывать. "Ел без фуфу — вообще не ел", — утверждают знатоки этого дела.

Расходиться начали за полночь; в третьем часу утра в комнате еще вовсю продолжались оголтелые пляски под бой *твенебоа*, оплетенного ракушечными ожерельями. Казалось, во всем многоэтажном доме есть только два человека, способных спать под этот грохот как ни в чем не бывало, — Квези и доктор Пэппим.

На следующий день остатки угощения, расфасованные в пластиковые емкости, очутились на прилавке магазинчика "Африкана эдуому", находившегося через дорогу от больницы.

Кэрен Б., 36 лет. Алкогольный цирроз печени. Симптомы болезни — желтуха, асциты — проявились еще месяц назад. Первые три недели было "терпимо"; за день до поступления началась кровавая рвота. В больнице ей сделали неотложную склеротерапию варикозных вен, но через несколько часов кровотечения возобновились, отказали почки. Гематокрит не поднимается выше критического уровня, несмотря на многочисленные переливания крови. Время оповестить родных. Около полуночи я делаю междугородний звонок в Массачусетс, где живут ее родители.

Сколько раз я видел в онкологической клинике, как родные восьмидесятилетнего старика или старухи умоляли врачей сделать

1. Пальмовое вино.
2. Верно!

все возможное, до последнего момента отказываясь верить фактам. Но я ни разу не видел, чтобы родственники не просили сделать все возможное для сравнительно молодого человека, умирающего от цирроза.

— Понимаете, я просто не хочу, чтобы она продолжала мучаться, — говорит мать Кэрен.

— Я понимаю. Мы остановим инфузии препаратов, которые поддерживают ее давление, отключим искусственную вентиляцию легких и поставим капельницу с морфием. Она не будет чувствовать боли.

— Как вы думаете, сколько она может прожить... после того как вы все отключите?

— Пару часов, может быть, меньше. Но ведь это не к спеху — все отключать. Мы можем подождать и до завтра, и до послезавтра. Я имею в виду, мы можем дать вам возможность с ней попрощаться.

— Спасибо вам, доктор, но... лучше не надо. Мы — люди пожилые, нам тяжело... Кроме того, завтра у ее отца день рожденья. Просто позвоните нам, когда все закончится.

В четвертом часу утра поступил ожидаемый вызов. Медсестра встретила меня в дверях палаты: "Извините, доктор, я вызывала вас подтвердить наступление смерти, но, кажется, поторопилась. Теперь уже недолго: среднее артериальное давление — ниже пятидесяти. Минут десять-пятнадцать, не больше... Подождем вместе, ладно?"

Я стою между изголовьем кровати и монитором, слежу за редеющими бугорками кардиограммы. У меня кружится голова. На подоконнике лежит принесенная кем-то из близких фотография пятилетней давности: розовощекая красавица Кэрен, лучась навсегда запечатленным счастьем, обнимает улыбающихся родителей на курортном фоне. Десять-пятнадцать минут превращаются в сорок пять.

Медленнее, медленнее — как будто умирает не она, а монитор, через силу выдавливающий гудки. Я слышу, как медсестра, стоящая за моей спиной, лопочет что попало, лишь бы заглушить нарастающий хрип агонального дыхания. Медленнее, медленнее. Асистолия. Всё... Нет, не всё: еще один-два припадочных вздоха — пузырящееся дыхание мертвеца. Теперь всё. Я проверяю зрачки, прикладываю стетоскоп к груди. "Смерть наступила в четыре часа двадцать семь минут", — говорит моим голосом посторонний.

5

Продовольственный магазин и чоп-бар "Африкана эдуому", которым владели радушные Бенад и Маоли Онипа, выполнял функцию социального клуба: по вечерам сюда стекалась вся западноафриканская община Бриджпорта. Старики занима-

ли позиции за приземистым столиком для *овари*[1] и, засеяв лунки игральными ракушками, начинали неспешный обмен новостями. Молодежь толпилась возле установленного в дальнем углу караоке, пританцовывая и горланя неизменное "Эйе ву дэ анаа, эйе ме дэ паа".

— Ий! Эхефа на васвиа чви каса?[2] — удивился Бенад Онипа, когда, впервые заглянув в "Эдуому", я обратился к нему на ломаном аканском наречии.

— Мево ннамфоо асантени на вочьерэ мэ какраа-какра[3].

— Юу-у, мате. Эсвиани, энье аквааба![4]

Довольно скоро "Эдуому", находившийся в двух шагах от Сент-Винсента и кирпичной трехэтажки, где я снимал квартиру, стал "вторым домом" или третьей вершиной равностороннего треугольника, внутри которого я проводил все свое время, поскольку больше в Бриджпорте податься было некуда. "Католическая миссия, хижина, чоп-бар — все как надо. Еще добавить революцию да малярию и будет полный африканский набор", — отметил язвительный Онижепе.

Каждую пятницу Маоли стряпала африканскую пищу и угощала постоянных клиентов. Несколько раз, во время тридцатичасовых дежурств, я получал эсэмэски: "Доктор Алекс! Брат Бенад и сестра Маоли знают, что ты сегодня дежуришь и наверняка голодаешь. Спустись, пожалуйста, в вестибюль". В вестибюле меня ждал Бенад с улыбкой до ушей и кастрюлей дымящегося риса "джолоф". Денег он не брал и, раздраженно отмахиваясь от купюр, которые я пытался ему всучить, повторял девиз племенного сожительства: "Если птицы рядом гнездятся, значит птицы друг другу еще пригодятся". Стало быть, белая ворона — тоже ворона, часть стаи. Я растроганно примерял к себе эту птичью истину, тем более что и в моем "оперении" уже имелось кое-что ганское: под Рождество Нана и Маоли подарили мне по вышивной рубахе "кенте".

— Доктор Алекс, когда заканчивается твое дежурство? — спросил Бенад, в очередной раз вручая мне кастрюлю с вкуснятиной.

— Завтра утром.

— Тогда завтра вечером приходи к нам в "Эдуому". Познакомишься со знаменитостью!

— Какая такая знаменитость?

— Ганский поэт. Тридцать лет, а уже целую книгу стихов написал. В газете его сравнивали с Воле Шойинка!

1. Стратегическая игра.
2. Ух ты! Где это ты научился говорить на чви?
3. У меня есть ганские друзья, которые меня понемножку учат.
4. Понятно. Добро пожаловать, учащийся!

Поэта звали Принц Нсонваа. Он и выглядел классическим поэтом или киноактером, играющим большого поэта на большом экране. Водолазка, задумчиво-выразительное лицо, обрамленное наждачной небритостью. Если бы Принц Нсонваа был белым, у него обязательно была бы челка. Прослышав от хозяев, что я — Russian poet, изучающий чви, Принц торжественно объявил, что обязуется — если я, конечно, не против — регулярно присылать русскому коллеге свои творения, а также преподавать ему (то есть мне) основы языка чви по переписке.

В тот же день я получил первый образец его творчества. Стихотворение называлось "Senea w'awofo ahwe wo ama wo se afifiri no, ese se wohwe won ma woonom dee tutu"[1]. Сам текст был ненамного длиннее названия и по существу лишь перефразировал нравственное предписание в форме императива. Помимо стихотворения, к имейлу прилагались: аудиофайл с авторским чтением и причудливо-иероглифический рисунок, значение которого, видимо, обыгрывалось в данном сочинении.

— Тебя трогают эти стихи? — спросил я у Наны, показав ей шедевр моего нового знакомца.

— А тебя? Если тебя интересует ганская литература, почитай лучше Айи Квеи Арма и не морочь мне голову.

На протяжении следующих полутора недель поэт исправно присылал мне ежеутренние стихи с аудиофайлами и рисунками, а по вечерам — короткие письма на чви с заботливым переводом в скобках после каждого предложения. Наконец, очевидно устав от этой обременительной переписки, Нсонваа деловито спросил, не согласится ли менвиа Алекс[2] помочь ему с переводами стихов на английский для публикации в антологии. Получив утвердительный ответ, поблагодарил и пообещал прислать весь корпус через денек-другой, после чего исчез.

Позже я узнал, что подобные назидательные тексты, сопровождаемые иероглифическими узорами, — вполне традиционный "смешанный жанр". Узоры называются *адинкра*; с каждым узором связан определенный обряд, а также какая-нибудь пословица или идиома. Говорят, коллекция некоего этнографа, собиравшего *адинкра* по всему аканскому региону, насчитывала больше тысячи пиктограмм. Одна из главных функций поэзии — развивать и интерпретировать символику *адинкра*. А поскольку вся словесность у ашанти до

1. "Так же как твои родители заботились о тебе, когда у тебя резались зубы, ты должен позаботиться о них, когда их зубы станут выпадать".
2. Мой брат Алекс.

недавнего времени была устной, без аудиозаписей тут не обойтись. Не читать надо, а слышать. Недаром глагол *тэ* имеет не одно, а, как минимум, четыре значения: *говорить, слышать, чувствовать, обитать*.

Что касается пословиц, то для западноафриканских племен они — больше, чем просто народная мудрость. Это и свод законов, и магические заклинания, и своеобразная форма ораторского искусства. "Слова — пища для души, а пословицы — пальмовое масло, с которым едят эту пищу". "С мудрецом говорят поговорками". "Иногда пословица — это твой меч, иногда — твой щит". Африканский талмуд пословиц и поговорок. Так два престарелых ашанти, завсегдатаи "Эдуому", могут часами вести беседу, целиком состоящую из иносказательных афоризмов.

— Что скажешь, Коджо, какие новости?

— Что сказать, Кофи... Когда крыса находит фуфу, она ест фуфу, но пестик и ступку в крысиной норе не упрячешь. Если пальма гнется, значит, земля шепнула ей дурную весть. На каждой ветке по птице — дерева не видать. Слишком много нарядов, точно на похоронах.

— Не всякое облако приносит дождь, — парирует Кофи. — И потом, даже самый острый нож не разрежет собственной рукояти.

— Так-то оно так, но, если бревно кладут в реку, оно не превращается от этого в рыбу. Тот, у кого нет одежды, всегда участвует в танце Асафо. На базаре бороду не продашь. Как сказал пес, если я упаду, а ты встанешь, будем считать, что это игра.

— Эй, Коджо, что Господь пожелал, человек не отменит. Закрой мертвецу глаза и увидишь духа. Обращаясь к Богу, начни с обращения к воздуху.

Неискушенному слушателю вроде меня может показаться, что они просто состязаются в словоблудии. Однако информационный повод всегда присутствует. В данном случае, речь идет о неудачной поездке: Коджо только что вернулся из Нью-Йорка, где гостил у детей. Дети, говорит он, живут теперь своими заботами и принимали старика не так, как требует того обычай. Кроме того, в Нью-Йорке им, похоже, живется плохо, хотя они всячески стараются это скрыть. Коджо злится, Кофи пытается его вразумить. Впрочем, главное здесь все-таки форма, а не содержание. Ритуал диалога — пища для души, завезенная в Бриджпорт из африканской деревни. Непроглатываемый, словно шарик фуфу, комок ностальгии.

Родные и близкие, соседи и родственники соседей, облаченные в черные и красные платья, напоминающие римскую тогу, выгружаются из микроавтобусов, рассаживаются по кругу, раскрывают большие зонты с оборками. Многочасовое действо, раз-

ворачивающееся в центре круга при активном участии зрителей, называется *аийе* или *овуо ачведъе*[1] — по названию одного из узоров адинкра.

Атмосфера — при всей серьезности повода — скорее праздничная. По аканской традиции, так и должно быть: если "виновнику торжества" посчастливилось дотянуть до почтенной старости, его похороны — это прежде всего праздник жизни. Песни, пляски, даже своеобразный капустник, в котором обыгрываются эпизоды из жизни усопшего... Но самое невероятное — гроб в форме рыбы, привезенный из Ганы и наверняка стоивший заказчикам большей части семейных сбережений. Как нетрудно догадаться, покойный был хозяином рыбной лавки.

К микрофону подходит харизматичный священник в темных очках, как у агента спецслужбы. Проповедническое крещендо, пестрящее словами "исцеление" и "спасение", нарастает вровень с дождем, точь-в-точь как в романе Чинуа Ачебе ("Одежда, словно в страхе, липла к телу..."). Время от времени дождь ненадолго утихает, как бы прислушиваясь, и через несколько минут припускает с новой силой. Наконец, проповедник уступает стихии и, все еще на взводе, нараспев, приглашает собравшихся перейти под навес. Паства снимается с мест, поправляет намокшие складки драпировки, передвигает стулья.

6

Гамбиец Джеймс Кларк выучил русский только за то, что на нем говорила первая любовь, в свое время учившаяся во ВГИКе. Кроме того, он свободно владел, как минимум, пятью африканскими языками: малинке, фульбе, волоф, чви и неправильным английским. Знание русского ограничивалось у него отдельными фразами, но фразы эти — из уст африканца — были поистине замечательны. Когда нас представили, Кларк протянул мне руку со словами: "Zhiteli vol'nyh pastbisch privetstvujut vas!" В другой раз, возмущаясь только что прочитанной болтовней какого-то политического обозревателя, подытожил: "V "Izvestijah" net pravdy, v "Pravde" net izvestij". Между тем на одной шестой он никогда не бывал, да и русскоговорящая кинематографистка осталась в далеком тропическом прошлом.

Когда-то, давным давно, он учился в Гане — на одном курсе с Пэппимом и Апалоо. Был свидетелем на их свадьбе. После мединститута эмигрировал в Америку, поступил в ординатуру в Нью-Йорке. Поступил да не закончил, повздорив с

1. *Лестница смерти.*

одним из старших коллег. После этого он перебрался в Англию, где мотался из больницы в больницу, подвизаясь в качестве locum tenens[1]; затем ненадолго вернулся в Гамбию, и вот к пятидесяти годам, женившись на американке, снова приехал в Штаты и — по протекции друзей юности — получил место в ординатуре Сент-Винсента.

К бывшему однокашнику и нынешнему начальнику, неизменно величавшему его "дядя Джимми", Кларк обращался с почтительным "доктор Пэппим", с помощью мимики стараясь обозначить в этом обращении уместную долю шутки. По утрам, рапортуя Пэппиму о проделанной за ночь работе, Кларк покрывался бисером пота и его речь становилась похожей на бормотание гоголевского персонажа. При виде этой сцены — отчаянно потеющий Кларк, упитанная невозмутимость Пэппима — я вспоминал рассказ Наны о том, как в начальной школе она могла запросто приказать однокласснице из малоимущей семьи, чтобы та донесла до дому Нанин портфель или сбегала посреди урока в кафетерий за плюшкой... Словом, голова у меня была занята не тем, чем надо, так что, когда приходила моя очередь рапортовать, я начинал мямлить и путаться еще больше, чем мой напарник.

Он был дотошен во всем, что касалось заполнения бланков, выписок, рецептов и прочего. В первый же вечер он показал мне, как и что следует заполнять.

— Я люблю, чтобы все записи велись определенным образом. Документация всегда должна быть в порядке. Иначе хлопот не оберешься.

— Хорошо, Джеймс.

— Называй меня лучше дядя Джимми или просто Джимми. Никаких формальностей. И вообще, ты — босс, а я — твой помощник, — сказал он в точности, как Оникепе. — Мне бы главное закончить чертову ординатуру, а там — трава не расти.

— Ну, так ведь ты и заканчиваешь через полгода. Недолго осталось.

— Для меня шесть месяцев здесь — это слишком долго. За три года я успел возненавидеть этот госпиталь и все, что с ним связано. Все, о чем я мечтаю, это непыльная работа в Мэриленде, где живет моя жена... Если б я мог прокрутить жизнь на несколько лет назад, ни за что не уехал бы из Гамбии. А если бы мог вообще начать сначала, не стал бы заниматься медициной.

— А чем бы ты тогда занимался?

— Чем-нибудь полезным. Стал бы ремесленником.

Среди заправлявших в стационаре немолодых сестричек дядюшка Джимми имел надежную репутацию старого добря-

1. Временный заместитель (*лат.*).

ка. Каждый вечер, совершая дежурный моцион по этажу, он приветствовал их непритворно-приторными "Дорогая моя!" и "Добрый вечер, прекрасная леди!"

Когда выдавались свободные полчаса, Кларк уединялся в каком-нибудь закутке и моментально задремывал, сидя на стуле и прислонившись к стенке. На вопрос, почему бы ему не улечься в дежурке, где стояли две относительно удобных койки, отвечал, что предпочитает быть начеку.

Разносторонне начитанный, всегда и обо всем имевший подробное мнение, он мог быть интересным собеседником, но, как все уставшие и живущие через силу люди, часто повторялся. Его любимыми присказками были: "В Европе этого никогда бы не позволили" (когда речь шла о восьмидесятичасовой рабочей неделе и прочих мытарствах американского ординатора) и "Африка — проклятый континент" (речь могла идти о чем угодно).

— Почему же проклятый? Ты ведь сам говорил, что жалеешь о том, что уехал из Гамбии.

— Durnoe, da rodnoe, — произнес Кларк, в очередной раз демонстрируя недюжинные познания в области русской словесности. — Наши политики любят напоминать, что Африка — наша общая мать. У вас, наверное, это тоже в ходу? Я имею в виду всю эту "материнскую" риторику.

— "У нас" — это где?

— Да где угодно. В Америке, в России... Когда я слышу про это "материнство", у меня срабатывает профессиональный рефлекс: я сразу начинаю думать о болезнях, передающихся по наследству. А болезней в Африке больше, чем где бы то ни было. Приедешь, увидишь... Проклятый континент. Я бы мог там жить, если бы не уехал, потому что знаю правила игры. Первое правило: когда дерутся слоны, больше всех страдает трава у них под ногами.

— Этэ сэйн! — Вихрем ворвавшийся в комнату Йау Аманкона от души рыгнул и шлепнул на стол медкарту. — Можете меня поздравить. Мне опять подсунули Флору Кабезас.

— Кто это ее к нам пустил? Мы же сто раз уже объясняли в пункте первой помощи, что ее надо гнать взашей.

— А она новый способ изобрела. Надышалась пыли в каком-то подвале, чтобы спровоцировать астматический приступ. Никуда не денешься, надо класть. Пока лежала в приемнике, все уши медсестрам прожужжала: и это у нее болит, и то болит. Те не выдержали и дали ей морфий. Теперь ее не выгонишь.

— Да, хорош у нас список пациентов, — отозвался Кларк, — наркоман на наркомане. Вот на что уходят деньги налогоплательщиков.

— Пока я не попал в Америку, даже представить себе не мог, что такое бывает, — неистовствовал Аманкона. — В Гане люди толпами подыхают от инфекций, так ни разу и не побывав у врача. А тут — болей не хочу. Все есть — и лекарства, и оборудование. Приходишь в травмпункт, говоришь, мол, живот болит, и тебя сразу кладут в стационар. Кормят, поят... И что? Вместо того чтобы жить как следует, они торчат на морфии, выклянчивают его, валяются всю жизнь в больнице, лишь бы кайф поймать. Мерзость.

— Ну, медики, положим, тоже не без вины, — рассудил мудрый Кларк. — Как ты правильно сказал, дядя Йау, если больной в Америке жалуется на боль, его первым делом сажают на морфий. Это, кстати, к нашему предыдущему разговору, — Кларк повернулся ко мне, — в Европе такого никогда бы не допустили...

— А я и не говорю, что виноваты только пациенты. Виноваты врачи, которые с ними миндальничают. А еще больше виновато судопроизводство, которым нас все время запугивают. Дело в системе. И в тех, кто ей управляет. Заговор, он и есть заговор.

— Какой заговор? Еврейский? — Я уже слышал от кого-то из ординаторов, что Аманкона одержим теорией еврейского заговора, но с удобством для себя решил, что это шутка.

— Я ничего не говорил. Но ведь все всё понимают...

— Осторожно. Алекс-то по-твоему кто? — предостерег его старший товарищ.

— Ну и хорошо, — моментально нашелся Аманкона. — По крайней мере, если будет необходимо, ты всегда сможешь воспользоваться поддержкой тех, кто наверху.

— Пользуюсь, Йау, только и делаю, что пользуюсь их поддержкой. Катаюсь как сыр в масле.

— Да, ладно, что ты. Евреи, не евреи — какая разница? Я ведь не об этом. Я о том, что они там, наверху — кто бы они ни были, — решают наши судьбы.

— Ампа! Когда дерутся слоны, больше всех страдает трава... — затянул свое дядюшка Джимми.

— Да, но евреи — все-таки слоны, — назойливое повторение прозвучавшей пять минут назад пословицы окончательно вывело меня из равновесия. — Евреи всегда наверху. И носы у них, как хоботы.

Аманкона натужно улыбнулся.

— Друг мой, когда ты соберешься в Гану, обязательно дай мне знать. Я тебя свяжу со своими, приедешь, как к себе домой. Тебе у нас понравится.

— Да я и не сомневаюсь, что мне понравится в Африке... Жаль только, евреи ее колонизировали и разрушили традиционный уклад жизни.

— Пойду-ка я проведаю своих пациентов, — вздохнул Кларк. — Нам не за то платят, чтобы мы весь вечер в ординаторской лясы точили.

Мы вышли в коридор.

— Зря ты с ним так. С Аманконой ссориться глупо. Он у нас большой человек, *ога*, как говорят нигерийцы.

— И что мне теперь, молчать? Мне с ним детей не крестить, через полгода меня в этом госпитале уже не будет.

— Все равно не стоило его обижать. Ты ведь, наверное, не знаешь, что он не только врач, он еще и священник. Перед тем как поступить в мединститут, он закончил семинарию.

— Да плевал я на вашу... — Поймав его предупреждающий взгляд, я осекся. Действительно ведь, наплевать.

До конца дежурства — три часа, даже меньше. Скоро можно будет идти домой. Покурить и спать. "Докета сэ менкода сеисие ара"[1]. Из-под прохудившегося покрова предутренней темноты клочьями лезет грязноватая подкладка сугробов. Два окна на шестом этаже соседнего здания поочередно вспыхивают сиреневым отстветом телеэкранов, как глаза чащобного чудища из шизофренических сказок Амоса Тутуолы. Эти сказки подсунул мне Энтони для ознакомления с фольклором йоруба. Я сделал над собой усилие и прочел их за один вечер — примерно так же, как из уважения к хозяйке проглатывают несъедобную пищу. Одно место, впрочем, запомнилось: там, где главный герой, отправившийся в Город мертвых, чтобы повидать своего покойного брата, прибывает наконец в пункт назначения и встречается с тем, кого искал. Оказывается, что покойник, бывший при жизни священником, ведет службу и здесь, продолжая вселять в души прихожан надежду на жизнь после смерти.

У. Д., тридцать восемь лет. Боль за грудиной, отдающая в левое плечо. Требуется исключить инфаркт миокарда. Стандартный протокол: ЭКГ плюс три тропониновых теста. В соответствии с протоколом, мы должны продержать пациента в больнице в течение восемнадцати часов, хотя в данном случае причина симптомов известна и без всяких тестов: У. Д. курит крэк. Рассказывает, что до августа прошлого года употребляла также и героин. Неделю назад "сдалась" наркологу. "Что побудило вас обратиться за помощью?" — "Я хочу, чтобы мне вернули моих детей". Детей трое. Я осматриваю пациентку: иссушенное тело, кожа да кости. "Вы что, вообще не питаетесь?" Мотает головой: "Давно ничего не ела". Губы собираются в тоненькую улыбку, но тут же начинают дрожать, по щекам текут слезы.

1. "Доктор сказал, что я должен срочно лечь спать".

По истечении положенных восемнадцати часов я уговариваю начальство, что ее еще рано выписывать. Конечно, ломка – это не повод держать больную в Сент-Винсенте, для этого есть наркологическая лечебница. Но все-таки состояние нестабильное. Тахикардия, рвота, да мало ли что. Через три дня терпению начальства приходит конец, и мы оформляем выписку в наркологический диспансер. "В следующий вторник придете к нам в поликлинику. Я записал вас на прием". – "Хорошо, доктор, спасибо вам за все..." Та же тоненькая улыбка, от которой сжимается сердце.

Через полчаса меня вызывает медсестра: вместо обещанных санитаров за У. Д. приехал жених, говорит, что отвезет ее сам. Неопрятный мужик лет пятидесяти, обильно надушенный дешевым одеколоном. Вид безумный, видно, что не только торгует, но и сам торчит.

– Вы же сказали, что едете в лечебницу.

– Раз сказала, значит, еду. – На лице уже совершенно другая улыбка.

– Вы уверены?

– Эй, мистер, ты как разговариваешь с моей невестой!

– Успокойся, бэби, все в порядке, – она целует своего защитника в шею и наскоро собирает вещи трясущимися руками.

"Вот на что уходят деньги налогоплательщиков", – говорю я медсестре, когда мы выходим из палаты. Но поза видавшего виды медика у меня выходит криво, идиотская впечатлительность желторотого ординатора налицо. Соглашается: "Конечно, доктор".

7

В начале зимы мы узнали о предстоящей ревизии: какие-то важные лица из государственного ведомства, о неограниченных полномочиях которого можно было судить по количеству букв в аббревиатуре, намеревались разглядывать сквозь лупу всю подотчетную деятельность госпиталя. От результатов экспертизы зависело будущее Сент-Винсента.

Весь декабрь нас по очереди вызывали на тет-а-тет с начальством. Начальство запирало дверь кабинета, предлагало чай или кофе, засим начинало выуживать подноготную, особенно интересуясь оценкой работы коллег. По пятницам вместо пэппимских семинаров в конференц-зале теперь устраивались административные собрания, на которых я понял, что финансовые дела у нас идут хуже некуда. Врачей призывали не заказывать лишних тестов, экономить на томографии, обходиться, по возможности, без профилактических процедур. Дошло до того, что нас попросили не выбрасывать прочитанные номера медицинских журналов, а

сдавать их в больничную библиотеку, чтобы администрация могла сэкономить на подписке.

Для непримиримого Энтони Оникепе предревизионная суматоха стала сигналом к действию. "Эти хмурые сверху, они не просто так. Я этого балагана еще в Нигерии насмотрелся: если санитарный инспектор заглядывает под кровать, он ищет там орешки кола, а не личинки москитов. Но допросы, которые учиняет наше руководство, очень кстати. Надо воспользоваться случаем". Идея, созревшая в голове моего приятеля, была до неприличия завиральной: речь шла ни много ни мало о гражданской войне с сопутствующими чистками и террором. Для подрывной работы нужна ячейка единомышленников, и Энтони воззвал к африканским собратьям по ординатуре, приплюсовав к ним для кворума и меня. "Наша медицина — это тонущий корабль, — говорил зачинщик, вдохновленный речами Обамы, на первой сходке в "Эдуому". — Чтобы спасти положение, надо не макулатуру в библиотеку таскать, а избавить медицину от тех, кто не должен ею заниматься". Первой жертвой предполагаемых чисток должен был стать человек с чарли-чаплинской походкой, доктор Рустам Али.

Вскоре по почтовым ящикам Сент-Винсента разошлось открытое письмо, адресованное генеральному директору госпиталя. Авторы письма (в конце стояло пятнадцать ординаторских подписей) выражали готовность содействовать разработке новых стратегий, направленных на повышение качества медицинского обслуживания. Далее следовал ряд предложений, связанных с заполнением реквизитов и прочей чепухой административно-хозяйственного порядка. Последним пунктом шла филиппика против Рустама. Заведующего паллиативным отделением обвиняли в халатности, в неоднократно проявлявшейся профессиональной некомпетентности и наконец в человеческой черствости, недостойной врача. Собственно, все это было чистой правдой.

Грозы не воспоследовало. Не было даже отдаленных раскатов. Только мелькавшие от случая к случаю фразы "наши листовщики" и "трибунал Оникепе" свидетельствовали о том, что письмо было прочитано. "Не хотят по-хорошему, не надо. Это только начало!" — упорствовал глава трибунала. Наконец, отметившихся в письме повстанцев начали приглашать по одному на аудиенции за закрытой дверью.

"Алекс, аквааба, во хо тэ сэйн!" — заулыбалась Виктория Апалоо. Слева от нее восседал председатель совета директоров Ричард Гольдфарб, а по правую руку — посрамленный Рустам Али собственной персоной. Весело переглянувшись с коллегами, Апалоо пошла в атаку: "Я думаю, Алекс, ты уже слышал от своих друзей, что мы устраиваем перекрестные допросы, да и вообще используем самые что ни на есть брутель-

ные методы, чтобы добиться от вас чистосердечного признания и раскаяния в содеянном. Вас, ребята, послушать, так у нас тут прямо испанская инквизиция! Вот что значит чрезмерное увлечение художественной литературой. Честно говоря, меня огорчило ваше послание. Речь идет о серьезных вещах, о том, что наша больница еле сводит концы с концами. А вы всё играете в детские игры, сводите какие-то личные счеты... Пора подрасти, ей-богу. Но вызвала я тебя не за этим, а просто, чтобы сказать: все в больнице очень довольны твоей работой. Даже медсестры, а они у нас, как ты знаешь, самые придирчивые. Словом, я тебя поздравляю. Мо вайадье![1] Кроме того, я хотела представить тебе нашего нового заведующего ординаторской программой доктора Рустама Али. Со следующего месяца я передаю ему бразды правления". При этих словах преемник отмерил чайную ложку улыбки.

Как и следовало ожидать, о "трибунале Оникепе" больше не было ни слова. Историю с письмом замяли, а обещанная ревизия так и не состоялась. Вот и вся недолга.

Через месяц приемная комиссия занялась рассмотрением заявлений на будущий год, и в больнице стало известно о внегласном постановлении не принимать больше африканцев — по крайней мере, в ближайший год или два. После всего случившегося эта новость никого не удивила. Удивляло то, что идея новой "расовой квоты" исходила, как вскоре выяснилось, от самой Апалоо.

Двадцатишестилетняя девочка. Именно девочка: с виду ей лет шесть-семь, весит 18 кг. Менингит, который она пережила в трехмесячном возрасте, лишил ее зрения, слуха, моторных функций. Мать сидит с ней, единственным ребенком, берет ее на руки, когда девочка начинает плакать. Этот плач — полувсхлипыванье, полумяуканье умственно отсталого ребенка — повторяется каждую ночь, усиливаясь во время менструации.

Соседка по палате — женщина лет пятидесяти, весом в 250 кг. Живет одна, по квартире передвигается в инвалидном кресле, в нем же и спит (не может спать лежа). Половину времени проводит в больницах, и эти промежутки, видимо, самые счастливые: в больнице есть соседи по палате, медсестры, профессионально приветливые врачи. "Доброе утро, как самочувствие?" — "Получше". Больше сказать нечего — ни мне, ни ей. Я хочу поскорее уйти, но чувство вины примешивается к физическому отвращению, и я задерживаюсь, стараясь как можно реже вдыхать через нос. "Я думаю, до праздников мы вас не выпишем. Рождество проведете у нас". Я говорю это деловитым тоном, чтобы не обидеть ее своей

1. Так держать!

снисходительной благонамеренностью, слишком очевидным желанием "сделать приятно" (в первую очередь себе). Хотя кому они нужны, эти тонкости? И так все понятно.

С психологической точки зрения, в реанимации работать легче: там главное откачать. Откачать удается куда чаще, чем вылечить — это к вопросу о "спасении" и "исцелении". Работая в Сент-Винсенте, ты практически не видишь выздоравливающих; видишь либо умирающих, либо хронически больных. Последних у нас называют frequent flyers[1]. Всякий раз я пытаюсь, но не могу представить себе их существование за пределами госпиталя. Слово "трагедия" здесь не подходит — трагедия подразумевает взгляд со стороны, а значит, некий выход. Безысходность хуже всего. Утренние обходы с аускультацией для проформы давят на психику еще больше, чем СЛР и ночные вызовы.

После дежурства я, как обычно, зашел в "Эдуому", держа наготове радостное "этэ сэйн", но уже в дверях понял, что сегодня никакого этэсэйна не будет: Энтони с носорожьим видом промчался мимо меня, оставив Нану обескураженно сидеть за столиком.

— Какая муха его укусила?

— Энтони сделал мне предложение, — с расстановкой сказала Нана.

— О-го... Судя по его виду и по отсутствию кольца, ты ему отказала.

— Какое кольцо? О чем ты говоришь? У нас это не принято. Но вывод правильный.

— А я и не знал, что у вас с ним... отношения.

— Отношения исключительно дружеские. Просто одиноко ему, вот и все. Энтони нужен человек, который будет его слушать и вытаскивать из депрессий.

— Его можно понять.

— Конечно, можно. Мне нужно то же самое. Следовательно, мы друг другу не пара. Примерно это я ему и сказала.

— И что он?

— Попросил, чтобы я старалась не попадаться ему на глаза.

— Может, отойдет?

— Не думаю. Нигерийским мужчинам отходчивость не свойственна. Оно и к лучшему. Мне здесь в любом случае пора закругляться. Особенно после истории с артеренолом.

— Что за история с артеренолом?

— А я разве тебе не рассказывала? Это еще на прошлой неделе случилось. Я отлучилась на пять минут в медсестрин-

1. Часто летающие пассажиры (*англ.*).

скую, а когда вернулась, увидела, что у моего пациента вместо ванкомицина висит капельница с артеренолом.

— То есть кто-то ошибся?

— *Ошибиться* в данном случае могла только я. Но я этого не делала.

— Ты шутишь.

— Зачем мне шутить? Если бы я не заметила, был бы "Код 99".

— Кто же мог такое сделать?

— Уж не знаю кто. Доказательств у меня нет.

— А подозрения?

— Недоброжелатели всегда найдутся, а уж среди медсестер особенно.

— Ты Энтони все это рассказывала?

— Боже упаси. Он бы, чего доброго, взялся, как он это любит, вывести злодеев на чистую воду. И сделал бы только хуже. Не надо мне никаких разбирательств. Надо просто собрать вещи и тихо уйти. Попрошу в агентстве, чтобы меня досрочно перевели. Кажется, это можно. Будешь навещать меня в Аризоне, или куда там меня теперь пошлют.

— Ты что, правда решила уехать?

— "...и пришло разрушение". Нам, африканцам, не привыкать. Я, кстати, так и не спросила: почему тебя так тянет в Африку?

— В Африку?...

— В Африку, в Африку. Туда, где негры живут. Ты в порядке?

— Не знаю, по привычке, наверно.

— Что по привычке?

— В Африку тянет по привычке. У меня это идея фикс еще с первого курса мединститута.

— А тогда почему тянуло?

— Жажда экзотики, юношеский максимализм.

— Ну-ну.

— Не знаю я, Нана, почему меня постоянно куда-то тянет. То есть знаю, наверное. Я ведь эмигрантское отродье, в Америке русский, в России американец. Человеку, который ни здесь и ни там, надо ехать в Африку. Преодолеть закон исключенного третьего.

— Понимаю: санкофа.

— Что?

— Сан-ко-фа. Как бы ты это перевел?

— Вернуться, чтобы взять... Вернуться, чтобы что-то взять.

— Правильно. Санкофа — это из адинкра, один из наших символов. Я вот тоже всю жизнь живу, как будто это все — так, на время, а в один прекрасный день я все брошу и благополучно вернусь домой. Хотя, где этот дом, я понятия не имею. Надо, мне кажется, сменить установку. Пожить без

костылей. Тогда никакая Африка не понадобится... Но в Гану ты все равно поезжай, тебе там понравится. Вон ты уже как на чви болтать начал — зря, что ли, старался?

Через неделю она уехала. За день до ее отъезда я договорился с Маоли, и мы устроили отвальную. Супруги Онипа, как всегда, приготовили пир на весь мир, но праздник получился на тройку — много случайного народу, какое-то машинальное и бессмысленное оживление, всё не так. Дружба с Энтони угасла сама собой. В больнице мы пересекались редко. Периодически созванивались, вкратце сожалели, что давно не виделись, давно пора наверстать, но на этой неделе никак, может быть, на следующей, в общем, держим связь... Нана присылала из Аризоны письма, которые подписывала "Nochka", пытаясь воспроизвести запомненное со слуха руссифицированное обращение. Не "Ночка", а "Наночка"! "Nochka" means "Little night". Little night? That's even better[1].

Третий день подряд снится одно и то же. Заоконный шум превращается в знакомую мантру дежурного пейджера: "Код 99! Код 99! Палата номер..." "Код 99" — это позывные SOS, вызывающие смесь тошноты и адреналина на уровне павловского рефлекса. Я бегу по лестнице, по коридору. Странная аберрация: сон, не переиначивающий, а с точностью воспроизводящий реальные события. Как будто есть один-единственный сценарий, и отступления от него невозможны даже во сне.

В центре сна — шестидесятилетний латино, бессловесный, приземистый нелегал из тех, что работают за наличные и живут по семеро в одной комнате; о чьем существовании узнают только при поступлении в больницу. Это пациент, которого мы с Энтони безуспешно откачивали в течение часа... Трудно поверить: семь месяцев тому назад.

В тот день он попал к нам вместе с женой. У обоих диабет. Анамнез, умещающийся в несколько строк, — один на двоих: накануне купили в супермаркете торт, чтобы отметить годовщину свадьбы. Диабетический кетоацидоз. Ее положили в палату на седьмом этаже, его — на восьмом. Через час после поступления с ним случился обширный инфаркт.

Снится испуганная старуха в домашних шлепанцах и васильковой ночнушке. Как во время СЛР санитары прикатили ее в инвалидном кресле с седьмого этажа и как, увидев сгрудившихся медиков, она стала звать мужа, кричать, чтобы его не убивали, а когда ее подкатили к нему, гладила по руке и уговаривала проснуться. "Нет, это никуда не годится. Ей нужно дать успокоительное и отвезти об-

1. ...означает "маленькая ночь". Маленькая ночь? Это даже лучше (*англ.*).

ратно", — вмешался Пэппим. До этого он только молча наблюдал за происходящим.

Несколько раз пульс удавалось восстановить, но через две-три минуты дефибриллятор снова фиксировал асистолию.

— Надо связаться с детьми, — скомандовал Пэппим. — Есть у них дети? Все это бесполезно, но правила надо соблюдать. Нам требуется разрешение от кого-нибудь из членов семьи, чтобы остановить реанимацию.

— У них нет детей.

— Братья, сестры, еще кто-нибудь?

— В медкарте не указано никаких контактов. Может, у супруги спросить, если она еще не уснула?

— Можно попробовать. Значит, один из вас идет тормошить супругу, а остальные продолжают СЛР. Вперед.

К тому моменту, как я спустился на седьмой этаж, чтобы выяснить, есть ли у них родственники, успокоительное уже успело подействовать. Снится, как она смотрит на меня спокойно-отсутствующим взглядом, кивает, не понимая моих слов, и невпопад отвечает вопросом: "Ему уже лучше?" Как сиделка укладывает ее спать... Пэппим, снимающий очки и устало трущий глаза: "Ладно, можно не продолжать".

Возвращаясь в ординаторскую, я слышу, как из больничного репродуктора — по логике все того же голливудского монтажа — доносится шкатулочная мелодия колыбельной: это значит, что на пятом этаже, в отделении акушерства и гинекологии, только что родился ребенок.

Игорь Померанцев
Пять эссе

Тайны лондонских парков

Тот, кто бывал в Лондоне, знает, как чудесны столичные парки. Порой их даже трудно назвать парками. Они бывают запущенными, как пустошь, величавыми, как дубрава, романтичными, как роща. В них легко заблудиться и столь же легко найти спасительную тропку или аллейку. А как по-королевски щедр Лондон на парки и сады! Ну какой другой город на земле готов уступить деревьям, кустарникам, траве десятки квадратных миль бесценной земли? Все эти Гайд, Холланд, Риджентс, Гринвич, Ричмонд, Сент-Джеймс парки — это озонаторы Лондона. Потому-то воздух этого семимиллионного города чист и свеж.

Однажды я встретился в лондонском сквере Корн-Филдс с человеком, благодаря которому я по-новому увидел лондонские парки. Этот человек был бывшим двойным агентом. Он любезно согласился побеседовать со мной, радиожурналистом, и моим магнитофоном в сквере, где он когда-то проводил "тайниковые операции". Вот что он мне рассказал. Оказывается, шпионы с опаской относятся к встречам в лондонских парках, поскольку двух мужчин могут принять за гомосексуалистов. Но выход есть. На операцию всегда можно взять своих детей. Их даже не надо науськивать: два-три ребенка — это уже ватага казаков и шайка разбойников, черт голову сломит, любая слежка с катушек съедет. Так вот, в этом самом Корн-Филдс-сквере мой собеседник когда-то заложил тайник для советского нелегала. Тайник представлял собой искусственный кирпич, изготовленный специалистом по опертехнике. В середину кирпича были запрятаны восемь тысяч фунтов стерлингов. По заранее разработанному плану мой собеседник должен был положить кирпич на дорожку под деревом. Под перекрестными воплями сорвавшихся с цепи детей он прошел по аллейке, вынул из пластикового супермаркетовского пакета кирпич, быстро бросил его под дерево и не спеша последовал дальше. Выйдя из сквера, он на столбе ворот оставил метку, чтобы нелегал знал, что кирпич на месте. "И что же было дальше?" — не выдержал я. Собеседник снисхо-

© Игорь Померанцев, 2011

дительно усмехнулся. "Дальше?.. Они его прошляпили. Там была целая бригада британцев, тоже с детьми, с колясками, нашпигованными фотокамерами, Сара кружила на велосипеде, Джим запускал воздушного змея... Они подхватили нелегала, сели ему на хвост, но он разнервничался, и, чтобы не бросить на меня тень, они отпустили его".

Мы гуляли по скверу, вдыхая душистый воздух. Я выключил магнитофон. Мой собеседник взволнованно вопрошал: "Вы знаете, сколько в 1985 году было в Лондоне офицеров КГБ и ГРУ? До двух тысяч! Если они одновременно выходили на операцию, то в этот день могли быть задействованы до двухсот ресторанов и баров, сотни автобусов, кебов, поездов метро, речных трамваев..."

Перед моим мысленным взором проносились образы предприятий общественного питания и городского транспорта, они мельтешили перед глазами, наезжали друг на друга, визжали и рычали. Я думал о парках, кишащих агентами, нелегалами, шпиками...

Всякий раз, возвращаясь в Лондон, я подолгу гуляю в Хампстедском парке. Иногда беру с собой внучку. До чего же это очаровательная пустошь, особенно на подходе к Хайгейтскому кладбищу. Над нами парят птицы, прыгают белки, под ногами шуршат ужи. Да, только внучка, я, птицы, белки, змеи. И больше ни души.

Типично английские франкофобы

Мой сын родился в Киеве, но вырос в Лондоне. Учился в частной школе Вестминстер. Университет закончил в Эдинбурге. Не знаю точно где — в школе или на английской кафедре в университете, — но одну английскую заразу он подхватил. Время от времени он без каких-либо видимых причин повторяет одну и ту же фразу, но всякий раз на новый лад: "Ну чего еще ждать от Франции...", или "До чего же французы уродливы...", или "Париж? Да это же свалка! Худшие рестораны в Европе! Да, худшие!" Я угодливо подхватываю: "Согласно опросу, проведенному в странах Европейского союза, больше всего европейцы не любят французов..." — "Ты уверен? — едва скрывая радостное волнение, спрашивает сын, — а не немцев?" — "Это точно. Французов. Опрашивали, правда, только менеджеров гостиниц и пансионов. Но они в людях знают толк".

После таких разговоров мне почему-то всегда не по себе. Хотя это же факт: самый классический француз — это, конечно, Квазимодо, и в Западной Европе их на самом деле на дух не выносят. Но мне все равно не по себе. И сыну тоже. Мы начинаем словно бы невзначай вспоминать, как ездили в Нормандию и как бродили в Живерни по саду, разбитому Клодом Моне. Там, в Живерни, Мо-

не двадцать с лишним лет работал с цветами, нет, не с красками, а с цветами: ирисами, гладиолусами, астрами. И мой сын, заразившийся у англичан любовью к садам, едва не расплакался на изящном мостике, обрамленном глициниями. Еще мы любим вспоминать "Трех мушкетеров". Я талдычу о своем: как в трактирном погребе Атос выдул сто пятьдесят бутылок вина, а скромный юноша из Гаскони д'Артаньян ежевечерне не вставал из-за стола, не опорожнив двух-трех бутылок бургундского. У сына любимый эпизод — любовный. Его почему-то в детстве поразила сцена, в которой д'Артаньян, сорвав в порыве страсти батистовый пеньюар с миледи, увидел на ее белоснежном круглом плече выжженную лилию — знак, которым клеймили преступников. После мы переходим на другую тему: французские комедии. Я больше всего люблю картину, в которой Луи де Фюнес дублирует обезьяну, а сын — историю, в которой Фернанделя приняли за Дон Жуана. Еще мы оба любим страстного католика Жоржа Бернаноса. Это он сказал, что родина для патриотов — все равно что церковь для ханжей, и он же отметил, что народы, считающие себя добродетельными, находятся на первой ступени лицемерия, а лицемерие величия является симптомом такого затвердения тканей, от которого уже нет лекарства. Писатель написал об этом в эссе "Мы, французы". Цитируя по очереди Бернаноса, мы понемногу начинаем вступаться за его соотечественников. Да, конечно, они снобы, но им есть чем гордиться! "Это у нас, британцев, — распаляется сын, — тусклая freedom, а у французов — обжигающая liberte!" — "Точно, — говорю я, — а ты знаешь, кто в середине семидесятых вступался за украинских политзаключенных, которых сажали в психушки? Французские математики!"

Такие беседы мы обычно завершаем в ресторане "La Gavroche" (улица Upper Brook Street), чем-то напоминающем английские клубы. Сын заказывает бокал белого гасконского вина, ну а я — бокал красного бургундского. Или бутылку. Vive la France!

Поэты в Нью-Йорке

На город, в котором живут твои близкие, невозможно смотреть глазами туриста. Ну а город, где похоронены твои близкие, — это уже почти родина. Мои киевские теща, тесть и их собака Джонни умерли в Нью-Йорке. Мой сын, прилетевший в первый раз в Нью-Йорк из Лондона в начале восьмидесятых, еще успел поиграть с Джонни в футбол на бруклинском пустыре.

Нью-Йорк всегда волновал поэтов. Рязанский поэт Сергей Есенин в 1923 году назвал Нью-Йорк "железным Миргородом" и прочувствованно написал о "беспощадной мощи железобетона" и "энергии, направленной исключительно на рекламный бег". Андалус-

ский поэт Гарсиа Лорка в 1929 году приехал в Америку и в 1931 году издал книгу "Поэт в Нью-Йорке". Для этого города испанец нашел слова, полные презрения и брезгливости. "Какой холод и какая жестокость. Реки золота стекаются сюда отовсюду и несут с собой смерть. Полная бездуховность..." Ну прочее и прочее.

У Нью-Йорка – учащенный пульс, повышенная температура, частое и прерывистое дыхание. Здесь, в Манхэттене, понимаешь, что смерть входит в состав жизни и что смерть у тебя под рукой, а ты – под рукой у нее. За это можно возненавидеть Нью-Йорк или полюбить его навсегда.

Около трех десятков лет назад я побывал в гостях у крупнейшего украинского филолога и эссеиста XX века Юрия Шевелева. Он жил недалеко от Колумбийского университета, где профессорствовал с 1954-го по 1977 год. Мы сидели в его кабинете, обставленном тысячами книг. Другой мебели я в комнате не заметил. Он рассказывал мне, что за несколько лет до меня в том же кресле, напротив, сидел модный тогда киевский поэт Иван Д. Киевского поэта мучили сомнения и, возможно, совесть. Он спрашивал совета у мэтра: "Может быть, мне лучше остаться в Нью-Йорке?" Мэтр ответил: "Думаю, не стоит". Мне мэтр объяснил: "У Д. уже был читатель на родине, он вкусил признание и не выдержал бы сухого пайка эмиграции".

Сергей Есенин повесился в 1925 году в ленинградской гостинице "Англетер". Гарсиа Лорку застрелили солдаты генерала Франко в Гранаде в 1936 году.

У меня в пражском доме на полке украинских книг стоит том стихотворений поразительного нью-йоркского поэта Юрия Тарнавского "Поэзії про ніщо і інші поэзії на цю саму тему". На титульной странице – надпись: "Ігорю Померанцеву – дружньо". И дата: 8.YII.1980.

В этой книге есть стихотворение "Украйина".

> Крайино зі стогонів і молитов,
> важливий продуценте смерти,
> недаром своєю формою
> нагадуеш розжоване серце[1].

Символ Нью-Йорка – статуя Свободы, смахивающая на городскую сумасшедшую. Этот символ все еще не утратил живого смысла. Нью-Йорк был и остается городом свободных людей. Я хотел бы жить и умереть в Нью-Йорке.

Памяти виноторговца

По электронной почте я получил из Мадрида письмо от старого лондонского друга Фреда. Он извещал меня о смерти Паблито, виноторговца из испанской винной лавки "Боде-

1. Страна стонов и молитв, крупный поставщик смерти, не случайно своей формой напоминаешь пожеванное сердце. (*укр.*)

га" на севере Лондона. Фред даже трогательно приложил к письму карту районов Килберн и Майда Вейл и маршрут 36 автобуса, чтобы я, окажись в Лондоне, смог прийти на "церемонию прощания" в местный католический центр. Еще Фред предложил мне написать несколько строк о Паблито, чтобы его близкие смогли прочесть их на "поминальной службе" ("memorial service"). Я написал: "Если бы у каталонского бренди 'Mascaro' было горло, то оно говорило бы голосом Паблито. Вот почему мы все любили 'Mascaro'".

С Фредом и Паблито я подружился в середине восьмидесятых в Лондоне. Фред был тогда совсем молодым человеком. Он только-только закончил кафедру испанского языка в Бристольском университете. Карьера его не интересовала. Он ждал наследства от стареньких родителей, которые вовсе не торопились радикально поправить его финансовое положение. Впрочем, Фред не терял надежды и в охотку подрабатывал по субботам и воскресеньям в винной лавке испанской семьи, глава которой сбежал от Франко после поражения республиканцев в 1939 году.

Но я хочу написать несколько строк о Паблито, что называется, off the record (между нами). Мы были с ним людьми одной почвы: винной. Но именно ему я обязан наукой испанских вин, к которым до встречи с Паблито относился с опаской. В первый же день нашего знакомства в лавке, когда я из любопытства разглядывал кустарные наклейки на бутылках безнадежно провинциальных испанских вин, Паблито предложил мне попробовать бокал риохи. Я ответил, что пришел за пенедесской шипучкой "Codorniu" и процитировал Д. Г. Лоуренса ("Бог ты мой, испанское вино, ну и дрянь! Кошачья ссака в сравнении с ним — шампанское. Да это просто гнилостная моча старой клячи"). Но из приличия пригубил ("Federico Paternina", 1983 года, легкий дубовый аромат). В ту же секунду мне стало стыдно за себя и Д. Г. Лоуренса. Этот первый бокал риохи сблизил меня с Паблито на несколько лет. Кстати, тогда, в первое знакомство, Паблито элегантно ответил мне цитатой на цитату:

— Знаете, у англичанина Хью Джонсона есть такое наблюдение. Мол, воздух Англии воссоздан акварелями, воздух севера Франции — пуантилистами и пятнами импрессионистов, но Испания — алая, золотая, черная — и все это в испанском вине.

От Паблито я впервые услышал, что во рту вино встречается с душой и что это может быть любовным свиданием. После закрытия лавки мы вместе откупоривали бутылки, нюхали пробки, деликатно протирали горлышки, свечой высвечивали осадок в зобу бутылки. После соревновались в перечислении ароматов:

— Черная смородина.

— Земляника.

– Пармская фиалка.
– Резина.
– Горчица.
– Сыроежки.
– Перец.
– Шерсть...

Еще Паблито открыл мне азбуку хереса, научил определять, чем удобряли виноград, из которого делали простодушно-соломенное fino и мрачновато-золотистое oloroso: первоклассным лошадиным навозом или свиным дерьмом. А его рассказ о том, как в небо Испании взмывают тысячи белых голубей в тот час, когда из пресса капают первые капли будущего хереса, остался в моей памяти, как лучшие стихи андалусца Гарсиа Лорки.

В начале девяностых мы разъехались: Фред стал мадридским корреспондентом 'Reuters' (отцу его сейчас под девяносто, он в добром здравии и ясной памяти), я уехал в мюнхенскую редакцию "Свободы", а Паблито... нет, он не уехал, но что-то с ним произошло. Он сделал резкий крен в сторону бренди. Докурился до того, что его нёбо покрылось чуть ли не копотью. Братья оттеснили его от "большого" бизнеса, и он по восемь часов стоял у прилавка. Жена ушла, забрав двоих черноглазых ангелов. Он страдал от эмфиземы, безнадежности, одиночества. Наверно, на поминках о Паблито говорили только хорошее, говорили искренне, со слезами в голосе. В тот день я купил бутылку риохи ("Federico Paternina", Vino Tinto Reserva, 2001) и помянул Паблито. Вот уже несколько лет я не пью когда-то любимых крепких напитков: элегантного 'Mascaro', классической 'Grappa del Petrarca', забористого 'Marc de Champagne'. Так я продлеваю свой винный век. Пока получается.

Мой дом

Чешский тележурналист, снимавший меня для передачи "Вавилон", спросил, где я чувствую себя дома. Я задумался и не смог сразу ответить. Точнее, я ответил, но как-то смазанно, хотя и искренне: мол, я человек-транзит, сменил пять стран, полдюжины городов и чувствую себя дома только в гостинице. Я не уточнил, что к гостиницам у меня отношение американское. Тоньше всех природу гостиничной жизни, мне кажется, понимают американцы. Я вспоминаю книги Фитцджеральда, Сэлинджера, Капоте: в их прозе гостиницы, мотели, пансионы – это перевалочные пункты между жизнью и смертью. Герои американских книг лихорадочно трахаются, умирают, убивают, кончают с собой чаще всего в отелях. Так завершается американское путешествие. Постояльцы регистрируются в гостиницах, чтобы после расстаться с жизнью навсегда. Недаром американское выражение check out означает не только "выписаться", но и "умереть".

Про старые церкви говорят – "намоленные". Дом тоже надо "надышать". Это работа

нескольких поколений. Работа неустанная. XX век радикально изменил представление о доме, сам образ дома. Революционеры в коричневых и чёрных рубашках, в комиссарских кожанках не оставили от дома камня на камне. Миллионы людей переселились в котлованы социалистических строек, в бараки Дахау, газовые камеры Освенцима, а выжившие разбрелись по коммуналкам. Целые народы выселяли из домов их предков, а опустевшие дома заселяли безликими массами. Спор за чужой Крым — это классический спор славян между собой. В самом начале пятидесятых годов прошлого века в международном праве появился термин "перемещённые лица": их счёт шёл на миллионы. Это были люди, которых вторая мировая война лишила дома и родины. У Анны Ахматовой есть такие стихи:

> Нет, и не под чуждым
> небосводом,
> И не под защитой
> чуждых крыл, —
> Я была тогда с моим народом,
> Там, где мой народ,
> к несчастью, был.

Стихи, как и время, в котором жила поэтесса, — патетичные. Анна Ахматова не любила эмигрантов. Бог ей судья. У меня совсем другое понимание дома и другое чувство национальной близости. Без всякой патетики, но не без гордости я могу назвать народ, к которому я принадлежу уже больше тридцати лет. Мой народ — это перемещённые лица, политэмигранты, беженцы, бродячие собаки Европы. Я — патриот.

Александр Жолковский
Прекрасная маркиза

1

Что великий французский классицист Пьер Корнель помимо трагедий писал лирические стихи, я узнал не из курса зарубежной литературы, а из песенки французского шансонье Жоржа Брассенса, певшего песни как на собственные озорные тексты, так и на стихи классиков.

Среди прочего, Брассенс исполнял "Стансы к Маркизе" Корнеля, причем тоже в шаловливом ключе, завершая номер "ответом Маркизы" Корнелю, сочиненным триста лет спустя другим французским поэтом и драматургом, Тристаном Бернаром (1866-1947). Сегодня это можно послушать на "you tube" (http://www.youtube.com/watch?v=CDG9lW8M72k&feature=fvw; или вот тут: http://www.dailymotion.com/video/x1uru1_brassens-marquise), а для удобства восприятия я приведу французский текст (первые 3 строфы – Корнеля, и Брассенс поет каждую дважды, второй раз с небольшой переменой мелодии и гармонии; а 4-я – это концовка, chute, Бернара) и русский стихотворный перевод (Корнеля – Майи Квятковской, Бернара – Марка Фрейдкина, кстати, переводчика и исполнителя многих других песен Брассенса).

© Александр Жолковский, 2011

Marquise si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.

Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront,
Et saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front.

Le même cours des planètes
Règle nos jours et nos nuits
On m'a vu ce que vous êtes
Vous serez ce que je suis.

Peut être que je serais vieille,
Répond Marquise. Cependant
Jai vingt six ans, mon vieux Corneille
Et je t'emmerde en attendant.

Маркиза, я смешон пред Вами —
Старик в морщинах, в седине;
Но согласитесь, что с летами
Вы станете подобны мне.

Страшны времен метаморфозы.
Увянет все, что расцвело, —
Поблекнут так же Ваши розы,
Как сморщилось мое чело.

Наш день уходит без возврата
Путем всеобщим бытия;
Таким, как Вы, я был когда-то.
Вы станете такой, как я.

"Возможно, в будущем нескором
И я состарюсь. Но пока
Мне 26, и кластъ с прибором
Хотела я на старика".

Концовка мне понравилась — она напомнила надписи А. К. Толстого на собрании сочинений Пушкина, например на "Царскосельской статуе".

Урну с водой уронив,
об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит,
праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода,
изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей
вечно печальна сидит.

Чуда не вижу я тут.
Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив,
воду провел чрез нее.

2

Полюбив песенку Брассенса, я разыскал и корнелевский оригинал, который оказался несколько длиннее. Но в моем сознании они как-то слились, в частности, благодаря шикарной французской артикуляции Брассенса.

Узнал я немного больше и об обстоятельствах написания "Стансов". Я сначала думал, что они действительно обращены к некой маркизе, недоступной еще и ввиду ее социального положения, и даже дивился поэтической дерзости писателя, уже в XVII веке покусившегося на то, что в какой-то мере могло сойти с рук разве что Вольтеру век спустя. Но оказалось, что Маркиза — это лишь часть собственного имени актрисы вполне простого звания, Маркизы Терезы де Горла Бертело, в за-

мужестве (тоже за актером, толстенным комиком) – Дю Парк (1633?/1635?–1668). В общем, маркизой она была не больше, чем современная певица – мадонной.

Актрисой же была, по-видимому, замечательной, к тому же невероятной красавицей и пикантной танцовщицей. Как отмечали восхищенные современники,

Elle faisait certaines cabrioles remarquables, car on voyait ses jambes et partie de ses cuisses, par le moyen de sa jupe fendue des deux côtés, avec des bas de soie attachés au haut d'une petite culotte (Она делала изумительные пируэты, открывавшие ее ноги и часть бедер, благодаря тому, что у нее на юбке были с двух сторон разрезы, а шелковые чулки пристегивались наверху к коротеньким штанишкам).

Так что сравнение с Мадонной – не мои смешные фантазии.

М-ль Дю Парк была звездой театра безнадежно влюбленного в нее Мольера, который даже разошелся из-за этого с Мадлен Бежар.

Потом в нее влюбился Корнель, — вернее, сразу два Корнеля, Пьер и его брат Тома, тоже поэт, — и тоже безрезультатно, если не считать такой мелочи, как посвященные ей стихи (брат тоже посвятил, но не всякое лыко в строку), в том числе "Стансы к Маркизе" (1658). Он даже сумел переманить ее — на некоторое время (1659–1660) — в свой театр, что привело к полному разрыву с ним Мольера.

А в 1667 году из мольеровского театра, куда она вернулась, ее сманил в более близкий ему театр, Бургундский Отель, известный красавец и сердцеед — ни больше ни меньше, как Жан Расин.

Он завоевал также и ее любовь (Толстяк Рене Дю Парк к тому времени умер), в частности, тем, что написал для нее "Андромаху", поставленную сначала у Мольера, а потом перекочевавшую с нею в главной роли в Бургундский Отель. Дружбе Расина с Мольером (который до тех пор покровительствовал молодому таланту) на этом, естественно, пришел конец, а конец роману Расина с мадемуазель Дю Парк (для которого она была тем, что по-английски называется an older woman, — более опытной, богатой и знаменитой, чем он сам) положила ее ранняя смерть, по-видимому, от выкидыша, хотя в дальнейшем циркулировали подозрения (до сих пор не опровергнутые), что она была отравлена Расином!

В свое время я не обратил внимания, но в булгаковском "Жизнеописании господина де Мольера" (1933; опубл. 1962) перипетии взаимоотношений трех великих драматургов с несравненной Маркизой проходят пунктиром на протяжении доброй сотни страниц. История, конечно, захватывающая. Три главных классика эпохи Короля-Солнца оказываются вовлеченными в единую интригу, в центре которой знаменитая красавица. Типичное *шерше ля фам*! Как если бы вокруг Анны Петровны Керн конфликтовали Пушкин, Лермонтов и Гоголь (ну, Гоголь не по этому делу, пусть тогда Грибоедов).

3

Вчитаемся в биографические данные и, поскольку и Корнель, и Бернар акцентируют возраст, присмотримся к цифрам.

Корнель рисует себя старым — в 52 года! А ведь ему предстоит прожить еще четверть века и пережить не только Мольера (на десяток

лет), но и саму Маркизу (на 16 — на столько же, на сколько он старше Мольера). Вообще, Маркизу переживут все трое: она умрет тридцати с небольшим и *старой* так и не станет — вопреки угрозам Корнеля (может быть, поэтому Бернар вложит ей в уста осторожное *"Peut être..."*, "Возможно..."). Дольше всех проживет как раз самый старший из трех драматургов — Корнель (78 лет, лишь немного меньше, чем столетия спустя Бернар, 81). Расин умрет в 60 (как в дальнейшем Брассенс). Мольер проживет всего 51 год. Зато как автор он окажется, наоборот, самым долговечным: сегодня его ставят и читают больше, чем Расина, а Расина — больше, чем Корнеля.

Собственно, в "Стансах" Корнеля цифр нет, но Бернар вкладывает в уста Маркизе числительное *двадцать шесть*, хотя, сколько именно лет ей было в 1658 году, неясно. Надо надеяться, что французские бернароведы и дюпаркологи эту научную проблему уже решили. О Маркизе есть монографии (см., например, http://openlibrary.org/b/OL17454915M/Marquise_du_Parc), фигурирует она и в фильмах — о Мольере (1978; 2007) и даже о ней самой (1997; ее играет Софи Марсо).

Сенсационная (и даже не очень) личная жизнь художников — излюбленная тема пишущих об искусстве, хотя в общем-то известно, что самое у них интересное — это их произведения. Поэтому от драм реальной жизни обратимся к собственно литературе — "Стансам" Корнеля. Их, этих стансов, то есть строф, у него не три, а восемь. Приведу недостающие (опять в оригинале и в переводе Квятковской; современную, немного ироничную, декламацию полного французского текста "Стансов" можно послушать вот здесь: http://www.nme.com/video/id/77a-mtRStlQ/search/Pierre%20Corneille).

Cependant j'ai quelques charmes
Qui sont assez éclatants
Pour n'avoir pas trop d'alarmes
De ces ravages du temps.

Vous en avez qu'on adore;
Mais ceux que vous méprisez
Pourraient bien durer encore
Quand ceux-là seront usés.

Ils pourront sauver la gloire
Des yeux qui me semblent doux,
Et dans mille ans faire croire
Ce qu'il me plaira de vous.

Chez cette race nouvelle,
Où j'aurai quelque crédit,
Vous ne passerez pour belle
Qu'autant que je l'aurai dit.

Pensez-y, belle Marquise.
Quoiqu'un grison fasse effroi,
Il vaut bien qu'on le courtise,
Quand il est fait comme moi.

Но уберег от разрушенья
Я некий дар — он не пройдет.
Мне с ним не страшно
лет теченье
Его и время не берет!

Да, Ваши чары несравненны,
Но те, что мало ценит свет,
Одни пребудут неизменны.
Переживут и Ваш расцвет.

Они спасут, быть может, славу
Меня очаровавших глаз

И через сотню лет по праву
Заставят говорить о Вас;

Среди грядущих поколений,
Где я признанье обрету,
Лишь из моих стихотворений
Узнают Вашу красоту.

И пусть морщины некрасивы,
Маркиза милая моя,
Но старцу угождать должны Вы,
Когда он сотворен, как я.

Оказывается, Брассенс опустил самое главное! Корнель только начинает с разговоров о возрасте и времени, а затем переходит к средству против них, каковым объявляет — в духе почтенной литературной традиции — нетленное искусство поэзии. И делает это с полным успехом. Читая его "Стансы" — и даже слушая их урезанную брассенсовскую версию — мы испытываем непосредственное воздействие его стихотворных *чар*, а что касается красоты Маркизы (и тем более ее актерского искусства), то тут мы должны довериться ему и другим мастерам слова и кисти. Факт остается фактом: она таки да умерла, а он таки да жив — в своих стихах. *Нет, весь я не умру*... Более того, по иронии судьбы — подобно тому, как от Вольтера по-настоящему остался лишь написанный им между делом "Кандид", — "Стансы", наверно, живее всех корнелевских трагедий. В свидетели своего будущего торжества поэт призывает нас (буквально: "эту новую расу, у которой я буду иметь некоторый кредит"), и при чтении этих строчек я остро чувствую эстетический, да и экзистенциальный, укол: стихи безошибочно бьют в точку. Маркиза же светит лишь отраженным светом, да, собственно, поэт и не брался ее прославить, а лишь расхваливал свой товар, предлагая ей бартерную сделку, на которую она не пошла.

4

Заговорив о сделке, я вступаю на рискованный путь и наверняка вызову недовольство некоторых читателей, в особенности из числа не владеющих французским и потому вынужденных полагаться на перевод. Перевод же этот, хотя и способствует ознакомлению со "Стансами", неточен. Я имею в виду не просто потери (и вольности), неизбежные при стихотворной передаче оригинала, а целенаправленное и тем менее извинительное искажение авторского замысла. Искажение очень характерное — "в хорошую сторону", "облагораживающее" оригинал путем смягчения и, значит, смазывания его своеобразного в своей деловой жесткости дизайна.

Коммерческий дискурс явственно проступает сквозь любовную фразеологию, например, в выборе слова "crédit", "кредит" (см. выше), которое в переводе заменяется менее торгашеским, зато более привычным при разговоре о литературном успехе *признаньем*: *Среди грядущих поколений, / Где я признанье обрету*. Подспудно

мотив "стоимости" появляется в первой же строфе "Стансов": *Souvenez-vous qu'à mon âge / Vous ne vaudrez guère mieux.* В переводе (*Но согласитесь, что с летами / Вы станете подобны мне*) общий смысл передан, но важный нюанс пропадает: *vaudrez* — форма глагола "valoir", "стоить", то есть буквально в оригинале сказано: "Помните, что в моем возрасте Вы будете стоить не многим больше [моего]". Тот же глагол возвращается в заключительных строках: *Il vaut bien qu'on le courtise, / Quand il est fait comme moi*, букв. "За ним сто́ит как следует поухаживать, если он создан, как я".

Убеждая красавицу в выгодности предлагаемой сделки, поэт не только всячески подчеркивает непреходящую ценность собственного *дара*, но и систематически принижает бесспорность ее *чар*, — в оригинале у него тоже "чары" благодаря каламбурному употреблению слова "charmes". О ее достоинствах он говорит все время с оговорками и в неком предположительном ключе. Не только им предстоит со временем "сноситься" ("seront usés"), но даже и в момент сочинения "Стансов" ее глаза лишь "кажутся мне нежными" (*Des yeux qui me semblent doux*), и потребуются усилия поэта, чтобы заставить будущих читателей поверить в ее красоту: *Et dans mille ans faire croire...*; глагол "croire", "верить", перекликается здесь с исходным значением слова "crédit", "доверие", которое появится в следующей строфе. Да и поверить он может заставить их не обязательно в ее красоту и другие прелести, а во что пожелает (*Ce qu'il me plaira de vous*). Вот о чем ей в последней строфе и будет предложено подумать (*Pensez-y...*), поскольку "Вы сойдете за красивую ровно настолько, насколько я это скажу" (*Vous ne passerez pour belle Qu'autant que je l'aurai dit*), — еще один коммерческий аргумент: "столько, сколько"! В переводе большинство этих "деловых" обертонов исчезает.

Смягчен в переводе и образ лирического субъекта — кавалера, настаивающего на своих требованиях очень жестко. Прежде всего, вся композиция стихотворения, начинающегося с *Маркиза*, а кончающегося на... *я* (в переводе это передано точно), выстроена так, что поэт, в начале признающий свою ущербность по сравнению с красавицей, постепенно предстает в качестве партнера, ей равного, а затем и превосходящего ее по решающим параметрам. Вывод: не ему надо соблазнять ее, а ей ухаживать за ним — именно таков буквальный смысл глагола "courtise"; среди его значений есть и "угождать" (использованное в переводе), но в амурном контексте "Стансов" вперед выступает его придворный, куртуазный смысл.

Перекладывание обязанности *ухаживать* на адресатку хорошо согласуется с последовательным отказом поэта от установки на ее соблазнение. В русском переводе он обращается к ней *Маркиза милая*

моя, но в оригинале он с некой объективной отчужденностью говорит просто *belle Marquise*, "прекрасная Маркиза". В переводе он сваливает неуважение к поэзии на некое светское общество (в духе лермонтовской "Смерти поэта"): *Но те* [достоинства], *что мало ценит свет*, в оригинале же прямо пеняет самой Маркизе: *Mais ceux que vous méprisez*, "Но те, которые Вы презираете".

Без стеснения прописывает он и свое силовое превосходство. Во второй строфе себя он вместе с Маркизой изображает подвластным капризам всесильного времени, которому "нравится наносить обиды [букв. "делать афронт"] всему прекрасному" и которое "сумеет осыпать Ваши розы" (*Le temps aux plus belles choses Se plaît à faire un affront, Et saura faner vos roses...*). Когда же доходит до утверждения собственного торжества над временем, поэт переносит характерный язык его описания на себя самого. Таковы:

— уже знакомая нам формулировка *Ce qu'il me plaira de vous*, букв. "Что мне понравится [захочется сказать] про Вас";

— слова о том, что его чары *pourront sauver la gloire*, букв. "смогут спасти [Вашу] славу"; и

— фраза из финального автопортрета: *Quoiqu'un grison fasse effroi*, букв. "Хотя седой старик и может внушать [букв. делать] страх", — в *fasse effroi* слышится фонетический и смысловой отзвук *faire un affront*, "делания афронта", из второй строфы.

Я постарался выделить специфические особенности корнелевского стихотворения, вообще-то глубоко укорененного в поэтической традиции. Не пускаясь в перечисление великих имен и текстов, отмечу, что осыпающиеся розы — общее место стихов на тему "carpe diem", "лови мгновенье". Она часто совмещается с темой старения и неумолимости хода времени. Поединок со временем, в свою очередь, притягивает классический мотив нерукотворного памятника, создаваемого поэтом себе, а иногда и любимой. Увековечение ее образа может упоминаться мельком, а может становиться стержнем всего текста, гранича таким образом с еще одним древним мотивом — Пигмалиона и Галатеи. Взаимоотношения поэта с портретируемой им женщиной тоже варьируются: она может быть красива (общий случай) или не очень (у Баратынского *Красавицей ее не назовут*); быть моложе, старше или одних лет с ним; отвечать ему взаимностью или нет; быть его подругой, женой или соблазняемой им, но пока неприступной возлюбленной; склоняться или нет на его уговоры и так далее. В тех случаях, когда близости поэту нужно еще добиваться, возникает дополнительное напряжение, открывающее простор для риторического поединка: поэт разворачивает целую систему доводов (типа: лови мгнове-

нье, рассчитывай на увековечение и так далее), призванных убедить недотрогу отдаться. Яркие примеры такой аргументации являет поэзия XVI–XVII веков.

Самое знаменитое стихотворение современника французских классицистов, английского поэта так называемой метафизической школы Эндрю Марвелла (1621–1678), называется "К его застенчивой возлюбленной" (ок. 1651; опубл. 1681; http://www.luminarium.org/sevenlit/marvell/ coy.htm; существует перевод И. Бродского). В нем на протяжении полусотни строк развертывается ироническая аргументация в пользу того, чтобы ввиду нехватки времени на постепенное соблазнение возлюбленной путем заслуженных похвал всем частям ее тела (а там и ее душе), на каждую из которых потребовались бы столетия, предаться любви немедленно и этим посрамить ход времени и самого солнца. Оригинален прежде всего способ совмещения трех готовых мотивов: убегающего мгновения, списка совершенств и бессилия поэта перед творческой задачей. На что накладывается эффектный контраст между призывом поторопиться и длиной обосновывающего этот призыв текста.

А у Пьера Ронсара (1524–1585), жившего веком раньше, есть сонет к холодной, как зима, возлюбленной, которую он уговаривает полюбить его не только за воспевание ее в стихах, указывая, что она не настолько хороша, чтобы пренебрегать им и чтобы он не мог предпочесть ей другую, и призывает примириться с его сединами, обещая в ответ любить седою и ее ("Первая книга сонетов к Елене", 1578; сонет XXII; http://www.textetc.com/workshop/wt-ronsard-2.html; рус. перев. В. Левика: http://lukianpovorotov.narod.ru/ronsard.html#Когда%20в%20ее%20груди%20пустыня%20снеговая).

Как же на общелитературном фоне выглядят "Стансы к Маркизе"? Они явно вписываются в традицию, но столь же явно выгораживают себе в ней особое место. Корнель доводит до предела как противостояние между поэтом и предметом его желаний, так и рассудочность аргументации. Противостояние возгоняется до откровенной взаимной враждебности, а риторическая убедительность – до изощренного шантажа. Поэт пытается, в сущности, не соблазнить Маркизу, а принудить ее к сдаче. Он как бы требует любви по расчету, что иронически согласуется с его ролью могущественного старика и, если угодно, с центральным принципом классицистической трагедии: торжеством долга над любовью. Может быть, один из творческих секретов "Стансов" – в том, что они написаны великим драматургом: перед нами не столько лирическое стихотворение, сколько монолог трагического героя. В любом случае, стихи превосходные, а

прекрасная маркиза — лишь повод для них, как сказал бы Брюсов.

* * *

Возвратимся к Брассенсу. Легко видеть, что он свел дело исключительно к биологическим реалиям, для чего выбросил все металитературные шуры-муры и добавил остроумную, но все в том же приземленном ключе, строфу Бернара. Характерно, однако, что Корнель ему все же понадобился.

Пусть старый и отвергаемый, именно он освящает блатноватый перформанс своим авторитетным присутствием. Чтобы еще больше оживить сюжетную клубничку, исполнители брассенсовских "Стансов к Маркизе", иногда знакомят аудиторию с их житейской подоплекой, подчеркивая нелепость сексуальных притязаний "старого подлеца" Корнеля (букв.: "старой свиньи", *vieux cochon*; http://www.youtube.com/watch?v=yS2vPQ62_mA). Но поют — его.

Мабель Велис Блинова
Судьба корриды

Родится ли когда иль не родится
с судьбой такою бурной андалузец?
О красоте твоей пою со стоном,
и грустно шелестит в оливах ветер[1].

Федерико Гарсиа Лорка
Плач по Игнасьо Санчесу Мехиасу[2]

Несколько месяцев назад, а конкретнее 28 июля, во всех средствах массовой информации Испании, включая ведущие газеты "Эль Паис", "Эль Мундо", "Ла Расон" и "АБЦ", появилась новость, вызвавшая ожесточенную полемику национального масштаба среди политиков и в культурных кругах. Речь идет о запрете корриды парламентом Каталонии на территории этой автономии начиная с 2012 года. Эта новость завладела вниманием страны и разбудила страсти по всей Испании, разделив испанцев на два лагеря: одни считают запрещение боя быков в Каталонии покушением на национальную культуру, другие приветствуют такое решение, называя его справедливой мерой в деле защиты прав животных, а этому в Испании придается немалое значение.

Я восприняла новость с двойственным чувством, мне было неясно, кто прав. Испанцы до сих пор не могут прийти к согласию по поводу такой непростой темы, ведь она затрагивает и политику, и культуру, и вековые национальные традиции, и гуманное обращение с животными.

Термин "тавромагия", под которым мы обычно подразумеваем бой быков, объясняется толковыми словарями испанского языка как "искусство сражения с быком", подчеркиваю, *искусство*, то есть человеческая деятельность, посвященная созданию прекрасного. В бое быков это *прекрасное* тесно связано с эмоциями, ко-

© Мабель Велис Блинова, 2011

1. Перевод М. Зенкевича
2. Игнасьо Санчес Мехиас — знаменитый испанский тореро, близкий друг Лорки.

торые пробуждает поединок между человеком и животным, между смелостью и яростью, жизнью и смертью, мужеством и страхом, — все это сильные, темпераментные переживания, где нет места беспристрастности и объективности, а это и порождает сложности при попытке рассудочно подойти к корриде. Сложно защитить необходимость сохранить ее как культурное достояние перед напором критики, поскольку коррида очень тесно соприкасается с миром чувств, которые не всегда можно объяснить. В более выгодном положении находятся защитники отмены корриды, чьи доводы, в принципе, логичны и даже справедливы, они сосредоточены на фигуре быка и его страдании, на боли, которую бык испытывает во время боя, не говоря уже о самой смерти животного.

Решение каталонского парламента было встречено противниками боя быков с подлинным энтузиазмом, ведь речь идет об историческом голосовании, покончившем в Каталонии со старинной традицией, которую они считают варварским культом. В данном случае нельзя забывать, что Каталония, будучи автономной областью Испании с коллективным самосознанием, с собственным языком и культурой, веками предъявляла права на обособленность. Реакция любителей корриды тоже не заставила себя ждать, с их точки зрения это решение направлено против национальной испанской самобытности, они увидели в нем скорее политический, нежели гуманный подтекст.

Вскоре, после того как прозвучала эта новость, раздались первые голоса представителей испанской культуры, среди которых следует упомянуть писателя Фернандо Савater, оперного певца Пласидо Доминго, члена Испанской Королевской академии наук Луиса Марии Ансона, каталонского поэта и также члена Испанской Королевской академии Пере Жимферре, поэта и барда Хоакина Сабины. Все они не скрывали глубокого недовольства запретом корриды, считая его политическим маневром и пренебрежением интересами и мнением тех, кто любит и понимает корриду в самой Каталонии, ведь каталонцам — любителям корриды — придется забыть о бое быков, не говоря уже о самих тореро, перед которыми в 2012 закроются двери Монументаль, одной из прославленных площадей боя быков в Испании.

Открыто выступил против решения парламента один из крупнейших писателей современности, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса, чья жизнь тесно связана с Испанией и ее культурой. Перуанский писатель, неоднократно получавший премии за свои статьи в защиту боя быков, не отрицает, что корриде присуща жестокость, но видит в этом свойство человеческой натуры, нашедшее воплоще-

ние в искусстве корриды с ее вековой традицией и историей[1].

Разделяет эту позицию известная испанская писательница Альмудена Грандес. Она не скрывает своего искреннего восхищения корридой, видя в ней "несравненное чудо, когда напротив полутонны плоти и двух заостренных рогов стоит беззащитный человек, вооруженный перед лицом смерти только мулетой и своим искусством"[2].

Артуро Перес Реверте никогда не обозначал четко своей позиции по поводу корриды, но и он не остался равнодушным к этой теме. По его словам, в корриде бык, вступая в поединок с отважным человеком, показывает свою суть яростного и дикого животного, "чтобы умереть, убивая"[3], и превратиться в главную фигуру "в некоем трагическом и завораживающем ритуале, который позволяет внимательному наблюдателю прикоснуться к заветным тайнам жизни"[4].

Иное мнение у замечательного испанского писателя Антонио Муньоса Молины. Он видит в корриде образ архаичной Испании, страны, где бой быков когда-то предоставлял крестьянским сыновьям одну из немногих возможностей выйти из бедности. Для Муньоса Молины коррида — это кровавое развлечение, навевающее тоску, заставляющее испытывать стыд, немыслимое в современном демократическом обществе. Но что касается решения каталонского парламента, писатель не верит в то, что оно было принято в целях защиты прав животных[1]. Это довольно распространенное и, по-видимому, справедливое мнение, в нем трудно усомниться особенно после того, как тот же парламент спустя два месяца после запрета корриды отказался принимать аналогичное решение о запрете "корребоус", бега быков, одного из самых распространенных и жестоких празднеств на юге автономии, лишенного какой бы то ни было эстетики, где бык превращается в развлечение для толпы, которая в диком раже преследует беззащитное животное и издевается над ним.

Среди деятелей культуры, открыто высказавшихся по этому вопросу, преобладает число голосов в защиту корриды. Не знаю, насколько этот факт является показательным, ведь в действительности, несмотря на то что эта тема живо обсуждалась в средствах массовой информации и в обществе, очень немногие представители испанской культуры сделали заявления по этому поводу.

1. Mario Vargas Llosa. Torear y otras maldades // El Pais, 2010.04.18.
2. Almudena Grandes. Arte // El Pais, 2010.03.08.
3. Arturo Perez Reverte. Lo que se sobre toros y toreros // El Semanal, 2008.05.04.
4. Там же.

1. Antonio Munoz Molina. De puro aburrimiento // Web oficial: http://antoniomunozmolina.es/, 2010.07.28.

А ведь речь идет не просто о национальном зрелище, это прежде всего традиция с глубокими корнями, которая вдохновила на создание подлинных шедевров замечательных писателей, поэтов, художников, режиссеров первого ряда, как испанцев, так и иностранцев, людей разных эпох и поколений, хотя не все они являлись поклонниками корриды. Это Франсиско Кеведо, Франсиско де Гойя, Фернандес де Моратин, Жорж Бизе, Висенте Бласко Ибаньес, Эрнест Хемингуэй, Мигель Эрнандес, Федерико Гарсиа Лорка, Хосе Мария де Коссио, Антонио Мачадо, Камило Хосе Села, Хосе Эустасио Ривера, Пабло Неруда, Антонио Гала, Мариано Ролдан, Пабло Пикассо, Луис Бунюэль, Луис Гарсиа Берланга, Педро Альмодовар и многие другие.

Бесспорно, тавромагия являлась и является частью испанской культуры, и есть в ней далеко не только кровь и жестокость, иначе она не пробудила бы интерес в столь незаурядных людях, не околдовала бы их, как это случилось с Хемингуэем и Бунюэлем. Судьба корриды заслуживает особого внимания, серьезного осмысления. Я не призываю забыть о здравом смысле, но я думаю, что необходимо помнить о роли в жизни нации тех культурных традиций, которые освящены веками, необходимо пытаться *понять* такое сложное явление как коррида, не упуская из виду его противоречивую сущность.

Я разделяю мнение тех, кто убежден в том, что люди, от которых зависит судьба столь важного культурного явления, обязаны задуматься над его сутью, не ставя его будущее в зависимость от политических интересов, не говоря уже о личных, а именно этого и не случилось в Каталонии по мнению Марио Варгаса Льосы, Фернандо Саватера, Пере Жимферре, Пласидо Доминго, и даже противника корриды Антонио Муньоса Молины.

Предметом озабоченности выдающихся деятелей культуры, которую они выразили в своих выступлениях и публикациях, является опасность запрета корриды по всей Испании (хотя в данный момент коррида запрещена только в Каталонии и на Канарских островах), что стало бы с их точки зрения отказом от одного из самых репрезентативных и общеизвестных символов испанской идентичности. Нельзя забывать, что коррида, являясь самостоятельным искусством, оказала бесспорное влияние на музыку, танец, на сам испанский язык, в который вошло немало слов из терминологии тавромагии. Для многих коррида символизирует и воплощает в себе сам дух Испании, именно здесь демонстрируется испанская отвага и страсть, а бык воспринимается (это сохранилось с доисторических времен) как замечательное существо, особо одаренное сексуально, отличающееся непобедимой си-

лой, телесной мощью и бесстрашием.

Я сама два раза побывала на корриде в конце 90-х, на легендарной площади боя быков Монументаль в Барселоне, и сумела почувствовать там среду корриды и ее дух. Не могу забыть вторую корриду, после которой мое представление о ней в основном как о жестоком, хотя и не лишенном таинственной притягательности, зрелище, существенно изменилось. В этой корриде выступали трое самых известных тореро, Эспартако, Эль Хули и Финито де Кордоба. В тот вечер передо мной открылась магическая сторона этого зрелища, к тому же эта коррида вошла в историю, поскольку, по решению председателя и по просьбе публики и самого тореро, быку даровали жизнь. Превосходному тореро Финито де Кордоба повезло с быком (я говорю о везении, так как настоящие тореро более всего боятся вступить в поединок с ручным и вялым зверем). Вся площадь встала, потрясенная стойкостью быка, публика призывала помиловать животное, которое не хотело сдаваться, несмотря на боль и усталость. И просьба зрителей была услышана.

Известные тореро и деятели культуры сегодня добиваются признания корриды как общенационального культурного достояния, а это совсем нелегкая задача, она требует усилий бюрократического аппарата, работы над законами, поддержки в парламенте. Сторонники корриды стремятся воспрепятствовать повторению каталонского прецедента, они не желают потерять то немногое, что осталось от исконных традиций в мире, все более погружающемся в глобализм, становящемся все более однородным и серым.

Немецкое кабаре 20–30-х годов

Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс

Новый деловой стиль и лирика для всеобщего употребления

Новый деловой стиль (Neue Sachlichkeit) — это направление в немецкой литературе (1918—1933), возникшее в период Веймарской республики и закончившееся с установлением в Германии фашистской диктатуры. Подчеркнуто трезвое и реалистическое, холодно-дистанцированное от наблюдаемого объекта, оно использовало повседневную лексику и ориентировалось на злободневные сюжеты.

Этот стиль появился как реакция на ограниченность "старого делового стиля" (реализма) и на вычурность декаданса — на ограниченность двух направлений, господствовавших в литературе начала XX века. Именно из нового делового стиля выросли современный театр и кинематограф. Самыми заметными представителями нового течения были: Бертольт Брехт, Эрих Мария Ремарк, Герман Гессе, Курт Тухольский и ряд других писателей.

Поэзия, возникшая в рамках нового делового стиля, получила, с легкой руки Тухольского, название "лирики для всеобщего употребления" (Gebrauchslyrik). Она, так же как и проза этого направления, отвергала какие-либо романтические иллюзии и отражала технический и духовный кризис общества после Первой мировой войны. Трезвость и скептицизм в оценке всех жизненных реалий породили и особый язык такой поэзии — легкий, насмешливый, нарочито-приземленный. Стихи должны были восприниматься сразу и всеми, быть понятными и общеупотребительными. Поэтому поэзию стремились вывести из академических рамок и придать ей новое звучание и современную форму. Стихотворение превращалось в эстрадные куплеты, сатирическую сценку, в номер для литературного кабаре, чрезвычайно популярного в Германии 20-х годов. Именно из-за злободневности и популярности своего репертуара литературные кабаре оказались в 1933 году закрытыми, так как были, по мнению нацистской пропаганды, "рассадниками еврейского культурного большевизма".

Наибольшее распространение литературные кабаре получили в Берлине. Самым знаменитым было берлинское кабаре "Шаль унд Раух" ("вы-

© Марина Науйокс. Перевод, вступление, 2011

ветрившийся дым" — что-то вроде нашего "прошлогоднего снега"), названное так по выражению из "Фауста" Гёте[1]. Интерес представителей "нового делового стиля" к злободневным и социальным мотивам, а также наличие среди этих авторов остроумных людей с журналистским и актерским прошлым привело к тому, что многие литературные тексты использовались на эстраде или даже специально писались для кабаре. Известность текстов и выступавших артистов была чрезвычайно широкой. Так, например, со всей Европы в Берлин приезжали люди, желающие услышать тексты Тухольского в исполнении сатирика Карла Валентина или эстрадных певиц Клер Вальдофф и Труде Хестерберг. Эти имена в Германии помнят до сих пор — во всяком случае, именно на их стиль ориентируются современные исполнители (например, Макс Раабе).

В настоящее время литературные кабаре в Германии активно возрождаются, и лучшие тексты 20-х годов, используемые в них, не устаревают, а, напротив, приобретают дополнительный шарм и благородную патину времени. Назовем несколько имен, до сих пор присутствующих в репертуарах литературных кабаре.

Курт Тухольский (1890—1935) — классик немецкой литературы, один из наиболее читаемых прозаиков и поэтов в период Веймарской республики. Выходец из буржуазного круга, юрист по образованию. Работал журналистом, литературным и театральным критиком, фельетонистом. По своим политическим взглядам с юности был пацифистом, левым демократом, продолжателем критической традиции Генриха Гейне. С огромным увлечением писал тексты, песни, куплеты для берлинского кабаре "Шаль унд Раух", хотя сам никогда там не выступал. Автор множества юмористических и сатирических фельетонов для газет. В конце жизни эмигрировал в нейтральную Швецию. Не мог примириться с тем, что происходило в это время в Германии, и покончил с собой.

Иоахим Рингельнац (1883—1934) — поэт и сатирик, происходивший, так же как и Тухольский, из буржуазной среды. Вел богемный образ жизни; перепробовал множество профессий (и, между прочим, долго служил матросом); всю свою творческую жизнь связал с литературным кабаре. С 1909 года он регулярно выступает в мюнхенском кабаре "Симпель" ("Простофиля"), где получает титул "домашнего поэта". В 20-е годы читает свои стихи в берлинском "Шаль унд Раух". До 1933 года он, по его выражению, постоянно жил в поездах, так как непрерывно курсировал между множеством городов, где существовали литературные кабаре. Рингельнац — один из немногих поэтов, которые всегда только сами декламировали свои стихи.

Эрих Кестнер (1899—1972) — поэт-сатирик. Каждый немец помнит его детские стихи и рассказы. Юмористические и детские книги Кестнера до сих пор переиздаются и охотно раскупаются. Кестнер много печатался

1. Реплика Фауста в сцене "Сад Марты": "Все дело в чувстве, а названье / Лишь дым, которым блеск сиянья / Без надобности затемнен". Перевод Бориса Пастернака.

еще до Второй мировой войны, был автором сатирических репортажей, комментариев, рецензий и, конечно, стихов. Он часто выступал в литературных кабаре со своими сольными вечерами (сохранилась даже пластинка 20-х годов с его авторской записью). После войны принимал активное участие в деятельности мюнхенских кабаре "Шаубуде" ("Балаганчик") и "Кляйне Фраге" ("Маленький вопросик"). По мнению Тухольского, Кестнер был самым ярким представителем "лирики для всеобщего употребления".

Некоторые стихи этого направления представлены в предлагаемой подборке.

Иоахим Рингельнац

Муравьи

Два муравья в Гамбурге жили,
в отпуск в Австралию сползать решили.
Собрались — и двинулись. Но метрах в трехстах
вдруг ощутили усталость в ногах.
И мудро тогда отказались они
от остающейся части пути.
Мораль:
Что-то не клеится? Врите уверенно,
что планы свои изменили намеренно!

Всё!

И снова молча обхожу
я дом, где мы встречались.
С тех пор — ума не приложу,
как десять лет промчались.

Ты хороша, стройна, добра,
ты просто лорелейна.
Эх, не сломать бы мне пе́ра,
ведь я не Генрих Гейне.

Но прячу я мечты в карман,
ведь в памяти все живо —
как рвется сердце пополам,
и голос твой фальшивый.

Мои подошвы

Мне были милы и близки,
хоть находились так низко,
подошвы моих штиблет.

Вечно не зная покоя,
они облипали листвою,
окурками сигарет.
Как бедняжки истрепаны, боже,
места крепкого не отыскать.
Кто подметок любить не может,
не сумеет и душу понять.

В ожиданье разлуки тоскую,
умеряю привычную прыть —
или я их несу в мастерскую,
или им уж меня не носить!

Разговор поэта с его первым слушателем

Сочинение стихов вслух

— Неслись две прекрасные сардинки
к могиле...
— Где ж в море погост?
— В теченье морском, в серединке,
толкало волнами их в хвост.

— Где смогут усопшие все же
свой вечный покой обрести?
— Пусть жидкое ложе поможет
до Африки их донести.

— Под вечер, в предсмертной печали,
их исповедь стыла во мгле...
— Уж лучше б они помолчали,
не хрипли в холодной воде.

— Но вот жизнь в сардинках затухла,
и плыть им по воле стихий.
— И в то же мгновенье протухли
рыбные эти стихи.

На чужбине

Живя в чужом доме
(что уже не сахар),
я раз чуть не помер
поздно ночью от страха.

Вдруг зашуршало,
вдруг застонало,
и из кладовки
вылезает неловко —
с черной головкой
и пестрой спинкой —
морская свинка.

Смотрела пугливо,
смотрела пытливо,
сначала смутилась,
потом решилась
и вот стыдливо
ко мне обратилась:
“Скажите, пожалуйста, я правильно иду к морю?..”

Эрих Кестнер

Задачка по экономике

Всем был понятен их мотив —
дела не шли, хоть плачь.
И вот создали коллектив,
устав от неудач.

Пусть будут вместо всех забот
и деньги, и почет!
Но все по-прежнему — не тот,
не верный был расчет.

С нолями им не повезло.
Хоть поперек, хоть вдоль —
ноль умножая на число,
они в итоге, как назло,
имели тот же ноль.

Развитие человечества

Парням до сих пор бы по веткам скакать —
с рычаньем и зверским оскалом.
Но кто-то надумал их в джунглях искать,
асфальтом поляну в лесу закатать,
построить им почту с вокзалом.

Теперь троглодиты, всех блох перебив,
спешат обустроить планету.
И — лапы под краном помыть не забыв —
пьют перед ужином аперитив,
но сходства с людьми все нету.

Все страны и веси собой засоря,
стригутся, читают газеты.
Но шерсть и клыки выдают дикаря,
им кажется "штучкой столичной" Земля,
раз созданы ватерклозеты.

Открыли микробы, протон, электрон,
приемник в квартирах затренькал.
Гудел холодильник, звонил телефон,
но не мешал им "хороший тон"
вставать и на четвереньки.

Исследован космос, знакома Луна,
и вот ведь — казалось утопией! —
создали секретный продукт из дерьма,
дознались одною лишь силой ума,
что Цезарь страдал плоскостопием.

Вот самый ленивый уж с дерева слез,
умыт и одет без изъяна.
Так весь человеческий род и прогресс
нам обеспечил тропический лес
и мама одна — обезьяна.

1932

Ну *почему?*

Ну почему семь тыщ кило — не тонна?
И почему полпервого — не пять?
И Эрна почему-то — не Ивонна?
И почему Луна моргает сонно?
И почему письма мне нет опять?

Зачем профессор знает все на свете?
Кто носит с фраком лыжные штаны?
Зачем в капусте вырастают дети?
Зачем дома не строятся по смете?
Зачем мои вопросы так сложны?

Кто запретил подделывать банкноты?
Никак я жажды знаний не уйму.
Ну почему все любят анекдоты?
Ну почему не носят летом боты?
Хвала ему, пытливому уму,
но — ПОЧЕМУ???

Курт Тухольский

Жена поэта — его поклонницам

Мой толстый муж слывет поэтом?
Да это просто смех один!
Он — донжуан? Не верьте в это,
он — обыватель, мещанин.

Он пишет пошлые поэмы,
как он от страсти умирал,
как в нищете, в кругу богемы,
от вдохновенья воспарял.

И утром писем и фиалок
ему не стоит присылать —
мне выдаст почта ваш подарок,
муж слишком долго любит спать.

С утра до ночи есть он просит,
обрюзг, ленив, все не по нем.
И только шнапс ему приносит
мгновенно творческий подъем.

В одетом виде и раздетом
вы хороши — ведь он эстет.
Мой толстый муж слывет поэтом?
Поэт он в книгах. В жизни — нет.

1919

– Да!
– Нет!
– Кто виноват?
– Не я!
– К чертям собачьим, отстань от меня!

– Ты тетю Клару опять зовешь!
– Ты мою маму не признаешь!
– Ты всюду чертов изюм кладешь!
– Ты мне зарплату не отдаешь!

– Ты не видишь моей правоты!
– Кто виноват?
– Ты!
– Ну конечно, ты прав, как всегда.
– Нет! Да!

– Кто запретил детям трогать ракетки?
– Кто каждый день пилит их за отметки?
– Кому, черт возьми, я рубашки стираю?
За кем день и ночь я все убираю?
– Кому не нравится спать на перинке?
– Кто приставал к посторонней блондинке?
Ты изменился!
– И ты не та!
– Нет!
– Да!
– Подумать только, как белка кручусь!
Все кончено! Развожусь!

Остановитесь, больше ни слова!
Ваши проблемы совсем не новы.
Где многих браков слабое место?
Живут слишком долго и слишком вместе.

Человек одинок. Ищет другого.
Синяки набивает, но ищет снова,
сил же хватает на год или два.
Это – супружество у большинства.
Не нужно ни ссор, ни примирений,
и при выяснении отношений
сгоните злую гримасу с лица,
будьте добрее, и так – до конца.

Ну успокойтесь вы, погодите,
Годы связали вас, как ни вертите.
Вдвоем очень трудно. Но одному
Трудней справляться со всем самому.

1928

Новый муж

Вы познакомились на вечеринке.
Он шутит, танцует и чудо как мил.
И всюду бывал, читал все новинки,
он очень молод, но не инфантил.
Пробор до затылка, походка упруга...
Но вдруг натыкаетесь вы на супруга.

Невольно приходит сравненье — и что же?
Ваш муж что-то мямлит, толчется и вот...
Вы видите вдруг: он плешивый — о Боже! —
и толстая шея, и этот живот!
И вы размечтались, сомненья гоня:
вот если бы новый был муж у меня!

Опомнитесь, милая дама, о ком вы?
Зачем вам любовная вся суета?
Что прежний супруг, что ваш новый знакомый...
Пусть речка другая, водичка — все та.

Оставьте, сударыня, ваши замашки:
когда он придет к вам в измятой рубашке,
когда вам наскучат все те же объятья,
и ласки все те же, и те же проклятья,
когда не останется прежнего лоска,
шутить он начнет так же глупо и плоско...

...Тогда будет поздно. Кто лучше жизнь знает,
иллюзий насчет нее не питает.
Мы хвост распускаем и ищем невесту,
а в браке — как все, как сосед по подъезду.

Ну что ж, не всегда все бывает по шерстке,
но, если уж все-таки кто-то нашелся,
с кем можно ужиться — то лучше, то хуже, —
останьтесь-ка вы с вашим собственным мужем!

1930

И *так всегда?*

К примеру, вы, герр Ротшильд. Ну и фрукт!
У вас есть всё, ну вплоть до океана:
заводы, деньги, дорогой досуг
и женщины — вкуснее марципана.
И все ж мне кажется, что ночью, в тишине
бормочете вы на ухо жене:
"Устал от непосильного труда —
всех денег не истратить никогда!"

Иль вот, к примеру, господин Супруг.
Вы сочетались с записной красоткой,
что там Венера — девушка без рук
с тяжеловесной каменной походкой.
Какая женщина — навечно и при вас, —
глядеть бы вам, не отрывая глаз...
Но вот жужжит в варенье мошкара:
"Все з-з-з-завтра будет так ж-ж-ж-же, как вчера!"

О человек! У счастья два лица.
Хотим тех благ, что пролетают мимо.
А все, что длится в жизни без конца,
уже не столь желанно и ценимо.
Вот курица. Что может быть вкусней?
А если каждое застолье — *только* с ней?
Но это поправимая беда —
Ведь курица в меню не навсегда.

1930

Как это бывает

а) утешение для женатого

Уйду! Осточертело! Не позволю!
Вприпрыжку мысли вырвались на волю.
И представляешь: вот найти бы штучку...
Сказать ей... Та ответит... Взять под ручку...
Но даже если и пройдет все гладко,
не так уж это, в сущности, и сладко!

Послушай, иногда и тигр зевнет в вольере;
тебе — нельзя. Ты должен о карьере,
о модах, об артистах, режиссерах,
о ресторанах, празднествах, призерах

выслушивать ее наивный бред —
на радость ей, себе во вред.
Но даже если и пройдет все гладко,
не так уж это, в сущности, и сладко!

Об оргиях мечтаешь с этой дамою?
Дурак ты, парень, будет то же самое.
Все та же глупость, чепуха, ужимки,
как песенка заезженной пластинки.
И ты последний пфенниг из кармана
потратишь на прививку Вассермана.
Но даже если и пройдет все гладко,
не так уж это, в сущности, и сладко!

Послушай-ка, фантазию уйми.
Живи, как жил. С женою и детьми.

б) утешение для холостяка

Жизнь обесцветилась, но внешне все в порядке.
Все чаще ходишь ты к соседу по площадке.
Там — две племянницы. Тут свататься, не ныть бы.
Все чаще думаешь ты о женитьбе.

Не заносись. Уйми ты гонор свой —
все та же курица в тарелке суповой,
гусыня та же ночью под периной —
набившая оскомину картина!
Но даже если и пройдет все гладко,
не так уж это, в сущности, и сладко!

Жена считает простыни, ворчит,
что муж опять весь день в пивной торчит...
что сахар дорог стал... И снова то же,
на женщину давно уж непохожа...

Тут выход очевидный и простой.
Живи, как жил, счастливчик холостой.

в) мораль

Живешь ты один —
нападает сплин,
живешь вместе с нею —
тоска страшнее.
А я и один, и вместе живал,
путь промежуточный — мой идеал.

1932

Блоха

Это случилось в департаменте Гар — да-да, правильно, это там, где Ним и Пон-дю-Гар. Короче говоря, в небольшом городке на юге Франции, на почте, работала одна старая дева. У нее была скверная привычка — она наловчилась открывать письма и читать их. Об этом знали во всей округе. Но вот ведь как во Франции бывает: правопорядок, тайна переписки — освящены законом, их нельзя нарушать; правда, если очень хочется, то можно, хотя и знаешь, что нельзя.

Итак, мадемуазель читала письма и разбалтывала их содержание, что причиняло людям разные неприятности.

В окрестностях стоял красивый замок, а в замке жил-был граф, как ни странно — толковый. Графы иногда бывают толковыми. Во Франции.

И вот этот граф удумал следующее. Он позвал к себе в замок судебного исполнителя и написал при нем письмо своему приятелю:

Дорогой друг!

Я знаю, что почтовая барышня Эмилия Дюпон, лопаясь от любопытства, постоянно читает наши письма. Чтобы пресечь, наконец, такое безобразие, посылаю тебе в этом письме живую и очень кровожадную блоху.

Заранее рад последствиям, твой друг

граф Фу-Фу.

Он запечатал письмо в присутствии судебного исполнителя, но блоху, конечно, не положил.

Когда же получатель открыл конверт, из него первым делом выпрыгнула — кто бы вы думали? — блоха. Тщательно отобранная и соскучившаяся по человечеству.

Коллоквиум в животе

Пасмурный осенний денек в материнской утробе. Близнецы — две штуки, Эрна и Макс — устраиваются поудобнее и тихонько болтают:

— Здорово!

— Привет! Ну, выспался?

— Насколько это возможно в таком бардаке — все ходуном ходит. У меня тут по ночам кошмары.

— А что это ты держишь?

— Ну, ты даешь! Ты что, еще не читала — последние сообщения Имперского союза немецких эмбриончиков?

— Нет еще. А что там?

— Да всё предостерегают нас. Ну вот, смотри — например, нам не потянуть юридического образования. 50 тысяч абитуриентов, 130 тысяч безработных выпускников... Может быть, тут даже два нуля написано, не разберу при этом освещении. Дальше — и на ветеринаров нам не стоит учиться. Лесничие — тоже группа риска, и так далее, и так далее...

— Ну и что?

— Как это что? Молчи, глупый зародыш! Может, ты скажешь, что нам там — снаружи — вообще надо? Правда, тут в статье пока не предостерегают от выбора еще одной распространенной профессии.

— Какой профессии?

— Быть немцем. В общем, если так дальше пойдет, я остаюсь здесь.

— А я, пожалуй, рискну выбраться наружу.

— Какого черта?

— Потому что это наш долг. Так написано в поселковом Церковном листке местечка Роттенбург. Какие там были классные заметки про нас, помнишь? "Жизнь в материнской утробе священна", "Лучше выкормить когорту, чем способствовать аборту", "Автоматам с презервативами — бой!" Мы, чтоб ты знал, — под защитой государства и Церкви!

— Там, снаружи?

— Там — не знаю, но зато здесь — точно.

— Ну, так и оставайся здесь!

— Но ведь у нас аренда только на девять месяцев, ты же знаешь.

— Повеситься на собственной пуповине! Но на своей части жилплощади я все-таки пока остаюсь.

— Съедешь, как миленький! Кстати, не жалуйся на тесноту — хорошо, что нас тут только двое, а не трое, не четверо, не пятеро, не шестеро...

— Ну, понесла! Мы же все-таки не кролики!

— Слушай, а вообще все это уже раз было. Германия опять не может кормить детей, только — крупные компании. Германии нужна безработица.

— Я остаюсь, решено.

— А я буду выбираться.

— Ты не уйдешь! Бессовестный штрейкбрехер!

— Недоносок!

— Яйцо всмятку!
Дерутся и толкаются в животе.

Будущая мама: что это он там разбрыкался?

Поделайте-ка это целый день!

Со стороны все видится иначе. Ну вот как народ прощается на вокзале? При первом же движении поезда пускается в ход носовой платок, производятся различные взмахи руками — как с короткой амплитудой (типа "пока-пока"), так и с долговременным эффектным застыванием (когда поезд уже немного отъезжает). Это правильное, образцовое прощание. Но дежурный по станции не проникается важностью момента. Он видит это сто раз в день и видит совсем по-другому...

А посидите-ка в маленькой клетушке и проверьте сотню другую билетов! "Предъявляйте билеты, ваш билет, сударыня" — и клац, клац, клац компостером, и этот сквозняк, и еще билет разглядеть как следует, а этот балбес билет потерял и орет, как будто я виноват, и опоздавшие, и снова сквозняк, сквозняк, сквозняк...

Попробуйте просидеть с утра до ночи в газетном киоске. Казалось бы и не тяжелая работа, но просто сидеть и читать что-нибудь не получается — все время дергают, и конца им не видно: пожалуйста, "Вечерний Берлин", вот "Новости спорта", доброго утречка, господин Мюллер... еще не завезли... поступит через полчаса... ну, барышня, может, еще какой модный журнальчик, с выкройками?... И все та же улица, зажмуришься — и каждый камень перед глазами стоит. Единственное было развлечение — когда тут недавно две машины столкнулись. Да, вот так-то: снаружи симпатичный пестрый киоск, а внутри... И видится изнутри все по-другому...

Или, вы думаете, очень приятно обтаптывать себе ноги, таская на спине и груди рекламные щиты? Глядишь на людей, но они тебя не видят — читают только твою рекламу. А ты все толчешься на одном пятачке. Что поделаешь, хорошо хоть такая работа есть. Да, со стороны-то кажется, что легко, а потопчитесь-ка так десять часов кряду...

Нет ли желающих покрутить целый день баранку переполненного автобуса? Улочки узкие, вписаться бы в поворот, и скользко после дождя, и вечно боишься опоздать, а проверяльщиков-то сколько — и полиция, и из парка. И ты стара-

ешься сохранить спокойствие, чтобы не приключилось чего, ответственность-то какая! А пассажирам что, приехали по расписанию и — готово — выходят себе наружу, ни о чем таком не думают. Да в общем это и правильно, но только изнутри все видишь по-другому...

А в лифте, припоминаете? Вы зашли на минуту, а лифтерша там каждый день работает. Вверх-вниз, вверх-вниз, одно и то же целый день: пожалуйста, отдел игрушек, следующий этаж — хозтовары и туалет... И снова вверх, и снова вниз...

А кассир у карусели...

А служитель в зоопарке...

А машинист поезда...

А мы — мы все...

Все мы — люди в клетках. Наша жизнь кажется иногда весьма привлекательной тем, кто проходит мимо.

Но изнутри все видится совсем-совсем иначе...

Среди книг

Мифы развенчанные — мифы воссозданные

Маргарита де Валуа *Мемуары. Избранные письма. Документы* / Сост., пер., прим., публ. В. В. Шишкина; При участии Э. Вьенно и Л. Ангара; Отв. ред. Д. Э. Харитонович. — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2010. — 352 с.

Превращенная Александром Дюма в персонаж развлекательной массовой литературы Маргарита де Валуа, супруга Генриха IV, французская королева без королевства, наконец, писательница выходит из тени "королевы Марго" — во всяком случае, для русского и французского читателей. История заступает место вымысла — и при этом оказывается гораздо увлекательнее. Женщина, заявившая, что ее мемуары "заслуживают быть названными Историей, потому что содержат только правду без каких-либо прикрас, на которые я не способна и для чего теперь не имею свободного времени", не может не быть интереснее героини даже самого захватывающего романа.

Книга, подготовленная В. В. Шишкиным, включает в себя три главы: мемуары ее величества, написанные в 1559—1581 годах; избранные письма; некоторые доселе неизданные документы, касающиеся Маргариты. Текст приводится на двух языках. Каждая из глав сопровождена предисловием составителя, а каждый документ — подробными примечаниями, данными, кстати говоря, постранично (редкая в наши дни и похвальная забота о читателе). Таким образом, Маргарита выступает в плотном контексте своей эпохи, что добавляет блистательному образу человечность и обаяние, которое, как известно, смерти неподвластно.

Издание продолжает славную традицию "маргаритоведения", сложившуюся в России и Франции. Шишкин ссылается на работы Е. Б. Черняка и С. Л. Плешковой. Правда, они немотивированно сближают Маргариту де Валуа с "королевой Марго", к тому же тенденциозны и недостоверны. Марго-Маргаритой на Западе занимались Андре Кастело, Жанин Гаррисон, Жан Кастаред, также склонные отождествлять прототип и персонаж. Лишь исследования Элиан Вьено и Жаклин Буше дали "маргаритоведению" новый импульс.

Однако работы этих ученых, судя по всему, грешат излишней феминизированностью.

Складывается ощущение, что подготовленная Шишкиным книга решает две задачи: введение Маргариты де Валуа в пространство внегендерной истории и замену мифа реальностью. Последняя, *за древностию лет*, и сама выглядит вполне мифологично.

Поль Клодель *Познание Востока: Стихотворения в прозе* / П. Клодель: Сост. и пер. с фр. Анны Курт, Анны Райской; Предисл. Доминик Мийе-Жерар. — С параллельным французским текстом. — Прил.: Максимиліанъ Волошинъ. Клодель в Кита("ять"). — М.: Эннеагон Пресс, 2010. — 400 с.

Сразу хочется сказать, что книга эта вышла в рамках французской "программы Пушкин", нацеленной на помощь издательскому делу в России, когда речь идёт о публикации произведений французских авторов. Программа существует с 1989 года. Она дала жизнь более семиста книгам. Идея настоящего издания возникла в Болдине, на одном из русско-французских литературных мероприятий, посвящённых как раз Клоделю.

Случай Поля Клоделя, познающего реалии Китая, — это феномен европейца, ничего не понимающего в "другой" культуре и силящегося освоить ее посредством органов чувств. "Язык ему неведом, местные обычаи кажутся странными. В этом хаосе ему доступны лишь впечатления, и поэт пытается придать им интеллектуальную стройность. Перемена обстановки многое открывает: потерянный в загадочном мире, среди переизбытка впечатлений и символов, Клодель пытается расшифровать их с помощью ключа, который находит в известном изречении схоластов: 'Nihil in intellectu quod non fuerit in sensu' ['Нет ничего в сознании, чего бы раньше не было в ощущении']. 'Познание Востока' рождается из счастливого столкновения обильных впечатлений ('я вижу', 'я слушаю') и необычайной интеллектуальной аскезы ('я понимаю'); умственный взор постоянно перерабатывает и перетасовывает чувственный материал" (Д. Мийе-Жерар).

Добавлю в скобках, что освоение Китая Клодель проделывал согласно методологии Фомы Аквинского, то есть в единстве разума и веры. Мультикультурализм стихотворений в прозе соединяется с ощущением того, что "другая" культура равна себе на всех уровнях ее бытия: "Письмена таинственны тем, что они могут говорить, хотя их речь лишена длительности: иероглиф не имеет возраста, у него нет начала, а значит, нет и места во времени. Нет даже вещающих уст. Он существует, и предстоящий лицом к лицу с ним созерцает внятное имя.

Этот знак в глубине потемневших позолот балдахина, в

сплетении мистических колец дракона, возвещает собственное безмолвие. Просторный красный зал своим цветом подражает тьме, а колонны покрыты пунцовым лаком. Кажется, что свидетельствуют лишь два столпа белого гранита, стоящих посреди храма перед священным словом, и сама благоговейная, отвлеченная нагота этого храма" (Клодель).

"Познание Востока" — из тех редких книг, которые хранят в себе явственные следы процесса создания. То, что переводчики и автор предисловия работали в некоем общем "клоделевском" контексте, делает издание целостным. "Русский Клодель", европеец, творящий миф о Китае, кажется, почти ничего не теряет в сравнении с французским.

Джейн Остин, Бен Х. Уинтерс *Разум и чувства и гады морские; роман* / Пер. с английского Н. Гайдаш. — М.: Астрель: CORPUS, 2010. — 448 с.

Понятие "смерть литературного произведения" фактически неприменимо, как показывает практика, к беллетристике. Казалось бы, что нам до английских аристократок начала XIX века, интенсивно разбирающихся в мире собственных чувств под цепким взглядом автора их истории Джейн Остин? Однако ж роман "Разум и чувства" ("Чувства и чувствительность") выдержал энное количество переизданий, пережил множество экранизаций и остается популярным по сей день.

В один прекрасный момент американскому журналисту и писателю Бену Х. Уинтерсу, видимо, показалось, что в оригинале Остин недостает драматизма, который он произведению и сообщил, переписав роман с учетом дополнительной фабулы. В новой версии из глубин океана в силу таинственных обстоятельств выходят гады морские, дабы истребить людской род, а на суше живет себе семейство Дэшвудов, решающее, согласно сценарию, свои душевно-сердечные проблемы.

Новый роман стал бестселлером "Нью-Йорк таймс" в сентябре 2009 года (следующее сочинение Уинтерса под названием "Андроид Каренина" опубликовано в июне 2010 года; *ждем-с*). Как себя чувствует покойная Джейн Остин и что испытывает ее бессмертная душа при обновлении романа, вопрос не к литературным критикам, а к спиритам. Мы же заметим от себя, что, во-первых, пародия, наряду с мистификацией, есть вполне законный жанр. Во-вторых, отечественная литература знает примеры и покруче — например, "Экспериментальные переводы" М. Л. Гаспарова, который не только перелагал произведения старинных авторов на русский язык, но и делал их "современнее", приближая к восприятию нынешних читателей.

Мнения покойников остались в тайне. Но приз читательских симпатий, кажется, заслужен.

Вера Калмыкова

Ключ внутри

Жорж Перек *Жизнь способ употребления*: Романы. / Перевод с французского Валерия Кислова. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. — 624 с.

По-видимому, тексты Перека охотятся на своих переводчиков. Завлекая тех, кого способны вовлечь. Довести до соучастия. Чтобы профессионализм светился энтузиазмом. Тут нужно иметь некую свободную валентность.

Допускаю, между прочим, что переводить эти тексты интересней, чем просто — будучи, например, французом — читать. И даже — чем (будучи, например, Жоржем Переком) их сочинять.

Перевести Перека — не значит изготовить дубликат. А — повторить эксперимент. В иной физической (добро бы физической!) среде — но неукоснительно (по возможности) придерживаясь методики (предварительно ее разгадав). По-моему, это означает, что успешным должен считаться любой честный результат. Неизбежно неожиданный.

Очередное достижение Валерия Кислова. Очередной рекорд. В прошлый раз он перевел роман (тоже Перека), отключив (как Перек) одну из букв алфавита, — и стал чемпионом по синонимам и перифразам. А теперь ему светит титул короля существительных.

Поскольку данная конструкция держится на описаниях. Состоит из них чуть не наполовину. На многих и многих страницах действуют исключительно предметы быта и обихода, так называемые вещи: действуют присутствием. Воспринимаемым как многозначительное. Как в протоколе осмотра места происшествия — если не преступления.

В любом другом тексте вы пропустили бы большую часть описаний, едва скользнув по ним глазами, — а здесь не получается: они создают и постоянно поддерживают предчувствие разгадки. Равное сюжетному интересу. А когда оно не сбывается, вы вините — вот что значит мастерство! — не автора и не книгу, а себя: должно быть, не заметили какой-то важной подсказки, поддавшись на отвлекающий маневр; свернули не в тот коридор. Мерцавший, призрачный сюжет столько раз пересечен побочными. Кто же знал, что все эти вставные новеллы (конспекты, наброски, фрагменты романов) работают как ложные ходы. Надо бы, пожалуй, при случае перечитать.

Собственно, это и есть искомый — завораживающе успешный! — результат: читатель об-

манут настолько хорошо, что не чувствует себя обманутым.

Как будто мне рассказали не сто или двести разобщенных историй, более или менее занятных (разместив между ними сто или двести интерьеров и натюрмортов), — а зашифрованную ими какую-то одну — наверное, потрясающую, но ключ остался где-то там, внутри, — а я, невнимательный, не нашел.

Волшебный фокус композиции. Нерушимый карточный домина. Чей грандиозный объем охраняется явственно ощущаемым воздействием магических сил.

Если только не энергией онтологического кошмара. Не конфликтом случайности Всего — с целесообразностью мелких деталей. Бессвязности Всего — с неотвязной идеей ритма.

Некоторые из картонных фигурок, населяющих книгу, упоминаются чаще других. Судя по всему, им как будто придано сходство с автором. Одни фигурки занимаются заведомо мнимым упорядочением попавших под руку элементов хаоса. Другие — энергоемким и практически безотходным производством пустоты.

Пример творческой деятельности первого вида (фигурка в углу) — сортировка гостиничных этикеток (не сомневаюсь, что именно так они и называются; но почему-то вижу только чемодан и на нем наклейку):

...хотелось придумать для этих этикеток какую-нибудь классификацию, но это оказалось делом непростым: разумеется, имелся хронологический порядок, но он находил его скучным, еще скучнее алфавитного. Он пробовал сортировать их по континентам, затем по странам, но это его не удовлетворило. Ему хотелось, чтобы каждая этикетка была связана со следующей, но чтобы всякий раз причинно-следственная связь была иной: например, этикетки могли бы иметь общую деталь — гору или вулкан, освещенный залив, цветок, одинаковую красно-золотую каемку или радостное лицо грума, либо иметь одинаковый формат, одинаковый шрифт, близкие названия ("Океанская Жемчужина", "Береговой Алмаз"); либо эта связь была бы основана не на сходстве, а на различии или на хрупкой, почти произвольной ассоциации идей: за крохотной деревушкой на берегу итальянского озера открывались небоскребы Манхэттена, лыжники следовали за пловцами, фейерверк — за ужином при свечах, железная дорога — за самолетом, стол для игры в баккара — за железной дорогой и так далее. Это не просто трудно, добавлял Винклер, это еще и бесполезно: смешав все эти этикетки и выбирая две наугад, можно быть уверенным, что у них всегда найдется как минимум три общих признака.

Проект второго типа (фигурка в центре). Научиться писать акварелью морские пейзажи. После чего написать их — с натуры — в пятистах точках земного шара — ровно пятьсот штук. Каждый наклеить на доску и разрезать, скажем, на сот-

ню кусков. (Тут в дело вступает артель наемных подручных.) Перемешать. Сложить. Восстановить оригинал. Доставить в соответствующую точку земного шара. Уничтожить.

(Но — дудки! — реальность не перехитришь: она бессмысленней самой бессмысленной затеи. Непобедимый хаос поглощает и эту фигурку, и ту, и все, не дав доиграть никому.)

Полагаю, что на этом совмещении ступы и решета основана высокая технология самого Перека. Недаром же специалисты и глубокомысленные ценители утверждают, что история литературы (мировой или только французской? или только история романа? — забыл) разделяется с некоторых пор на два периода: до Перека — и после.

Он действительно выдающийся изобретатель и рационализатор. Например, в послесловии переводчика сказано, что "для связывания и распределения всех разнородных элементов Перек использует принцип двойного ортогонального латинского квадрата десятого порядка, затем подвергает элементы специальной операции под названием 'псевдокенина десятого порядка', которая берет за основу комбинаторный принцип средневековой секстины", — и это еще не все!

Насколько я понимаю, он употребил свою жизнь на поиски способа делать настоящую литературу из обыкновенной беллетристики. Из немотивированных поступков. Из предложений не интонированных. Из охлажденных слов. Ничего личного, кроме презрения к материалу.

И эта книга доказывает, что Жорж Перек добился своего.

Самуил Лурье

Годо не придет никогда

Мартин Эсслин *Театр абсурда*. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010. — 528 с.

Эту книгу мы ждали долго. Первое ее издание вышло полвека назад, в 1961-м. Она переведена на двадцать языков и давно в обиходе у театральных людей Запада. По ней учатся в американских и европейских университетах, ее используют в работе режиссеры. Мы же до сей поры были вынуждены обходиться без этого "учебника". А ведь у нас еще в советские времена смельчаки репетировали по студийным подвалам Пинтера, Беккета, Мрожека, Ионеско, Олби, какими-то своими путями добывая информацию о постановках на Западе. А за то время, что мы ждали русское издание, Мартин Эсслин дописывал и переиздавал свой "Театр абсурда", и снова дописывал, и издавал. Последнее издание — 2001 года — было финальным аккордом его жизни. Он добавил анализ пьес, созданных в шестидесятые годы и позже, до конца столетия.

Как раз на шестидесятые пришелся бум абсурдистской драмы. Его породило жестокое разочарование, как болезнь поразившее послевоенную Европу. В Американском театре пьес абсурда было меньше, поскольку для Соединенных Штатов Вторая мировая была войной на чужой территории. Они — единственные из всех — за годы войны подняли свою экономику и вплоть до 70-х, до войны во Вьетнаме, были нацией оптимистов.

Несколько слов об авторе. Мартин Эсслин родился в 1918 году в Вене, учился на филологическом отделении Венского университета, занимался в театральном семинаре Макса Рейнхардта. Фашизм заставил его покинуть Австрию и поселиться в Англии. С 1940 года почти сорок лет Эсслин проработал на Би-би-си, а начиная с 1969-го был профессором американских университетов — сначала штата Флорида, потом — Стэнфордского. Полгода проводил в Штатах, полгода — в Англии. Прекрасно знал европейский театр, выпустил ряд книг о драматургии. Среди них: "Пинтер — драматург", "Анатомия драмы", "Арто", "Медитации" о Брехте и Беккете, "Сфера драмы", "Европейский театр в период Второй мировой войны". "Театр абсурда" — самый известный его труд.

Само понятие "театр абсурда" принадлежит Эсслину. Его забавляло, что из области искусства оно перекочевало в политику и стало газетным клише. Эсслин показывает, что границы этого художественного явления расплывчаты, а авторы сознательно не создают школы, не объединяются в общее направление и выступают каждый сам по себе. Более того — они настаивают на своем художественном одиночестве, ощущают себя изолированными от мира. У каждого из них — свое представление о форме и содержании.

Эсслин начал работать над "Театром абсурда" как раз тогда, когда возникла потребность разобраться в новом явлении. Как оценивать пьесы, в которых часто нет ни начала, ни конца, отсутствуют сюжет и фабула? Европейская публика с трудом понимала смысл таких пьес, как "В ожидании Годо" Беккета.

В прологе к своей книге Эсслин воспроизводит историю 1957 года: показ этой пьесы заключенным тюрьмы Сан-Квентин. Спектакль играла группа актеров из Сан-Франциско. Режиссер Херберт Бло, понимая всю сложность ситуации, перед началом обратился к полуторатысячной аудитории. Он сказал, что пьеса подобна джазовому произведению: каждый услышит свое. И они услышали. Статья в тюремной газете заканчивалась так: "Пьеса ни к чему не призывала, не давила морально, не сулила надежд... Ведь мы всё еще ждем Годо и будем его ждать. Когда жизнь слишком однообразна, активность уменьшается, мы призываем друг друга и клянемся никогда не расставаться, но дальше идти все равно некуда!"

Заключенные нутром почувствовали больше, чем критики, подходившие к новому направлению со старыми мерками. Иной театральный язык требовал иного восприятия. Эсслин взялся за серьезный труд — определить законы театра абсурда. Он показывает отличие театра абсурда от экзистенциальной драмы. Абсурдистские пьесы Беккета, Ионеско, Жене и менее знакомого нам Артюра Адамова говорят о метафизическом страдании и бессмысленности человеческого существования. Но подобное восприятие жизни отличает и пьесы Сартра, Жироду, Ануя, Камю. Однако эти авторы вкладывают новое содержание в традиционные формы — аргументированные, подчиненные логике. А абсурдисты от рациональных схем отказываются. Способ высказывания в театре абсурда соответствует основной идее: отказу от формальной логики. "Театр абсурда не доказывает абсурдность человеческого удела, он просто *показывает* ее как непреложность в конкретных условиях и языком конкретных сценических образов. В этом различие подходов философа и поэта..." — пишет Эсслин.

Он проводит еще одну границу: между театром абсурда и театром поэтического авангарда (Гельдерод, Невё и другие). Поэтический авангард, так же как и театр абсурда, опирается на реальность, пронизанную снами, фантазиями, галлюцинациями. Кроме того, плюет на классическое триединство времени, места и действия, на логику развития сюжета. Но различия есть: они в языке, в структуре образов. В театре поэтического авангарда меньше отчаяния и больше лирики.

Характерный признак абсурдистской пьесы — девальвация языка. В текстах Беккета явно ощущается борьба с духом языка. Ионеско утверждал, что слова не имеют смысла. Языку в театре абсурда отводят подчиненную роль. Действие на сцене часто противоречит словам, произносимым персонажами. Эсслин вписывает театр абсурда в общий "антилитературный" процесс, говорит о его родстве с "новым французским романом", с абстрактной живописью. Объясняет, почему он зародился в Париже.

Париж интернационален. В начале XX века именно там собралось созвездие ярчайших индивидуальностей, готовое к созданию нового искусства. Для обновления театра нужны не только драматурги, но и смелые режиссеры, и интеллектуальная, восприимчивая к новизне публика. Всё сошлось в Париже. Жан-Луи Барро, Жак Вилар и немногие другие рискнули овладеть новым театральным языком. Путь театра абсурда к массовому зрителю, однако, оказался непростым. Всякое подлинное новаторство требует от человека подъема на другой уровень. А многие ли готовы к подъему?

Театр абсурда крепко связан с политической ситуацией. В послегитлеровской Герма-

нии, где потери ориентиров и смысла жизни были очень остры, театр абсурда оказался особо востребован. Но сразу после краха фашизма драматургов-немцев не было, и ведущим немецкоязычным автором абсурдистского направления стал швейцарец Макс Фриш. Потом появились Вольфанг Хильдесхаймер и Гюнтер Грасс... Эсслин выводит в своей книге длинный ряд авторов-абсурдистов, из которых мы знаем далеко не всех. Он пишет и о восточноевропейской драме абсурда — правда, всего о трех авторах: Славомире Мрожеке, Тадеуше Ружевиче и Вацлаве Гавеле. Про театр СССР, по понятным причинам, он не пишет вообще.

Пьесы Мрожека у нас широко ставились и ставятся, начиная с легендарных спектаклей "Эмигранты" в театре-студии "Человек" (режиссер Михаил Мокеев) и "Танго" в Молодежном театре Петербурга (режиссер Семен Спивак). Тадеуша Ружевича в России знают только как поэта и прозаика. "Картотека" когда-то давно была поставлена, но власти спектакль закрыли. В 2004-м в издательстве "Три квадрата" вышла книга "Три пьесы Тадеуша Ружевича", куда вошли "Непорочный марьяж", "На четвереньках" и "В расход!", но о попытках поставить их пока неизвестно. Абсурдистские пьесы долго пробивались к широкому зрителю. В одном только "Человеке" за семь лет — с 1976-го по 1983-й — были запрещены для публичного исполнения спектакли: "В открытом море" и "Эмигранты" Мрожека, "Картотека" Ружевича. Студийцы много лет упрямо играли "Эмигрантов" нелегально, пока не изменилась политическая ситуация в стране.

К драматургии абсурда можно отнести и пьесы двух других ярчайших польских писателей, о которых Эсслин не упоминает: Витольда Гомбровича и Виткацы (Станислава Игнацы Виткевича). Из трех абсурдистских пьес Гомбровича: "Венчание", "Оперетта" и "Ивонна, принцесса Бургундская" в России знают только "Ивонну..." За последние годы в российских театрах было несколько ее постановок, лучшая — спектакль мэтра театрального авангарда Алексея Левинского в театре "Эрмитаж". Пьесы Виткацы на российской сцене не шли, за исключением "Метафизики двуглавого теленка", поставленной Олегом Рыбкиным в петербургском Театре сатиры на Васильевском. Особого успеха спектакль не имел. Безумный сюрреалистический мир Виткацы оказался ненужным нашей эпохе.

В Польше была давняя традиция сюрреалистической драмы — еще до Второй мировой. В Чехословакии театр абсурда появился только в 60-е. Как и в России, из потребности политической сатиры в иносказательной форме. Абсурдистские пьесы Вацлава Гавела сыграли значительную роль в подготовке общественного настроения Пражской весны. В СССР из-за жесточайшей цензуры театр не

определял политический климат, но на определенную часть общества все же оказывал влияние.

Русская жизнь и русская душа так устроены, что абсурд нам изначально близок. Мы росли на абсурдистских диалогах Чехова. К драмам абсурда можно отнести пьесы Андрея Платонова, а вообще наш отечественный абсурд берет начало от Гоголя. В 30-е годы писали Хармс и Введенский, но вспомнить их пьесы театрам было дозволено только с перестройкой. Однако с конца 60-х подпольно — по университетам, по студиям — возникали полупрофессиональные-полулюбительские спектакли. Авторов "проклятого Запада" ставить не давали, "Ионеско" у начальства было ругательным словом. Но рождался свой — "российский абсурд". Смесь абсурда с реальностью в одноактовках Виктора Славкина "Плохая квартира", "Мороз" и "Оркестр". Чисто абсурдистский спектакль "Целый вечер как про́клятый" Марка Розовского в театре МГУ "Наш дом". Российский абсурд с элементами сентиментальной драмы и трагифарса в пьесах Людмилы Петрушевской... Даже и в недавно написанной пьесе "Бифем", которую можно сравнить с "Лысой певицей" Ионеско, Петрушевская остается приверженцем абсурдистской драмы.

Российский театр получил официальное "право на абсурд" позже других и жадно бросился восполнять пробел. Если на Западе пик интереса к этому направлению пройден, то у нас пьесы Беккета, Пинтера, Мрожека и предтечи этого направления Жари вызывают интерес и сегодня. Книга Мартина Эсслина с его серьезным, академическим анализом абсурдистской драмы — большое подспорье практикам театра, студентам и просто зрителям. Тем более что она профессионально переведена. Перевод сделан знатоком западноевропейского театра, профессором Санкт-Петербургской академии театрального искусства Галиной Коваленко. Ею написано и содержательное предисловие, дающее ключ к этому научному труду. И что существенно, переводчик проделал колоссальную работу: аннотированный указатель.

Жаль только, что тираж для такой книги слишком маленький: всего тысяча экземпляров.

Светлана Новикова

Две души Германа Гессе

Герман Гессе *Кризис* / Перевод с немецкого Елизаветы Соколовой, Соломона Апта и Оксаны Волковой. — М.: Текст, 2010. — 176 с.

Вышла книжка стихов Гессе (1877—1962) — писателя, которого у нас давно знали и, в от-

личие от некоторых других прославленных немецких классиков, любили и продолжают любить. Если интерес к Томасу Манну или Роберту Музилю, как ни горько в этом признаться, в последнее десятилетие поугас, то Гессе раскупают, а значит, читают и перечитывают. Любят и знают (могу сослаться на своих студентов-филологов) его совсем непростые романы – "Демиан (1919), "Сиддхарту" (1922), "Степной волк" (1927). Любят, может быть, не столько за высокое мастерство, а потому что в кризисное для Германии время он не побоялся сказать о невыносимой тяжести религиозных и моральных заповедей, порабощающих волю молодого человека, о хаосе, преодолеть который, хотя бы в своей душе, может только собственное нравственное чувство. Ценят, значит, смелость и искренность, а кроме того, затеянную автором в романе игру.

Стихи Гессе переводили у нас меньше, чем прозу. Среди переводчиков был Сергей Сергеевич Аверинцев, который любил саму простоту высоких и чистых стихов его просветленной старости ("Ступени"). Сборников стихотворений Гессе у нас, насколько я знаю, не выходило.

И вот появилась книжка, переведенная и составленная Елизаветой Всеволодовной Соколовой, автором книги о новейшей немецкой прозе (Диалог невозможен: коммуникативная проблематика в современной немецкой прозе. – М., 2008) и заслуживающих восхищения переводов из поэтов XX века Готфрида Бена и Ингеборг Бахман...

В появлении этой книги есть что-то неожиданное и, с другой стороны, глубоко оправданное. Важно представить себе роль и место этих стихов в творчестве Гессе. Отличает их и особая судьба.

Е. В. Соколова точно фиксирует время создания первоначального варианта – зима 1925/1926 года. Гессе писал эти стихи ночами, фиксируя впечатления прошедшего дня. То, что получилось, он отнес своему издателю С. Фишеру, нашедшему, однако, что такие стихи могут скорее скомпрометировать известного романиста, и предложившему изложить "то же самое" в более удобоваримой прозе.

Тоненькая книжка, озаглавленная автором "Кризис", собиралась постепенно, одновременно с работой над вскоре сразу завоевавшим широкий успех романом "Степной волк" (1927), и вышла в свет в 1928 году, на следующий год после публикации романа. Она была рождена тем ощущением шаткости жизни и утративших смысл понятий, о которых Гессе писал еще на пороге двадцатых годов.

Читатели "Степного волка" могли догадаться о биографической основе романа – о трагически пережитой писателем мировой войне и "дохлом", преступном времени, наступившем потом. В годы войны тяжело заболела жена Гессе,

распалась семья, душевная смута заставила его обратиться к психоанализу. В течение нескольких лет Гессе был пациентом ученика Карла Юнга доктора Ланга, выведенного впоследствии в повести "Паломничество в страну Востока" (1932). Роман был преисполнен отвращения к благоденствующему мещанству. Но критика автора задевала и близкого ему героя. Писатель Гарри Галлер чувствовал себя разорванным на "две души": с одной стороны, он утонченный интеллектуал, с другой — так он во всяком случае думает, хищный Степной волк. Именно с Гарри Галлером совершаются в романе невероятные превращения. На экране Магического театра (вход "только для сумасшедших") он видит не два, а множество возможных своих воплощений, среди них опасные и страшные. О превращениях с жесткой откровенностью говорится, однако, не только в романе, но и в стихах сборника "Кризис". Автор пытается понять не только то, что происходит со временем, но и что происходит с человеком. Разница между романом и стихами, однако, весьма велика.

В романе, как и предопределено самим жанром, герой увиден глазами других действующих лиц. С ироническим сочувствием смотрит на него случайно встреченная, но ставшая ему близкой Гермина (знаменательно совпадение инициалов: Гарри Галлер — Гермина). О странном жильце, поселившемся в их доме, пишет в своих записках племянник хозяйки. Наконец, о человеке по имени Гарри Галлер говорится в дешевой брошюре, врученной герою на улице ("Людей типа Г. Г. на свете много", — читает он там с удивлением).

В стихотворениях сборника "Кризис", где автор также именует себя порой Степным волком, он представлен читателю без заслона — сам он в этих лирических стихах прямо говорит о себе, своем возрасте и своей ситуации — пятидесятилетний мужчина. Этот прямой суд безжалостен.

Половина столетия — это для Гессе не та высокая "середина жизни", о которой написал свое знаменитое стихотворение Гельдерлин. Это скорее тот возраст и те просыпающиеся в это время страсти и муки, которые были описаны Т. Манном в новелле о пятидесятилетнем писателе "Смерть в Венеции" (1913). Многое навсегда позади. Жизнь перевалила за середину и как будто идет к концу. Перед нами одинокий человек, совершенно изверившийся в своем призвании.

Поразительно, что эти стихи писались одновременно и вскоре после увидевшего свет прославившегося романа! Поразительно, что в самой жизни автора происходит то расщепление целого на две несхожие половины, которое стало центром его романа. Знаменитый писатель, не раз стяжавший широкий успех, видит себя в этих стихах лишенным всякой опоры. Он пытается повернуть

назад время, хочет заново прожить жизнь — на этот раз совсем по-другому. Он открывает для себя (так это было и в романе) с трудом дающиеся ему танцы, женщин, выпивку. Все это приносит, однако, лишь краткое удовлетворение. В стихотворении "Каждый вечер" безнадежно именно повторение:

Каждый вечер равно горький,
Танцы, выпивка, веселье,
У себя потом в каморке
Я лежу в пустой постели.

Читая стихи сборника, то и дело с немалым трудом приходится убеждаться, что перед нами действительно автор полюбившегося нам романа. Это следует, однако, не только из предпосланного стихам обращения автора к друзьям, которых он просит если не принять стихи, то хотя бы понять его самого. Очевидны и тематические связи между близким автору героем романа и лирическим героем стихотворений. Речь в стихах, как и в романе, заходит, например, о джазе — без того, однако, сопротивления, которое джаз и саксофонист Пабло вызывали у Гарри Галлера. Теперь автор и сам бы не прочь овладеть саксофоном: "Когда б на банджо я играть умел, / На саксофоне надрывался в джазе..." ("Зависть"). Напротив, перестала быть опорой музыка Моцарта. В книгу включено полное поклонения Моцарту стихотворение "Бессмертные", перенесенное сюда самим автором из текста романа (перевод С. К. Апта). Но в сборнике есть и стихотворение "'Волшебная флейта' в воскресенье", где музыка не помогает: "Все восторги искусства, приносившие счастье мне прежде, / Вспыхнув разом в испуганном сердце, влекли за собой, / Но рассыпались в брызги, оставив растущую боль". Конец стихотворения: "Убегаю, бегу, чтоб себя поскорее убить... / Сяду где-нибудь — там, где вино и коньяк, — буду пить". Мучает и желание переживать еще и еще раз любовь и близость — "Тысячу тысяч раз, сколько возможно..." ("В бессонную ночь")

Автор стихов уже готового к выходу, а вскоре и появившегося романа, глубоко и всерьез разочарован в себе как писателе: "Когда-то я был поэтом, / А теперь лишь стишки удаются, / И те, кто читает это, / Ругают их или смеются. / Когда-то я мудрым был, много знал, / Почти у цели стоял, / А теперь вдруг стал дураком опять, / Мне опять начинать с азов..." ("Наблюдение").

О ком и о чем пишет в этих стихах знаменитый писатель? Кого он имеет в виду? Что это такое? Он пишет правду. Правду о себе самом. О возможной утрате таланта. Об упущенной жизни. О старости. О множестве лиц и множестве судеб в каждом человеке.

В предисловии к сборнику "Кризис" Гессе предуведомлял своих друзей, что эти стихи написаны "о тех жизненных этапах, когда дух устает сам от себя, сам себя свергает с трона, освобождая дорогу природе, хаосу, животному началу". Новое "воспарение духа" нача-

лось у самого Гессе тогда же, во время работы над "Степным волком", оно продолжилось с начала 30-х годов ("Паломничество в страну Востока"; начало работы над " Игрой в бисер"). Но написанное в стихах сборника "Кризис" относится к другой стороне его жизни и другому его лицу (подобно тому распадению на множество лиц, которое Гарри Галлер увидел на экране "Магического театра"). Относятся эти стихи и к тем, кому и не снится работа над романом. Они написаны о реальности старения, о многоликости человека, о тех силах хаоса, животном, природном начале, которое живет в каждом и, как утверждает Гессе, быть может, становится в конце концов наиболее благотворным для творчества.

Еще в годы войны Гессе написал ряд статей о Достоевском. В одной из них "Мысли об 'Идиоте' Достоевского" он говорил о поразившей его в герое Мышкине способности понимать справедливость несовместимых суждений: стоя у тела убитой Настасьи Филипповны, Мышкин понимает и убийцу, и жертву. Несовместимое сходится. Нравственность и религиозные убеждения людей, писал Гессе в те же годы, оказались неспособными остановить кровопролитную бойню. Важнейшую составляющую натуры человека Гессе увидел тогда в желаниях людей, как гораздо более прочной, жизненной основе их поступков, — в их "своенравии". И этой важнейшей проблеме, по-разному решавшейся писателем в разные годы, посвящены стихи сборника.

Это не только правдивые, но и совершенные стихи. Как и положено в стихах, лирический герой не имеет "соглядатаев". Но в самом тексте стихов, в их стиле присутствует отстраняющая ирония. Эти стихи не только безжалостно правдивы, но и ироничны, насмешливы, грубы. Порой эти "стишки", как назвал их в одном стихотворении сам автор, напоминают уличные или эстрадные "Bankellieder": в горечь и прямоту сказанного вмешивается и насмешливо примиряющее — "в известной степени..."; или безжалостно-насмешливое — "так и сидим на шатких своих стульчиках"; или домашнее и будто бы извиняющееся — "Я очень джаз люблю и алкоголь".

Составитель и главный переводчик книги Елизавета Всеволодовна Соколова объяснила в своем послесловии выбор автором греческого написания слова "Krisis": греческое значение этого слова подразумевает "решение, приговор, решительный исход". Приговор себе и времени в этих стихах очевиден; решение и решительный исход, как полагал автор, возможны.

Книга стихов Гессе не имела бы такого значения, если бы не были столь убедительными переводы стихов — точные, резкие, несентиментальные.

Нина Павлова

По материалам зарубежной прессы

Uwe Tellkamp *Die Schwebebahn: Dresden Erkundungen.* — Frankfurt/Main: Insel-Verlag, 2010. — 167 p.

Благодаря роману Уве Телькампа "Башня" часть Дрездена под названием Лошвитц приобрела известность, превратившись в культурную достопримечательность. Сейчас в пекарне Вальтер, куда захаживали персонажи романа, булочки и прочую выпечку заворачивают в пакетики, на которых красуются стихи Телькампа. И в своем новом романе "Подвесная дорога: исследование Дрездена" писатель снова обращается к родному городу и там разворачивает действие. Роман задуман как своего рода путеводитель, но не по самому городу, а скорее по впечатлениям автора от современного Дрездена и по воспоминаниям, гид по настоящему и прошлому; это размышления о родине, о людях, о времени, но, как бы то ни было, "преобладают в книге воспоминания писателя", как отмечает немецкий еженедельник "Цайт".

"Поток воспоминаний и узнаваний несет меня по Ляйпцигштрассе — одной из красивейших, на мой взгляд, улиц Дрездена — по направлению к Радебёйлю, в такт равнодушному шагу прохожих, который отличается от быстрой, торопливой походки отца, когда мы с ним и моим братом шли в 'Золотого ягненка' на кукольный спектакль", — рассказывает Уве Телькамп газете "Цайт". Роман "Подвесная дорога" повествует о городе, однако это не безжизненные улицы, площади, кафе, магазины, пустые и наполненные только воспоминаниями писателя, это живой Дрезден, его люди и их истории, мимо которых пробегает поток мысли автора, соединяющий прошлое и настоящее.

Colum McCann *Let the Great World Spin.* — N.Y.: Random House Trade Paperbacks, 2009. — 400 p.

С произведениями ирландского писателя и лауреата нескольких престижных литературных премий Колума Макканна российская публика знакома не очень хорошо, поскольку его книги на русском языке в издательствах не выходили, хотя переводы некоторых его работ публиковались в журнале "Иностранная литература". За свой последний роман "Пусть вертится прекрасный мир" Макканн получил Национальную книжную премию, а газета "Нью-Йорк таймс" назвала книгу "одной из самых сильных и глубоких за последние годы".

Действие романа происходит в 70-е годы в Нью-Йорке, в неспокойное время Уотергейтского скандала и войны во Вьетнаме. На мгновение сумбурная и торопливая жизнь мегаполиса замирает, когда меж

двух башен Всемирного торгового центра по натянутому канату проходит человек. Этот невероятный и захватывающий трюк французского канатоходца становится узелком, связывающим персонажей романа: уличного священника, мелких воров, страдающих героиновой зависимостью, матерей, чьи сыновья погибли на войне, молодых художников, судью с Парк-авеню. "Рассказывая историю жизни десятка человек, писатель создает непередаваемо сюрреалистическую картину разлагающегося Нью-Йорка", – цитирует агентство "Рейтер" заключение жюри конкурса Национальной премии. Макканн обращается к прошлому, но размышляет над современными проблемами. "Мы используем прошлое, чтобы понять настоящее. Сюжеты многовековых историй позволяли Шекспиру писать об обществе его эпохи. Колум Макканн стремится осмыслить катастрофу 11 сентября, перенося действие романа в середину семидесятых", – пишет "Айриш индепендент".

SLAWOMIR MROZEK *Dziennik tom 1 1962–1969*. – Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2010. – 736 p.

В сентябре в Польше состоялся фестиваль "Мрожек в XXI веке", который совпал с презентацией опубликованных дневников писателя. Славомир Мрожек – один из самых известных и переводимых польских драматургов современности. Его дневники позволяют проникнуть в жизнь писателя и его литературную биографию, но помимо этого представляют широкую панораму политической и культурной жизни польского общества.

"Вышедшие дневники, занимающие более 700 страниц, охватывают период жизни Мрожека с 1962 по 1969 годы и составляют первый том дневников, к печати готовятся также второй и третий тома, которые будут повествовать о жизни писателя в 70 и 80-е годы", – объясняет "Газета выборча". В первом томе "Дневников" много внимания уделяется дружбе Мрожека с писателями Витольдом Гомбровичем, Чеславом Милошем, Константы Еленским, Густавом Херлингом-Грудзинским, Ежи Гедройцем и Йозефом Чапски.

В 1963 году писатель впервые эмигрировал из Польши. Во Франции он жил двадцать два года, потом переехал в Италию, затем жил в США и Мексике, после чего, в 1996 году, вернулся в Польшу вместе со своей мексиканской женой. Три года назад он переехал в Ниццу, где и живет в настоящее время.

Подготовила
ЕВГЕНИЯ ЛАКЕЕВА

JEAN-PAUL DUBOIS *Vie Française*. – Paris: Points, 2004. – 276 p.

Как пишет газета "Индепендент", эта книга подкупает своей глубиной, основательностью и абсолютной искренностью. История начинается с вскрика – отчаянного вскрика матери, обнаружившей, что ее

ребенок умер. Едва узнав о смерти брата, главный герой, тогда еще восьмилетний мальчик, бежит в его комнату, чтобы завладеть наконец долгожданным сокровищем — игрушкой брата, маленькой каретой, запряженной тремя лошадками. Спустя почти полвека он дарит это сокровище своему внуку, и прошлое вдруг проносится перед глазами старика, словно эта игрушечная карета. Воспоминания как тени, давно умолкшие голоса как затихающий топот игрушечных лошадиных копыт, который когда-то в детстве звучал громогласно, точно и вправду проносилась рядом с ним настоящая карета.

История "Французской жизни", рассказанная на страницах книги Жан-Полем Дюбуа, это история не одной, отдельно взятой жизни, но жизни целого поколения, представленная глазами главного героя. Семья, дети, внуки, радости и огорчения, знакомые каждому, — такая жизнь полна событий, но не потрясений. И рано или поздно, события оборачиваются воспоминаниями, самые счастливые из которых все равно овеяны грустью. Как отмечает газета "Нью-Йорк таймс", трудно поверить, что книга не автобиографична, — слишком искренней кажется эта грусть.

MAGGIE O'FARRELL *The Vanishing Act of Esme Lennox.* — New York: Harcourt, 2007. — 245 p.

По мнению газеты "Вашингтон пост", роман "Исчезновение Эсме Леннокс" — лучший из написанных Мэгги О' Фарелл, несмотря на то, что и прочие романы писательницы были восприняты критиками благосклонно. Повествование строится на загадке, которая захватывает и увлекает. По мере развития сюжета читатель начинает догадываться, подозревать и читает дальше, уже опасаясь, что догадка может оказаться верной.

Главную героиню, Айрис Локхарт, неожиданно ставят перед фактом, что ей придется забрать из местной психиатрической больницы ее престарелую родственницу, Эсме Леннокс, о которой Айрис прежде никогда не слышала. Читателю предстоит узнать, кто такая Эсме и почему шестьдесят лет назад родители отправили ее в сумасшедший дом и с тех пор ни разу не упоминали ее имени. История рассказана от лица трех женщин, которых эта тайна касается непосредственно, — от лица самой Эсме Леннокс, ее сестры Китти, страдающей болезнью Альцгеймера, и от лица главной героини, Айрис, совсем еще молодой женщины, которой предстоит многое переосмыслить, когда она, наконец, доберется до истины. И несмотря на три разных взгляда, три мировоззрения, представленных в книге, в центре внимания всегда остается история жизни Эсме, жизни, которая, по ее собственным словам, почти целиком и полностью состояла лишь из надежд, воспоминаний и вопросов "Что, если?.."

Подготовила
НИКА БАЖАНОВА

ERIC CHEVILLARD *Choir.* — P.: Editions de Minuit, 2010. — 272 p.

Новый роман "Падение" Эрика Шевийяра уже более полугода обсуждается во французской критике. При этом большинство рецензентов сходятся в оценках: роман оставляет гнетущее впечатление, вместе с тем мастерство автора несомненно.

Именно благодаря виртуозному обращению со словом Шевийяру удалось сделать кошмар столь правдоподобным, считает критик газеты "Монд".

Сюжет романа прост: герои, люди невероятной злобы и испорченности, обречены жить на острове, который ненавидят и с которого стремятся вырваться. При этом они надеются на помощь мифического героя, возвращение которого предсказывает один из жителей. Надежды эти не оправдываются, и заканчивается роман катастрофой. Большую же часть действия, "двести пятьдесят страниц подряд", как отмечает "Кензен литтерер", в романе "ничего не происходит". События идут по кругу — так создается образ острова, переполненного ненавистью. "На острове царит настоящий ад", — пишет критик газеты "Телеграм".

Как сообщает "Монд", сам Шевийар признавался, что источником вдохновения для него стал триптих Босха "Сад земных наслаждений". Кроме того, рецензенты отмечают многочисленные литературные аллюзии в романе — в частности, переклички с творчеством Беккета.

JEREMY LEWIS *Shades of Greene: One Generation of an English Family.* — Jonathan Cape, 2010. — 580 p.

Новая книга "Оттенки зеленого цвета: Одно поколение английской семьи" Джереми Льюиса представляет собой опыт коллективной биографии и рассказывает о судьбе ближайших родственников Грэма Грина. Как отмечает один из критиков "Индепендент", подобного рода проекты редко оказываются удачными. Однако, по мнению критика, книга Льюиса — счастливое исключение.

Повествование в основном ограничено рамками 30—40-х годов XX века. Как сообщает "Индепендент", перед читателем разворачиваются истории многочисленных членов семейства Грин. Судьбы их подчас необычны: так, старший брат писателя пытался в 30-х годах покорить Эверест, а младшая сестра стала шпионом. Кроме того, Грины близко общались с многими известными деятелями своей эпохи. Таким образом, как пишет "Индепендент", семейная история сливается здесь с историей предвоенной Англии.

"Лондон ревью оф букс", "Индепендент", "Телеграф" отдают должное богатству фактического материала и увлекательности повествования. Вместе с тем, по мнению критика "Лондон ревью оф букс", постоянная смена персонажей, переход от одной биографии к другой, лишают книгу целостности. Критик газеты "Телеграф", напротив, считает по-

стоянную смену героев достоинством книги: на его взгляд, такой прием позволяет не утомить читателя.

Сам автор признался газете "Гардиан", что считает этот роман своей лучшей книгой.

Подготовила
Екатерина Кузнецова

Peter Carey *Parrot and Olivier in America.* — Hamish Hamilton, 2009. — 464 p.

Исторический роман австралийского писателя Питера Кэри "Попугай и Оливье в Америке" вошел в длинный список Букеровской премии. При этом Кэри получал Букеровскую премию уже дважды.

Новый роман Кэри — фантазия на тему путешествия Алексиса де Токвиля, французского политического мыслителя начала XIX века. С историческим материалом, как пишут рецензенты (в частности, на страницах "Лондон ревью оф букс"), писатель обращается очень вольно. Например, полностью вымышлена одна из центральных фигур романа Джон Ларрит, слуга Токвиля — Оливье, англичанин, долго живший в Австралии. Многие рецензенты считают, что образ слуги нарисован в романе гораздо ярче, чем образ хозяина.

Газеты "Индепендент" и "Нью-Йорк таймс" обращают внимание на увлекательность романа и стилистическое мастерство автора. Повествование ведется от первого лица, рассказчиками выступают попеременно слуга и хозяин. Газета "Индепендент" отмечает мастерство стилизации в романе. Критик "Лондон ревью оф букс" не вполне согласен с такой оценкой: по его мнению, речевая манера Оливье не слишком удалась писателю.

Antonio Munoz Molina *La noche de los tiempos.* — Barcelona: Seix Barral, 2009. — 958 p.

"Захватывающая книга, увлекает читателя с самых первых слов и заставляет упиваться каждой страницей", — это мнение газеты "Эль Паис" о новом романе испанского писателя Антонио Муньоса Молины "Ночь времен".

Роман воссоздает обстановку Гражданской войны в Испании, погружает в переживания и жизненные перипетии многих людей, которых неумолимый ход событий выкинул "из обыденности спокойной жизни, — по словам ведущей испанской газеты "АБЦ", — в катастрофический мир". Жестокая, роковая эпоха в истории страны, поделенной на два лагеря — франкистов и республиканцев, неравных по силе, но одинаково беспощадных, — перемалывает судьбы героев, и даже любовь не может победить эту страшную реальность.

Признавая "Ночь времен" — вслед за крупнейшими критиками, чьи отзывы были опубликованы в культурном приложении "Эль Паис", — одной из лучших книг года, газета "АБЦ" не скупится на эпитеты: "исключительное повествование", "безбрежный роман", "волнующий, потрясающий, страстный", "титанический труд", "роман-ре-

ка", "глобальное воспроизведение прошлого"... Но самое ценное, как замечает газета, — это то, что в романе (как и в позиции писателя) нет "никаких идеологий, 'национализмов', партийных лозунгов и рассудочных схематичных суждений".

Mario Vargas Llosa *El sueño del celta.* — Madrid: Alfaguara, 2010. — 451 p.

Название нового романа перуанского писателя, лауреата Нобелевской премии Марио Варгаса Льосы очень поэтично — "Мечта кельта", однако события, описанные в романе, далеки от романтики и какой бы то ни было поэтизации действительности. Это жестокий и правдивый рассказ о реальной исторической личности, ирландце Роджере Кейсементе, прошедшем тяжелый путь от осознания, затем обличения колонизации и эксплуатации коренных народов Африки и Латинской Америки до борьбы за освобождение своей собственной родины — Ирландии.

Газета "Ла Расон" сетует на то, что "это скорее биография, нежели роман", что произведение "почти превращается в документальную прозу, как будто ему не хватает высоты для полета". Действительно, чтение романа напоминает восхождение на гору: страницы преодолеваются, а не легко пробегаются глазами, требуют большого душевного труда. "Ла Расон" подчеркивает, что повествование Варгаса Льосы "подробно и четко, его документальность подавляет, она не оставляет пространства для вымысла или фантазии".

Глубокое, острое и беспощадное произведение, направленное против европейской политики колониализма, заставило прозаика и поэтессу Анну Марию Моикс сказать на страницах "Эль Паис", что "образ мыслей Варгаса Льосы, его взгляды, его раздумья, все его замыслы неизменно и тесно связаны с левой идеологией". Другая рецензия в этой же газете подчеркивает, что "произведение Марио Варгаса Льосы прежде всего является темным зеркалом человеческой души... 'Мечта кельта' — это рассказ обо всех нас".

Подготовила
Мабель Велис Блинова

Михал Вивег
Michal Viewegh
[р. 1962]. Чешский писатель, лауреат премии Иржи Ортена [1993] – поэта, погибшего в оккупированной фашистами Праге в 1941 г.

Самый читаемый в современной Чехии писатель, автор 15 книг, лучшие из которых переведены на многие языки мира. Среди них наиболее популярны: *Взгляды на убийство* [*Názory na vraždu*, 1990], *Идеи любезного читателя* [*Nápady laskavého čtenáře*, 1993], *Воспитание девушек в Чехии* [*Výchova dívek v Čechách*, 1994], *Туристы* [*Účastníci zájezdu*, 1996], *Роман для женщин* [*Román pro ženy*, 2001], *Дело неверной Клары* [*Případ nevěrné Kláry*, 2003]. В ИЛ были напечатаны его романы *Лучшие годы – псу под хвост* [1997, № 4], *Летописцы отцовской любви* [2000, № 6] и *Игра на вылет* [2007, № 1].
Роман публикуется по изданию *Andělé všedního dne* [Brno: Druhe mesto, 2007].

Александр Николаевич Эстис
[р. 1986]. Художник, литератор. Преподает средневековую литературу в Гамбургском университете. Лауреат многих конкурсов изобразительного искусства.

Автор пьес, рассказов, публиковавшихся в немецкой периодике; книги *Очерки по изучению языка и анатомии ангелов* [*Studien zur Sprache und Anatomie der Engel*, 2010].

Жорди Гальсеран
Jordi Galceran
[р. 1964]. Каталонский драматург, сценарист, переводчик. Пишет на каталанском и испанском языках. Лауреат театральной премии *Борн* [1995], премии Игнасьо Иглесиаса [1995], премии критики *Серра д'Ор* за лучшее произведение на каталанском языке [1996].

Автор пьес *Закованные слова* [*Paraules encadenades*, 1995], *Дакота* [*Dakota*, 1995], *Бегство* [*Fuita*, 1996], *Карнавал* [*Carnaval*, 2005] и др.
Текст публикуется по изданию *El Método Grönholm* [Fundación Autor, 2006].

Михаэль Донхаузер
Michael Donhauser
[р. 1956]. Поэт, прозаик и переводчик из Лих-

Автор сборников стихотворений в прозе *Бузина* [*Der Holunder*, 1986], *О вещах* [*Von den Dingen*, 1993], *О снеге* [*Vom Schnee*, 2003], *О смотрении* [*Vom Sehen*, 2004], романа *Ливия, или Странствие* [*Livia oder Die Reise*, 1996], сборника эссе *Близко к уклону* [*Nahe der Neige*, 2009] и др.

тенштейна, живет в Австрии и Швейцарии. Лауреат литературной премии *Манускрипты* [1990], поэтической премии имени Кристины Лавант [1994], Меранской поэтической премии [2004], поэтических премий имени Эрнста Яндля [2005] и Георга Тракля [2009] и др.

Публикуемые стихи взяты из сборника *Лучшие песни* [*Schönste Lieder.* Basel/Weil am Rhein: Urs Engeler Editor, 2007].

Марко Лодоли
Marco Lodoli
[р. 1956]. Итальянский писатель и журналист. Преподаватель литературы. Лауреат национальных премий *Монделло* [1986], *Пьеро Кьяра* [1990], *Гринцане Кавур* [1992 и 1997], *Палаццо ал Боско* [1996], *Ренато Фучини* [2007].

Автор сборников стихов *Простодушный человек* [*Un uomo innocuo*, 1978] и *Мост Мильвио* [*Ponte Milvio*, 1988], романов *Дневник пролетающего тысячелетия* [*Diario di un millennio che fugge*, 1986], *Закусочная "Будапешт"* [*Snack Bar Budapest*, 1987], *Ветер* [*Il vento*, 1996], *Цветы* [*I fiori*, 1999], *Ночь* [*La notte*, 2001], *Сестра* [*Sorella*, 2008], а также сборников рассказов *Кольцевая дорога* [*Il grande raccordo*, 1989], *Собаки и волки* [*Cani e Lupi*, 1995], *Гримасы* [*Boccacce*, 1997], *Профессора и другие профессора* [*I professori e altri professori*, 2003], *Пузыри* [*Bolle*, 2006], *Красное и синее. Радости и беды итальянской школы* [*Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana*, 2009] и др.
Текст рассказа *Последняя ночь* публикуется по изданию воскресного приложения к газете *Ла Республика* [*La Repubblica*]: *Римские ночи. Десять писателей рассказывают необычные ночные истории* [*Notte romane. Dieci scrittori raccontano la notte come non l'avete mai vista*, 1997]. Остальные рассказы взяты из сборника *Пузыри* [*Bolle.* Torino: Einaudi, 2006].

Джузеппе Унгаретти
Giuseppe Ungaretti
[1888–1970]. Один из крупнейших поэтов Европы XX века, признан классиком и реформатором итальянской поэзии. Наряду с Э. Монтале и С. Квазимодо является основателем так называемого *герметизма* – течения в национальной поэзии межвоенной поры. Участник Первой мировой войны.

Автор сборников *Погребенный порт* [*Il porto sepolto*, 1916], *Радость кораблекрушений* [*Allegria di naufragi*, 1919], *Чувство времени* [*Sentimento del tempo*, 1935], *Скорбь* [*Il dolore*, 1947], *Земля обетованная* [*La terra promessa*, 1950], *Записная книжка старика* [*Il taccuino del vecchio*, 1960] и др.
Публикуемые стихи взяты из книги *106 стихов. 1914–1960* [*106 poesie 1914–1960.* Milano: Mondadori, 2000].

Александр Михайлович Стесин
[р. 1978]. Русский поэт, исполнитель собственных песен, переводчик современной американской поэзии на русский язык. С 1990 г. живет в США.

Автор книг стихов *Мягкий дым тополей* [1998, на русском, английском и французском языках], *Точка отсчета* [Нью-Йорк: Слово/Word, 2002; на русском, английском и французском языках], *Часы приема* [М.: Русский Гулливер, 2010] и др.

Игорь Померанцев
[р. 1948]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий имени П. А. Вяземского [1996] и журнала *Октябрь* [2006]. С 1978 г. живет в Западной Европе [Лондон, Мюнхен, Прага], работает на радио *Свобода*.

Автор книг стихов *Стихи разных дней* [1993], *NEWS* [1998], *Почему стрекозы?* [1999], *Семейное положение* [2002], *Те, кто держали нас за руку, умерли* [2005] и др., а также четырех книг прозы и эссеистики, радиопьес.

Александр Константинович Жолковский
[р. 1937]. Филолог, прозаик, профессор Университета Южной Калифорнии [Лос-Анджелес]. Живет в Санта-Монике.

Автор работ о Пушкине, Пастернаке, Ахматовой, Бабеле, инфинитивной поэзии. Среди его последних книг — *Избранные статьи о русской поэзии* [2005], *Михаил Зощенко: поэтика недоверия* [2007], *Звезды и немного нервно. Мемуарные виньетки* [2008].

Мабель Велис Блинова
Mabel Velis Blinova
Филолог, славист, научный сотрудник Мадридского государственного университета Комплутенсе.

Автор статей *Солярис (Станислав Лем) и Аэлита (А. Н. Толстой): любовь в научно-фантастическом жанре* [*Solaris (Stanisław Lem) y Aelita (A. N. Tolstoi): el amor dentro del género de la ciencia ficción*, 2007] *Литература Восточной и Центральной Европы в эмиграции* [*Literature in Exile of East and Central Europe*, 2009] и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*.

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы.

Постоянно печатается в журналах *Нева, Октябрь, Юный художник,* в одесском альманахе *Дерибасовская-Ришельевская* и др.

Самуил Лурье [р. 1942]. Литературный критик, эссеист. Лауреат премий журнала *Звезда* [1993], имени П. А. Вяземского [1997], журнала *Нева* [2002].

Автор книг *Литератор Писарев* [1987], *Толкование судьбы* [1994], *Разговоры в пользу мёртвых* [1997], *Успехи ясновидения* [2002], *Муравейник* [2002], *Нечто и взгляд* [2004], *Такой способ понимать* [2007] и др.

Светлана Лазаревна Новикова
Журналист, театральный критик. Организатор Лаборатории новой пьесы, завлит Театра Около дома Станиславского. Заслуженный деятель культуры и искусства Польши.

Автор многих статей о театре в театральных изданиях, сценариев сериалов.

Нина Сергеевна Павлова
Специалист по истории зарубежной литературы, доктор филологических наук, профессор, член правления международного общества имени Гёте [Веймар, ФРГ], член Международного шиллеровского общества [Марбах]. Лауреат премии имени В. Гумбольдта [ФРГ], кавалер ордена Австрийской республики *Почетный крест 1-й степени за заслуги в области науки и культуры.*

Автор более 200 научных работ, среди них книги *Типология немецкого романа, 1900–1945* [М.: Наука, 1982], *Expressionismus. Literatur und Kunst.* [М.: Радуга, 1986], *Природа реальности в австрийской литературе* [М.: Языки славянской культуры, 2005].

Евгения Андреевна Лакеева
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Ника Юрьевна Бажанова
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Екатерина Дмитриевна Кузнецова
Студентка 5 курса филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Переводчики

Нина Михайловна Шульгина
Переводчик, критик, лауреат словацкой премии имени О. П. Гвездослава [1984], литературной премии *ИЛ* [1987], премии *ИЛлюминатор* [2006] и премии Министерства культуры Чехии [бронзовая медаль ARTIS BOHEMIAE AMICIS, 2009], обладатель Памятной медали Союза словацких писателей [2006].

В ее переводе издавались произведения многих чешских и словацких писателей, в том числе В. Шикулы, Р. Слободы, П. Яроша, Д. Митаны, Л. Фелдека, И. Климы, М. Кундеры, М. Вивега и др. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы романы М. Кундеры *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость бытия* [1992, № 5, 6], *Бессмертие* [1994, № 10], главы из романов *Книга смеха и забвения* [2003, № 8] и *Жизнь не здесь* [2007, № 10], вышедших позже в издательствах Азбука и Амфора, а также рассказ из сборника *Смешные любови* [2001, № 2], изданного позже в издательстве Азбука, эссе *Мой Яначек* [2009, № 12], романы М. Вивега *Лучшие годы — псу под хвост* [1997, № 4], *Летописцы отцовской любви* [2000, № 6], *Игра на вылет* [2007, № 1].

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2000], обладатель ордена Габриэлы Мистраль [Чили, 2002].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Далекие ласточки* [1995] *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов Х. Манрике, Г. А. Беккера, А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Гильена, Л. Сернуды, Р. Дарио, Г. Мистраль, Х. Лесамы Лимы, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Анна Глазова
Поэт, переводчик с немецкого, литературовед, преподаватель Корнеллского университета [США].

Переводила стихи П. Целана, Э. Яндля, Ф. Майрёкер, роман Р. Вальзера *Разбойник* и сборник прозы У. Цюрн *Темная весна*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Дмитриевна Боченкова
Переводчик с итальянского, кандидат исторических наук. Слушатель Высших лите-

В *ИЛ* публикуется впервые.

ратурных курсов Литературного института имени А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель Е. М. Солонович].

Наталья Юрьевна Симонова
Переводчик с итальянского, артистка балета, культуролог. Слушатель Высших литературных курсов Литературного института имени А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель Е. М. Солонович].

В *ИЛ* публикуется впервые.

Петр Епифанов
[р. 1963]. Историк, прозаик, поэт, переводчик. Родился в Сибири.

Автор двух книг прозы и ряда публикаций в журналах *Знамя*, *Звезда*, *Зинзивер* [СПб.], *Русская провинция* [Тверь] и др. Занимается также исследованием и переводами сочинений французского философа Симоны Вейль [переводы публиковались в журналах *Иностранная литература*, *Континент*, альманахе *Крылья голубиные* и на интернет-сайте simoneweil.ru].

Марина Марковна Науйокс
Экономист, кандидат наук, переводчик немецкой поэзии. С 2005 г. живет в Берлине.

Ее переводы из Курта Тухольского публиковались в берлинском литературном журнале *Студия*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи — подписной индекс 70394 (на полгода).

Льготная подписка — в редакции по адресу: Москва, Пятницкая улица, 41.

Электронная подписка: через ОАО Агентство "Роспечать" — www.presscafe.ru через компанию "Интер-почта" — www.interpochta.ru Тел. (495) 500 00 60 или 788 00 60.

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
АБОНЕМЕНТ на журнал **«Иностранная литература»**

70394 (индекс издания)

(наименование издания) | Количество комплектов

на 2011 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—						

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ПВ | место | литер

доставочная карточка

70394 на журнал (индекс издания)

«Иностранная литература»

Стоимость: по каталогу _____ руб. ____ коп.; доставку за _____ руб. ____ коп.

Кол. комплектов

на 2011 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—						

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

RINET
Internet Service Provider
ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы
объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ — В ЦЕНТРЕ ГОРОДА — В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент фрески Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи итальянского художника и архитектора Джотто ди Бондоне [1267–1337] *Стигматизация Святого Франциска* [*Сцены из жизни Святого Франциска* [1297–1300].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.1.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 28.
Тираж 6100 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Instituto Cervantes

Публикация пьесы Жорди Гальсерана
“Метод Гронхольма” осуществлена в рамках проектов
Года Испании в России при финансовой поддержке
Института Сервантеса в Москве.

2011 ESPAÑA RUSIA

[3] 2011

СТАРАЯ ДОБРАЯ АНГЛИЯ: РОМАН КРИСТОФЕРА ИШЕРВУДА “МЕМОРИАЛ” / А. ЦВЕТКОВ И А. БАРТОШЕВИЧ В РУБРИКЕ “УИЛЬЯМ ШЕКСПИР” / СТИХИ УИЛЬЯМА БЛЕЙКА, ЭССЕ ПИТЕРА АКРОЙДА, ПЬЕСА САШИ ДАГДЕЙЛ И ДР. В РУБРИКЕ “УИЛЬЯМ БЛЕЙК” / УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ, ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС, УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ И ДР.